Памяти моей мамы
Анастасии Георгиевны

Евгений Касимов

НАЗОВИТЕ МЕНЯ ХРИСТОФОРОМ

Книга повестей и рассказов

БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОЕЗД
Повесть в рассказах

РАССКАЗЫ

ФАНЗА
Маленькая повесть

РАССКАЗЫ

ЗАПИСКИ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА. 2004

РАССКАЗЫ

ОДИН ДЕНЬ ДЕПУТАТА ДЕНИСОВА
Повесть

Екатеринбург
Издательский дом «Автограф»
2012

ББК Ш6(2Р36)6-334
К281

Касимов, Е. П.
К281 Назовите меня Христофором : Книга повестей и рассказов / Е. П. Касимов. – Екатеринбург : Издательский дом «Автограф», 2012. – 336 с.

ISBN 978-5-98955-092-0

ББК Ш6(2Р36)6-334

На обложке:
А. Алексеев-Свинкин.
Ландыши. 1993

ISBN 978-5-98955-092-0

© Касимов Е. П., 2012
© Издательский дом «Автограф», 2012

БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОЕЗД
Повесть в рассказах

«НАЗОВЕМ ЕГО ХРИСТОФОРОМ!»

ЯСНОЕ МОРЕ

ПЛАНИДА

У БАБУШКИ

ДОРОГА, ВЫМОЩЕННАЯ ЖЕЛТЫМ КИРПИЧОМ

БАРАЗИК

НЕУДЕРЖИМЫЙ ВИХРЬ

ДОМ

ШЛЯПА

ИСХОДЪ

У САМОГО СИНЕГО МОРЯ

СИНДБАД-МОРЕХОД

«НАЗОВЕМ ЕГО ХРИСТОФОРОМ!»

В поезде, в бесконечно длинном вагоне – то заиндевелые стекла не прозрачны, то загораются в исцарапанных рамах золотые и черные окна полотен (никогда в них небольшие эпизоды жизни не закончатся), где в чересполосице света и холодного сумрака будут вечно сопутствовать мне – и мать, и отец, и обе любимые до печали бабушки.

Я зрел в чреве матери, и мать бережно и нежно носила меня. Еще не зажглась моя звезда – еще ее ковали ангелы-трудяги, еще не перебродило вино, которое выпьют в день моего рожденья, еще бушевала холодная метель над страной и не наступила благословенная весна, еще сигнал «бип-бип» не раздался над планетой...

Отец посмотрел на счастливую мать и сказал: «А на что мы будем жить? Удивляюсь тебе, Фима». Он сказал это просто и трезво и все смотрел на мать ясными голубыми глазами и не ждал ответа. Он смотрел без напряжения, легко – даже весело, – и матери все стало понятно. «Но», – сказала мать, но отец уже вышел из комнаты. «Ну и да ладно», – подумала мать и ушла на кухню готовить обед.

Было светлое холодное воскресенье, день был легкий, скрипучий, снег на карнизах лежал пушистый, белый – еще не усеянный крупной угольной копотью, в комнатах было чисто (мать с утра вымыла полы, и полы – ну просто блестели!), большая печь была натоплена, а плита на кухне только растапливалась, и дрова сильно трещали – везде было чисто, все было хорошо, как бывает хорошо в воскресенье, когда в радость все семейные заботы.

Мать помешивала ложкой борщ (плита ровно гудела, уже появилось жаркое малиновое пятно – и становилось все больше и больше) и думала, что, может быть, отец прав, что сейчас ребенок некстати, что отец, конечно, прав, что он всегда прав, а это ей надоело хуже горькой редьки – вот возьмет и оставит ребенка, и никто ей не указ-

чик. Она утопила ложку в кастрюле, попробовала ее достать, но только обожгла пальцы, стала подталкивать кастрюлю к краю плиты – кастрюля загремела, и борщ тяжело поплыл по чистому полу (а пол – ну просто сиял!). Мать опустила руки и заплакала. Прибежал отец, закричал, потом обнял мать и долго говорил ей на ухо разные нежные слова. И уговорил мать.

А скоро к ним заглянула бабка Матрена. Опять было воскресенье, но был сильный ветер, и снег был мелкий, сухой, колючий. Бабка Матрена похрустывала новой плюшевой жакеткой, топала маленькими валенками в прихожей и радостно ворковала: «А-а, здравствуй, Серафимушка! Здравствуй, доня моя! Дай-ко я тебя поцелую. М-ма. А где моя внуча? А-а! Вот она, моя внуча! На-ко, Оленька, гостинчик тебе от баушки». Она совала Оленьке кулек с домашним печеньем – толстые желтые полумесяцы, обсыпанные сахарным песком, – а Оленька застенчиво прятала ручки за спину и жалась к матери. «На-ко, на-ко! Что? Не признала баушку? И-и, ты ж моя ласточка!» И исподлобья, настороженно к матери: «Татарин-то твой… дома?» «Мама!» – с оглядкой ей мать. «Ладно-ладно!» – замахала руками бабка Матрена. Вышел отец. Она поздоровалась с ним, поджав губы, глянув мельком. Она не переносила его взгляда, его ясных голубых глаз – они всегда открыто (слишком открыто!) смотрели на нее и ничего не выражали: ни презрения, ни ненависти – абсолютно ничего, они просто неестественно светились на смуглом крепком лице. Никто никогда не смог бы ее переубедить, что отец не татарин, что в ней самой, исконно русской, больше татарской крови, чем в нем (вернее, в нем ее совсем не было; болгарская, турецкая, молдавская – да, а татарской – ни капельки), и это подтверждали ее скулы, ее треугольные глаза – хотя и зеленые. «Мама, мама! Да он болгарин», – говорила мать. «Болгаре, татаре – все одно!» – угрюмо отвечала бабка Матрена.

Страх к татарам был накоплен всей длинной памятью ее рода. Для нее это была та темная, непонятная сила – туча, сверкающая кривыми мечами, – та жестокая воля,

которая тугим арканом перехватывала горло – до черной пузырящейся крови на губах, та мутная волна с Востока, что в щепы разбила ладью русской жизни и сотни лет носила эти щепы на гребне и крутила в водоворотах. И когда схлынула волна, когда светлый песок поглотил эту черную могучую силу – остались смутные воспоминания, и они песнями и былинами передавались из уст в уста, и не вытравило их едким временем из этой длинной памяти ордынское иго. И маленькая девочка Мотя, заигравшись во дворе до сумерек, слышала от матери: «А ну домой! А то вон татарин скачет – сейчас унесет!» И она с ужасом бежала в избу, и хоронилась на печи, и там тихонько лежала, зажав в руке краюшку хлеба, и смотрела широко раскрытыми глазами, как в горнице зажигают керосиновую лампу и по стенам начинают ходить тени, и слушала березовый стук веретена и заунывный голос бабки, и чудились ей косматое облако пыли, дикие гортанные крики, визг – пронзительный и хрипатый, сильные безжалостные руки, косящий свирепый глаз, и топот копыт, и скрип повозок, и бесконечно длящийся полон.

Мать увела бабку в детскую, усадила на сундучок, покрытый пестротканым половичком, начала разговор. Бабка взяла на колени Оленьку, гладила ее по русой голове темной ладошкой, расспрашивала мать, что да как. Тут мать ей и открылась. Бабка заволновалась, пустила внучку на пол, твердо постукивая кулачком по колену, стала выговаривать: «Не слушай его, ирода! Знахарку ей! Я вот тебе дам знахарку! И не выдумывай. А как я вас пятерых ростила?! Говорю тебе: не слушай его. Я нянчить буду, коли вам лень. А мальчик будет. Мне только раз посмотреть – я уж вижу. Да я сама с ним поговорю. Георгий, поди-ко сюды».

Отец встал в дверях и вежливо так (а глаза голубые-голубые!): «Не суйтесь вы, мамаша, не в свои дела, а езжайте-ка домой, а то как бы вам, мамаша, через вашу длинноносую любознательность и расторопность, чего не вышло». Бабка Матрена обмерла вся. «Как это?» – еле губами шевелит. Но с перепугу, видно, закричала: «Да ты, милок, мне не угрожай! Управу-то… найду на тебя!» Но

отец уже не слушал ее. «И откуда только такие берутся?» – задумчиво сказал он и шагнул из комнаты. «Кому мать, а кому...» – и тут отец выругался похабно – как железным прутом ударил. Бабка Матрена остолбенела, потом мышкой, серым комочком пуха заметалась неслышно. Мать заплакала. Оленька прижалась к матери и тоже заплакала. «Георгий!» – без сил закричала мать. «К свиням собачим!» – был ответ из прихожей. Хлопнула дверь.

Вся следующая неделя была полна слез, ругани и взаимных упреков. Мать твердо сказала н е т – больше, конечно, из упрямства и гордости, но в то же время она чувствовала неестественность и унизительность положения, в которое ее ставят. Нет, твердила она себе, нет! Я сама все решу.

И опять было воскресенье. Оленьку увезла к себе бабка, а мать с отцом ушли в парк и там долго гуляли по засыпанным снегом аллеям. Отец протаптывал тропинку в сугробах большими серыми валенками, за ним слабо шла мать, похрустывая крохотными ботиками с лаковыми застежками. Отец оборачивался и, сияя глазами из-под седого меха китайской шапки-ушанки, говорил матери, чтобы шла осторожно, и мать улыбалась треснутыми губами.

Жидкие тополя и березки вмерзли в суглинок; на болоте, посредине парка, торчала из-под снега клочковатая пожухлая осока, но парк уже начали устраивать: над чахлыми кустиками акации и сирени встали толстые гипсовые пионеры, беззвучно трубя в пионерские горны сквозь снежные сурдинки, скрюченные футболисты и широкоплечие купальщицы. На одну из купальщиц кто-то пристроил розовые женские трусики. «Тьфу, поганцы!» – сплюнул отец и засмеялся.

У матери замерзли колени, и отец сказал: «А пойдем в ресторан!»

В фойе мать покрутилась перед зеркалом. «Ой да, Жора, неудобно. Я не одета. И не причесана». «Ничего», – отвечал отец. Сам он – хоть и был в валенках – нисколько в себе не сомневался.

Больше всего мать поразило то, что отца здесь все

знали – от швейцара до директора, с которым он поздоровался за руку. Одна официантка, пробегая мимо, показала отцу язык. «Чего это она?» – опешила мать. Сели за столик. «Так, – сказала мать. – Теперь мне понятно, где ты пропадаешь». Она недобро посмотрела на отца и ткнула его в бок. «Чего ты!» – хохотнул отец. Подлетел официант. «Ба! Христофорыч! С супругой?» Отец напыжился и стал торжественно заказывать: «Ты там… э-э… рыбки… антрекотиков… ну-у… и сам знаешь».

Когда принесли вино и водку, он опять же торжественно налил в мутные зеленые рюмки, напряженно помолчал и вдруг заявил: «Мы назовем его Христофором!» Мать засмеялась: «Да ты что, Жорик? Не-ет. Давай Вовочкой? А? Володенькой?» Отец выпил и улыбнулся: «Фима! Мы назовем его Христофором». «Как же… – растерялась мать. – Как представлю, что грудью какого-то Христофора кормить…»

Ну так вот, оставили меня в покое. И когда расквасило дороги и нежно зазеленели тополя в палисаднике, мать благополучно разрешилась. И назвали меня Константином.

Бабка Матрена сказала: «Не будет ему счастья. Раз не хотели сразу – не будет счастья. Спаси и сохрани. Дайко я его окрещу хотя бы. Все ему легче будет». Оленька была крещеной. Бабка ее тайком в церковь носила, но мать узнала – и сильно они тогда поругались. И тут мать уперлась – она как раз в партию вступила. «Нет, – говорит. – Нет. Не трогай его, мама, а то мы с тобой снова поссоримся. Я член партии, я атеист, как ты не понимаешь, мама. Да меня с работы выгонят, если узнают». «Да не узнают, – говорит бабка Матрена. – Я тихонечко, а ты будто и не знала вовсе. Сама-то крещеная небось. А зачем он через твое упрямство страдать должон?» «Как ты не понимаешь, мама, поп каждый месяц перед горкомом отчитывается». – «Это наш батюшко-то?! Типун тебе на язык!» «Нет!» – отрезала мать.

Бабка Матрена плюнула и ушла. И дома, открыв скрипучую дверцу маленького буфета, изъеденного древоточцем и пропахшего перцем, лавровым листом и какими-то

настойками, помолилась на икону Пресвятой Богородицы, сокрытой в углу этого пряного и ветхого буфета. И лик Богородицы был темен и скорбен.

ЯСНОЕ МОРЕ

Поезд летит сквозь вьюгу, сквозь снежный морозный ветер, сквозь ночь, сквозь мутный мрак, застилающий и звезды, и далекие огоньки деревень. В грязном заплеванном вагоне, где тусклый мерцающий свет, где стужа кинжально врывается в щели окон, – за ободранным столиком сидит человек. Редкие волосы поминутно спадают на лицо – он резко закидывает их назад корявой пятерней. Он приближает ко мне испитое лицо и напряженно шевелит раздутыми обметанными губами. Сквозь зиму, сквозь прошлое мчится поезд… И под грязно-желтым светом, который источает вагонная лампа, – этот полночный морок, эти человеческие руины, распространяющие горький и сладкий запах распада.

Да нет же, ясное море, они тогда и не думали об этом, они тогда очень хотели ребенка. Но когда Серафима опять забеременела и пришла к Георгию, тот ее сразу спросил: «А на что жить?» Я его понимаю: не можешь обеспечить семью – не плодись, ясное море! Девятьсот пятьдесят в месяц – этого мало будет на семью. Это уже – авантюризм. На одного – вот так! Ого-го! Мы, например, в ресторане втроем посидим – возьмем три водочки, ну там бирлянство какое… Еще и коньячку напоследок – для полировочки! И за все про все – сто рублей! Понял? А давай я тебе «Титаник» сыграю! Вещь! А где струна? Запомни, ясное море, настоящая гитара – семиструнная!

Семиструйная, со скрипучими медными струнами, рассказывает, как из английского порта Саутгемптон в Нью-Йорк плыл белоснежный гигантский пароход – плавучий город, ярко освещенный электричеством, играл оркестр, и красивые люди красиво танцевали, и даже у официантов были безмятежные лица. А на мостике стоял кра-

сивый седобородый капитан Смит и холодно смотрел в тихую безлунную ночь.

А может быть, он просто боялся, что опять будет девочка. И ругались они часто, но не из-за тебя у них это началось, просто разные они были.

Однажды Георгий и дружки его в домино играли и пиво пили. Серафима вбегает в комнату – лицо безумное – и, знаешь, так торжественно: «Товарищи! Умер Сталин!» А Георгий и дружки его посмеиваются, попивают пивко и стучат костяшками. Умер и умер, говорят, что ж нам теперь, Интернационал петь? Тут Серафима на них и понесла: и такие они, и сякие, а ты, кричит, и на Георгия указывает, кулак недобитый и враг народа. Дружки все посмеиваются, а Георгия как судорогой скрутило. Как закричит на Серафиму: «Ид-ди отсюда! Ид-ди!» И кружкой на нее замахнулся. А сам побелел весь и трясется. Ох и взбеленился он! Ну просто бешеным стал. «Ид-ди, – кричит, – отсюда, рвань несчастная! Убирайся!» А Серафима ему строго: «Только посмей беременную женщину ударить!» – и дверь входную открыла. Соседи начали выглядывать. Трофим Степаныч – из квартиры напротив – подошел смело к Георгию и говорит: «Как ты смеешь, она же в положении. Хулиган!» Георгий посмотрел на него ясными глазами и тихо так ему: «Уйди, Трофим. Уйди от греха подальше. Мы тут сами разберемся». А сам трясется весь. А Трофим Степаныч в раж вошел, ничего не замечает и вроде бы как сам себе нравится – такой он мужественный. «Негодяй, – говорит. – Не-годяй. Товарищи! Надо милицию вызвать. А то, может, и...» – и так со значением Георгию в глаза посмотрел. Дружки начали подниматься, но Трофим Степаныч не сдрейфил, не обфунился, а дерзко так стал всех оглядывать. Тихо, говорит Георгий своим дружкам, и те садятся на свои места, закуривают папиросы и начинают нервно мешать домино. А Георгий потихонечку Степаныча к двери подталкивает. Довел до порога, развернул, взял за борты пиджака и головой его – тресь! Так и затрещал костюмчик! Трофим Степаныч упал, глаза закатились,

хрипит весь. Соседи как заголосили: «Убил! Убил! Милиция!» А Георгий борты от пиджака аккуратно так на стул повесил – борты-то так и остались в руках – начисто оторвал! – и вежливо всем: «Наше вам с кисточкой!» Их как сдуло. Боялись его: думали – раз сидел, значит, урка. А у него даже среди дружков урок не было.

Раздвинув мрак, встала по правому борту ледяная гора, поднялась до самых верхних надстроек, бесшумно прошла мимо и растворилась в темноте, как гигантская глыба рафинада. Только невесть откуда взявшиеся куски льда на палубе – искрились и мерцали зеленоватым светом. Оркестр умолк. И только был слышен негромкий надтреснутый голос гитары.

Эх, ясное море! Я его, брат, крепко понимаю. И уважаю. Он правильный был. Хотя его некоторые – неправильным считали. Но тогда много чего в жизни неправильного было. Потом все правильно стало. Да только мы такими неправильными и остались. А потом опять то, что правильным считалось, сейчас тоже неправильным оказалось.

Качается вагон, и сквозь груду человеческого лома, вмороженную в темный воздух, сквозь смрадные развалины плоти – медленно проявляется, как на смутной фотографии, светловолосый юноша с тонким лицом ангела. Вспыхивают золотом лейтенантские погоны с голубыми просветами. Хлопает тяжелая дверь, взрывается на секунду звонкий аккордеон в соседнем вагоне, где уютно и тепло, где под звяк бутылок и стаканов – идут нескончаемые разговоры о чужом небе, населенном железными призраками, о воздушных боях с этими фантомами, о всегда чудесном спасении от разящей длани стремительных демонов. Вот ангелоподобный лейтенант, покусывая папиросу «Казбек», отложил гитару, вот он обаятельно улыбается, встает, оглаживает китель и исчезает во тьме вагона, оставляя после себя легкий запах сгоревшего табака и горький запах сгоревшей жизни.

ПЛАНИДА

Белое, тронутое дряблостью лицо, раскосые зеленые глаза, опущенные уголки рта. Мама кутается в стареньское драповое пальто, прячет скулы в свалявшийся песцовый воротник. Обок лежат узлы из простыней, из которых торчат изношенные подошвы демисезонных сапог, нечистые ручки сковородок, электрошнур тяжелого закопченного утюга, рукав кофточки-самовязки… По белому батисту расплывается зеленое пятно, распространяющее крепкий фиалочный запах, – видно, раздавили в спешке флакон с духами. Мама что-то безголосо напевает.

Мерзавец он был, вот что я тебе скажу. Мерзавец, негодяй и подлец! Сколько я горя от него натерпелась, кто бы знал! Всю жизнь он мою исковеркал, всю жизнь он мою погубил, другая бы ни за что не вынесла, а я вот тяну этот воз проклятый, да пропади он пропадом – и дом его чертов, и сам он! Уходила, уходила, сто раз уходила, да куда уйдешь? То вы маленькие, то потом разъехались, а кому я нужна? А здоровья уж нет новую жизнь начать. Вот и коротаем век, как два сыча. Судьба, видно, у меня такая, и ничего тут не поделаешь. Правильно мне мама говорила: все поёшь ходишь – несчастливой будешь. А я петь любила! Еще маленькой была, наряжусь в платьишко маркизетовое, туфельки голубенькие надену и хожу пою. Мне все говорили: быть тебе, Фима, актрисой. Я ведь даже на сцене немного играла. Вот как сейчас помню: «Умру! Умру от горя! О! Дайте яду мне!» Или еще вот… Нет, все забыла, забыла… Актриса из погорелого театра. Всю себя растеряла, всю жизнь угробила на сад этот, на дом, на сковородки проклятые да на него, подлеца. Ведь что вытворял?! Что вытворял, господи?! Вы маленькие были – что вы помните? Пил, как собака. Сквернословил. И дрался. Он же дикарь! Дикарь! Ну какое у него воспитание могло быть, если без отца рос. А жили они в бараке, в слободке, где высланные все или жулье. Ну какие у них там интересы могли быть? Вот и Санька, братец-то, спутался с ними и стал с пути сбиваться. А потом и совсем спился, когда

его из авиации выгнали. Какой парень был! Красавец! Офицер! И на гитаре играл, и на аккордеоне, и веселый всегда, всегда душа компании… Вот эта компания и довела его. Компания да водка. Да-а, сейчас-то отец не пьет, прижало его сердчишко, а раньше что вытворял! Уж как пил, господи! Домой придет – глаза не видят. И на меня! Ты такая-то! И подстилка, прости, господи, и фашистка! Встанет надо мной с табуреткой, звони, говорит, своим фашистам. Я трубку подниму, сама плачу, говорю: «Девочки, дайте фашистов». У-у, зверь ведь был. Зверь! Нечеловек! Чего-то ему в этой жизни не досталось – он ведь сильным был, способным, другую судьбу себе видел, чтобы большой пост и большая слава. А что он здесь? Шишка на ровном месте. Он ведь так-то неплохой был, когда не пил. Это уж он потом озлобился. Ему бы выучиться вовремя, он бы такую карьеру сделал – все бы ахнули. Я тоже, дура, все маму слушала, а она у нас богомольная, староверка, что с нее взять, ведь не понимала ничего, что меж нами было, а он крепко озабочен был. Ох, а я красива была! Я как-то встретилась с одним своим товарищем – случайно, в парке, – сидим, разговариваем, вы тут копошитесь с Ольгой, а он мне: эх, Фима, это ведь могли быть мои дети… Знаешь, горько так говорит. Плакал. Давай, говорит, уедем куда… А сейчас он большой начальник. В министерстве работает. А в каком – забыла. А я отца любила. Он знаешь какой был? Краса-авец. Все девки за ним бегали. А он мой был. Сильный, яркий… А как мы вместе смотрелись!.. Но, видно, планида мне такая… Не отвернешься от нее. Уж какая сияет тебе звезда – черная или белая, – той и быть.

Лицо ее сначала твердеет, а потом медленно распускается морщинками.

У БАБУШКИ

После школы Костик решил поехать в бабушке Моте. Днем бабушка была одна – дедушка Миша был на работе в паровозном депо, а дядя Гена на учебе в «фабзайке».

Костик ехал в автобусе «Вскрышной Разрез – посе-

лок Розы Люксембург» в сторону Разреза и глазел на пробегающий параллельно паровоз – в надежде увидеть дедушку Мишу, стоящего за рычагами. Паровоз был длинный, мощный, с короткой трубой, из которой вился жидкий дымок. Замасленный машинист в кепке козырьком назад выглядывал из окна. Внезапно паровоз гулко рявкнул, из короткой трубы с шумом рванул вверх столб густого черного дыма. Паровоз зачастил, запыхтел, угольно-черный дым повалил клубами.

– Следующая остановка – «Холодильник»! – объявила тетка-кондуктор, и Костик, закинув назад полевую сумку с учебниками, поплелся к выходу.

Костик любил ездить к бабушке Моте в Тимофеевку. Бабушка Мотя всегда кормила его ватрушками, пирогами с дикой вишней или с грибами, которые она ходила собирать в неблизкий лес, синеющий зубчиками за околицей. Еще у бабушки Моти всегда на подоконнике стояла трехлитровая банка, в которой плавал живой гриб. А у дедушки Миши был голубой сундучок, в котором он хранил ружейные припасы. Когда дед садился перебирать сундучок, попыхивая «козьей ножкой», Костик смирно сидел рядом и жадно вдыхал запах ружейного масла, трогал тусклые латунные гильзы, красные медные капсюли с маленькими зеркалами, а иногда дед давал ему потрогать ружье – короткую легкую одностволку. И даже щелкнуть пару раз курком.

Бабушка Мотя встретила Костика торжественная и улыбающаяся – ставя на стол пироги с ревенем, наливая квас в окрошку, она хитро поглядывала на него, блестела глазами и поджимала победно губы. Костик хлебал окрошку, гоняя по поверхности редкие кусочки вареной колбасы, а бабушка Мотя сидела напротив, подоткнув махоньким кулачком скулу, и готовилась что-то ему сообщить. И, видно, что-то очень важное. Костик покончил с окрошкой, потянул с блюда пирожок. Бабушка налила ему пахнущего вишневым листом чаю. Костик ждал.

Наконец бабушка Матрена выпрямилась и с внутренним ликованием спросила:

– Значит, говоришь, Бога нету?

– Нету, – замотал головой Костик.

– Значит, нету? – бабушка Мотя весело глядела на Костика и подтолкнула блюдо с пирожками к нему. – На-ко вот, шанежку съешь.

Помолчали.

– Космонавты не видели, – сообщил Костик и потянул шанежку.

– Плохо глядели твои космонавты, – бабушка на секунду посуровела и вдруг счастливо засмеялась: – А вот сегодня по радио передавали, что Бог есть!

Костик оторопело посмотрел на нее и куснул шаньгу.

– Бабушка!

– Да! Передавали. Седни утром.

И она опять счастливо засмеялась.

– Летчик рассказывал. Летел он над пустыней – а у него самолет сломался. Вот он сидит в пустыне, горюет, а тут ему мальчик маленький явился!

– И что? – Костик старательно жевал.

– Что-что?! – бабушка рассердилась. – Посланник то Божий был! Вот что!

Костик обалдело уставился на бабушку. Она опять улыбалась.

– Эх ты, Фома неверующий!

– Ерунда! – уже рассердился Костик. – Ты чего-нибудь напутала.

– И ничего не напутала! – радовалась бабушка Мотя.

– Напутала, напутала! Что, так и сказали: Божий посланник?

– А кто ж, по-твоему, это был?!

Бабушка снисходительно смотрела на Костика.

– У него еще барашек был. А Христос-то тоже с барашком явился!

Костик замотал головой. И вдруг разулыбался.

– Бабушка! – с восторгом закричал Костик. – Так это… сказку передавали! Радиопостановку! «Маленький принц»! Экзюпери!

– Тьфу! – опять рассердилась бабушка. – Что ты мелешь?! Тебе все – сказки! Тебе русским языком говорят: летчик сам рассказывал. Летел над пустыней, у него мотор

сломался. Он сидит, отчаялся, а тут ему посланник Божий! Он и помог ему. А так бы сгинул летчик-то. Ты вот не слышал, а мелешь… По радио небось врать-то не будут.

Костик закричал в отчаянье:

– Да бабушка же! Это актеры были! Разыгрывали сказку! Ну… как в театре!

Бабушка с сочувствием поглядела на Костика и вздохнула:

– Эк вас заморочили.

– Бога нет! – звонко сказал Костик. – Наука это доказала.

Бабушка поджала губы и ушла в горницу. Костику стало не по себе. Он понимал, что обидел бабушку, но ведь все так очевидно! Тут даже спорить не о чем! Но радости от собственной правоты почему-то не было. Както скомкалось желание пойти в сарайку, где в пыльном свете стояла диковинная машина – аэросани, которую собирал дядя Гена, расхотелось слушать трескучие патефонные пластинки, которые крутились с невероятной скоростью под острой патефонной иглой («Блоха? Хаха!»), и даже не манила книжка «Хрестоматия», где можно было почитать про удалого казака Тараса Бульбу или про ловкого мужика, который двух генералов прокормил. Костик неловко вылез из-за стола и вышел на крыльцо. Сел на белую, выскобленную голиком ступеньку и стал смотреть на рыжего петуха, гусаром ходившего по двору. Посидел, поскучал. Вышла бабушка, бросила пшена курам. Костик нашел в сенях сумку, потоптался на крыльце, сипло сказал выглянувшей бабушке:

– Ну, я поеду.

– Езжай, – вздохнула бабушка Мотя. – Матери-то скажи – я в воскресенье приеду.

И украдкой перекрестила уходящего внука.

Автобус был разбитый и пыльный, с медленно закрывающимися дверями. Костик заплатил тетке-кондуктору шесть копеек, взял билетик и сел к окну.

Когда Костик был маленьким, в городе появились новенькие автобусы с фестивальным цветком на ветровом

стекле, и Костик настаивал, чтобы они с бабушкой ездили к ней в Тимофеевку только на таком – «с цветочком». Они терпеливо стояли на остановке и, пропуская два-три старых автобуса, садились в хромированную, пахнущую чистым кожзаменителем машину – «с цветочком». И радость от тех поездок утраивалась.

Разбитый автобус, тихонько постукивая, катил мимо заросшего камышом пруда, мимо беленой церковки с голубой маковкой, на которой радостно горели золотые звезды.

ДОРОГА, ВЫМОЩЕННАЯ ЖЕЛТЫМ КИРПИЧОМ

Свет разъездов и полустанков ненадолго застревает в купе, в открытое окно мягко плывет сладкий запах украинской ночи, покачиваются вагоны, и бормотанье колес навевает счастливую дрему, и усталость лениво охватывает сердце. На нижней полке спят жена и сын. Теплый ветерок шевелит легкие волосы сына – от случайного света нежно-розовые, как перо фламинго, его личико прозрачно и спокойно, и только цветут пунцовые губы.

Жена открывает глаза, тревожно смотрит на меня, косится на сына. Она прижимает палец к губам, успокоенно кивает головой и тут же засыпает.

Опять поезд, опять дорога! Сколько уже накручено железных и каменных километров? «Чугунный посох стерт наполовину…» На какой станции отцепили маленький паровозик с высокой трубой, с неторопливыми красными колесами, с ватным тугим паром – и с лязгом прицепили сверхмощную машину со стремительными обводами, с бесстрастным выпуклым взглядом фар и с холодным, пахнущим озоном нутром?

Пробуждения своего я не помню. Помню только большую стеклянную дверь с белыми занавесками, как рывками открываю ее (очень неудобно, потому что дверная ручка высоко), вхожу в комнату и вдруг испуганно замираю – слышу крик: «Нельзя сюда!» На ярком желтом полу сия-

ют синие осколки стекла. И смутно вспоминаются вчерашние крики, топот сапог, тяжелая фигура отца с графином в руке, звон стекла… Отец и мать лежат, обнявшись, в большой, высокой кровати и смотрят на меня. Мать улыбается и грозит мне: «Нельзя сюда!» Я шлепаю босыми ножками по полу, сажусь на корточки и пробую указательным пальчиком один осколок – самый крупный.

В вагон внезапно влетел шелест утреннего дождя, мерный шум ленивых тополей, и я завороженно вдохнул запахи влажного суглинка, свежей зелени и увидел мальчика, стоящего на деревянных, вытертых голиком добела ступенях лестницы, что вела на второй этаж, где в квартире номер пять он и живет, где еще тихо, потому что спят папа и мама.

Мальчик стоял в гулком коридоре, трогал ладошкой волглые оранжевые стены, лиловое пятно на стене, похожее на медведя, перила и балясины лестницы – и ждал, когда раздадутся грузные шаги и звук катящихся по асфальтовой дорожке подшипников, громыхание фляги… Он ждал певучего женского голоса: «Каму малака? Малака каму?»

Молочница с шумом опрокинула последнюю мерку с молоком над алюминиевым бидончиком, и молоко запузырилось у горловины. Быстрые матовые пузыри с треском лопались, молочница, глядя на шелушащиеся губы мальчика, на его острый взгляд, заворчала: «Холодное». Мальчик передал в мокрые руки молочницы пожухлые рублевки, поднялся на лестничную площадку и прильнул к помятому краешку бидончика, чувствуя, как под ладонями ходит толчками живое молоко.

Вперед! Вперед! – локомотив рвется сквозь явь, сквозь зыбкий мерцающий полусон – все возрастает скорость, все лихорадочнее дергаются вагоны, в которых сидят знакомые и незнакомые мне люди, и меня мотает по этим вагонам, как пьяного. В открытые окна врывается запах лесной травы. Я открываю в тамбуре тяжелую дверь –

мимо летит темень. Я прыгаю, и упоение полетом охватывает меня…

Золото тишины и света льется сверху. Я стою, оглушенный солнцем. Опускаю глаза и вижу землю совсем рядом. Я совсем еще ребенок.

Солнечная пьяная зеленая поляна. Сосновый бор кипит кронами. Маленький мальчик в коротких штанишках на лямках, в хрустящей белоснежной панаме с большой пуговицей на затылке – слушает, как тягостно дышит лес. Иглы сосен сверкают, на нежно-коричневых стволах густая липкая смола. Гулкий деревянный стук дятла раздается под сводами леса. Страшный шмель вьется над головой. Две капли земляники у самых ног. Он рвет землянику со стебельками и складывает букетик. Слабый ветер приносит запах озера – оно за соснами, оно такое огромное, что страшно заходить в воду. Там живут хвощи и пиявки. А они купаются в купальне. Купальня построена специально для них – так сказала воспитательница Людмилавладимировна. Что такое «специально»? А вода в купальне теплая. Теплее, чем в озере, и под ногами песок. А в озере ил и холодная тина.

Кукушка, кукушка, сколько мне жить?

Где-то далеко позади остался лесной полустанок, от которого вела к голубым решетчатым воротам дачи легкая тропинка, посыпанная мелким песком, и густое солнце, разбрызганное на земляничных полянах, рябое металлическое озеро, сухие и теплые доски купальни, стрекозы (красного цвета – «пожарники» и зеленого – «лесники»), еще непонятное глубокое небо, гулкий лесной шорох (это ходят лешие), сосновые шишки, которые можно брать босой ногой, ржавые сосновые иголки, мухоморы, изнуряющий запах папоротника… И радостная пронзительная мысль – мама приедет в воскресенье и привезет вишни!

Как сладко было спать и как сладко было просыпаться!

Ровный голубой свет освещает комнату. Блестят листья узловатого фикуса. Спит над кроватью Голубая Стре-

ла. Вьется в тропических зарослях травы дорога, вымощенная желтым кирпичом. Трам! Трам! Трам-та-ра-рам! Выходит рота деревянных солдат. Бьют барабаны, труба поет! Громыхают пушки, стучат сапоги. Пахнет порохом и сыростью ночного леса. Впереди на коне – командир в шляпе с пером. Помахивает сабелькой, топорщит усы. Трам! Трам! Знамена вперед!

Бедные мои дуболомы! Несчастные Урфин Джюс и Лан Пирот! Вы сгорите в жарком огне голландской печи, и звон серебряных колокольчиков навсегда умрет в моей груди. И говорящие куклы замолчат навсегда, и живые снеговики потекут ручьями, Буратино найдет свою заветную дверь и скроется за нею, оловянный солдатик будет перелит в пулю для самодельного пистолета, елку выбросят на помойку, новогодние сумерки перестанут казаться таинственными – все, все сгинет в омуте памяти, и горстку пепла, оставшуюся от деревянных солдат, выдует сумрачным зимним ветром. Прах и горечь!

«Мой сон, мой сын… Рыжая голова! Ликом светел, косит глаза. Звуки складывает в слова. И не солона у него слеза». Куда приведет тебя дорога из желтого кирпича? Сгоришь ли в атомном огне, будешь ли тащить унылую баржу жизни под волчьим солнцем или же поднимешься на тугих светлых крыльях высоко вверх, преисполненный гибельной отваги? Мне становится страшно от невозможности увидеть, каким ты будешь. А пока ты идешь, как я прежде, весело и беспечно по желтой дороге, и пес Тотошка разговаривает с тобой на человечьем языке, – ты еще умеешь разговаривать с кошками, птицами, со всякой ничтожной тварью, ты еще неотделим от природы, ты еще сам птица, птенец…

БАРАЗИК

Сначала в парке перестала играть духовая музыка, потом стали незаметно осыпаться листья, земля по утрам начала подмерзать, а потом и смерзлась совсем. Солнца не было. Осень замерла в городке. И казалось, замерла

вся жизнь, только ветер перекатывал по улицам пустынный холод, поднимая лиственный прах и крутя его над сухим холодным асфальтом городских тротуаров. В сером свете дня слабо светилась тугая бледная кора обнаженных тополей, из скверов тянуло пряным и сизым дымом.

Уши уже мерзли, и мать, одевая Костика в школу, нахлобучила на его стриженую голову шапку-ушанку, несмотря на яростное сопротивление. Не форси, сказала мать, менингитом заболеешь. Дурачком станешь.

Выцветший желтый песок дорожки позванивал под копытцами башмаков. Костик шел через парк, пиная полы чудовищно длинного пальто «на вырост», и мучительно представлял, как он будет переходить через площадь, как пойдет дальше, по проспекту Горняков, обращая на себя непристойное внимание всех учеников и учениц Начальной школы № 7. Костик поддернул ранец, потянул тесемки на шапке, развязал сложный бантик и, помахивая ушами шапки, как спаниель, решил через площадь перебежать, а до школы добираться дворами.

Парк просвечивал насквозь. Летний театр стоял с заколоченными крест-накрест дверями – серая мягкая известь на его высоких дощатых стенах облупилась, скукожилась. За голой сиренью стал виден голубой деревянный павильон с вывеской КАФЕЛЕТО.

Толкнув железную калитку парковых ворот, Костик вышел на площадь. Две толстые тетки в телогрейках красили порывистого гипсового Кирова серебряной краской. Они стояли на шатких деревянных козлах и то коротко и резко тыкали кистями Кирову в лицо, то нежно водили по складкам пальто. К демонстрации, подумал Костик и остановился поглазеть на памятник – тот все больше и больше набирал металлический свет. Краска падала на асфальт, застывая большими серебряными звездами.

И тут Костик увидел Баразика и сразу вспомнил, что тот вчера не был в школе. Они сидели за одной партой, и оба безнадежно любили Лариску Соломенцеву. То, что Лариска не любила Баразика, было Костику понятно –

тот ходил в школу в синих сатиновых шароварах и в желтых туфлях с загнутыми носами. К тому же когда он смеялся, то вихлял всем своим несуразным длинным телом и при этом свирепо выдвигал челюсть. Но вот почему Лариска не любила его, Костика? Хотя чего тут непонятного? В этой шапке без «лобика», в этом огромном пальто, с детским ранцем за плечами – как такого полюбить?!

Еще у Баразика была большая розовая книга «Гаргантюа и Пантагрюэль». Сначала Баразик пересказывал ее, выбирая самые смешные места, потом дал почитать на неделю. Это была шикарная книга. В книге было много рисунков, отчего она была еще шикарней. Костику нравилось описание жратвы. Эта книга заменила ему «Книгу о вкусной и здоровой пище». Они с сестрой Ольгой любили вечерами листать толстенный коричневый фолиант, деля на двоих весь этот немыслимый пир горой. «Это мое!» – кричала Ольга, прихлопывая ладошкой жирную жареную курицу. «А это мое!» – с некоторым опозданием солидно говорил Костик, тыча пальцем в невиданную рыбу-севрюгу. Отец говорил маме, что когда Микоян занимался продовольствием, то все было. А теперь хлеб делают с отрубями. А белого вообще нет. И во всем виноват Хрущ. Отец его иногда называл Кукурузником. Костик понимал, что отец говорит о толстом лысом человеке, фотографию которого в учебнике учительница совсем недавно разрешила разрисовать чернилами. Самые отчаянные выкололи ему перьевыми ручками глаза. Хотя Костик – как и все – две мрачных зимы стоял по утрам в очередях за хлебом, он видел также, что белый хлеб был: в школе продавали булочки по четыре копейки, и многие учителя покупали их домой. Но усы и рожки лысому – нарисовал.

А еще у Баразика была настоящая финка. Вернее, не у него, а у его отца, но когда отца не было дома, то Баразик открывал каким-то хитрым приспособлением из проволоки отцовский стол с зеленым сукном, доставал финку в деревянных ножнах и, повесив ее на пояс, важно ходил по квартире. Однажды он сказал, что знает страшную тайну,

и заставил Костика поклясться, что тот никому ее не откроет. Баразик почему-то шепотом, хотя в квартире никого не было, сказал, что финку отцу подарил сам Киров. Тот самый. Ясно? Но ничего Костику не было ясно. Баразик, нервничая, рассказывал о каком-то заговоре, называл фамилии, которые были Костику незнакомы, но одну – смешную – он запомнил. Ягода. Костик представил себе заговорщиков в длинных складчатых плащах и с узкими мечами, как у крестоносцев из польского фильма.

Баразик покупал эскимо у лоточницы. Костик подошел и встал рядом. Баразик увидел его и нахмурился. Он ободрал фольгу с эскимо, отколупнул отставший пластик шоколада, положил его на язык, задумчиво посмотрел на мороженое и, вздохнув, протянул Костику – кусай! В такой холод мороженое было категорически запрещено, и поэтому Костик, недолго думая, откусил. Изрядно откусил, так что зубы заломило. Языком стал катать нетающий кусочек во рту. Баразик хмуро грыз шоколадную глазурь.

– А у меня мать умерла, – неожиданно сказал он, и губы его растянулись в идиотской улыбке. Он судорожно дернулся и снова принял нахмуренный вид. – Батя второй день пьет. Пойдем к нам на поминки.

Дикая и бессмысленная улыбка опять растянула его губы. «Поминки» он произнес с ударением на первом слоге. Слово это было Костику неизвестно.

Мать у Баразика была тихая и маленькая – с черными молодыми глазами и ловкими смуглыми руками. Костик отвернулся и незаметно сплюнул обмылок мороженого. В школу он не пошел.

Они поднялись по каменной пятнистой лестнице на третий этаж. Большая двустворчатая дверь была настежь распахнута. В квартиру из подъезда струился холодный сырой воздух. Из большой комнаты доносились гомон голосов, позвякиванье стаканов, треск разбиваемой посуды. В прихожей тяжело пахло драповыми пальто.

Сновали какие-то пьяные и хмурые люди. Баразика узнали, заголосили, стали раздевать, называя сиротинкой. Это слово тоже было Костику неизвестно.

Баразика куда-то утащили, а Костика все тискала и толкала добродушная тетка, пока не вытолкала его в спальню, где был накрыт маленький низкий столик. За столиком сидели испуганные малыши. Тетка запихнула Костику в рот мармеладку, сунула ему тарелку риса с изюмом, залепетала:

– А вот сладенькое! А вот сладенькое!

В углу на табурете сидела старуха с растрепанными волосами.

Старуха раскачивалась с еле слышным бормотаньем:

– Змей! Уходил-таки... От змей! Пьет! Веселится! Ну веселись, веселись... Тебе это еще припомнится.

Вошел отец Баразика. Он был тяжел и медлителен. Его светлые глаза слезились.

– Сволочи! Уже все сожрали и выпили. Михална! Иди сделай салат.

Старуха покосилась на него.

– Ладно. Я сама знаю, что надо делать. Не указывай тут.

Она налила Костику тарелку борща. Борщ был жирный и уже остыл. Костику страшно было отказываться, он стал есть, чувствуя нёбом вкус сала. Потом сказал, что ему надо в уборную, и пошел искать Баразика. В прихожей он столкнулся с мужиком в брезентовой куртке, пропахшей бензином. В углу стоял какой-то тип с белой трубой под мышкой. Вышел отец Баразика. Тип с трубой качнулся ему навстречу.

– Э, хозяин! Шансы давай! Как договаривались.

Они начали переругиваться. Отец Баразика качал надменно косматой белой головой.

Костик заглянул на кухню и нашел там Баразика. Тот сливал капли из пустых водочных бутылок в рюмку.

– Пойдем отсюда, – мрачно сказал Баразик. – Иди одевайся.

Они вышли в прихожую. Костик стал ворошить тяжелые пальто. Баразик куда-то исчез. Появился он не один, а с соседом по лестничной площадке, который, сделав плаксивую рожу, утешал Баразика. «Не бросай отцато, – гундел сосед. – Отец-то сильно переживает. А ты

уходишь. Нехорошо». Появился отец. Встал, высоко задрав лицо. Баразик молча искал пальтушку. Внезапно сосед бросился на Баразика и повалил его на пол. Он, сопя, копался где-то в животе Баразика – и вдруг отпрянул.

– Вот! – страшно закричал сосед, и в руке его тускло блеснула вырванная из ножен финка. – На отца готовил! Сучонок!

Отец Баразика забрал финку и сразу, не сказав ни слова, ушел в комнату. Совсем сомлевший от страха Костик схватил ранец и выскочил на лестницу. Следом кубарем покатился Баразик.

Они шумно бежали по улице, пока не оказались у памятника Кирову, излучавшему свежий серебряный свет.

– Ты зачем нож взял? – спросил Костик, и ему стало стыдно от такого глупого вопроса.

– Загнать хотел, – нехотя ответил Баразик. – Мне один мужик двадцать пять рублей за финку обещал. Он знает про нее.

– Двадцать пять рублей? Новыми? – Костик ошалело покрутил головой.

Баразик сплюнул.

– Я в Гагру хотел уехать. К тетке. Маминой сестре.

– Пойдем ко мне, – сказал Костик. – Поживешь у нас. Я с отцом договорюсь.

– В Гагре тепло. Пальмы. Море, – сказал Баразик.

Они ушли с площади и через парк медленно побрели к дому Костика.

Вечером их положили в одну кровать, укрыв большим бабушкиным одеялом. Они долго возбужденно шептались о Лариске Соломенцевой. И решили, что пусть она останется за Баразиком. А Костик будет любить Светку Булук. Потом уснули. И Костику приснился заговор, в котором рыцари в черных плащах с узкими мечами в руках стояли вокруг серебряного рыцаря Кирова – и у него на поясе висела финка в исцарапанных деревянных ножнах.

НЕУДЕРЖИМЫЙ ВИХРЬ

И проходит время – и приходят другие сны. Однажды ночью, когда весь дом спал, когда в кромешной тишине было слышно, как с размеренной неумолимостью стучат капли в ржавую жесть рукомойника, я лежал, свернувшись калачиком, слушал, как капли бьют, бьют, бьют в источенное временем и водой железо, и вдруг с непостижимой ясностью понял, что когда-то меня не будет. И сердце мое сжалось в комок, и страшно было пошевелиться, потому что позади меня открылось пространство, подернутое легкой дымкой, сквозь которую смутно угадывался сад моего детства, но впереди была пустота, вечность, и я подумал, что этого огромного мира после меня не останется, что его я заберу с собой туда, где нет ни людей, ни имен, ни предметов, ни их названий – туда, где нет ничего.

Холод был дикий совершенно. Уныло тянулась похоронная процессия. Впереди катил грузовик с откинутыми бортами. Кузов был застелен пестрыми дорожками. Машина везла крышку от гроба и маленький памятник, сваренный из листового железа и покрашенный серебрянкой. В памятник была вделана тусклая фотография. Сразу за грузовиком плыл гроб, обитый красным сатином. Гроб легко покачивался на полотенцах. Мужики, скорбно склонив выи, несли невесомый гроб. За ними, грозно и мощно трубя, шли музыканты. Следом – черная толпа несла бумажные венки, перевитые траурными лентами с кривыми буквами «От школы». «От класса». «Доченьке – от любящих папы и мамы».

Мать, выревевшись дома, лишь слегка постанывала и как-то искоса поглядывала на дочь, на ее спокойное, чуть синеватое лицо. Отец шел молча и прямо, держа в руке шапку. Уши его совсем помертвели от холода.

Музыканты поодиночке выскальзывали из толпы и бежали к выхлопной трубе автомобиля, приставляли мундштуки к самому жерлу – отогревали клапаны. Машина шла медленно, поднимая клубы белесого дыма, и музыканты, как тени, как черные ангелы, парили в клубах дыма,

посверкивая трубами. Смрадный автомобильный запах витал над процессией. Я, Баразик, Хатэга и Женька Силкин перебивали в подъезде этот назойливый запах дешевым красным вермутом – давясь и кашляя. Мы тянули холодный дым папирос и матерились, как взрослые.

Я вспомнил об этом, об истаявшей тонкой свечке – девочке Ларисе, когда искал на городском кладбище могилу бабки Матрены. Я вел за руль велосипед, выбирая тропинку – одну, верную, из множества разбегающихся в разные стороны заросшего березами кладбища – и сразу вышел на небольшой деревянный крест. Некрашеный, серый от дождей крест стоял на горушке – открытый солнцу. Продолговатый холмик расплылся и весь зарос репейником и осотом. Я стал драть колючие мясистые стебли татарника. Было больно, руки мгновенно вспухли и покраснели, но я рвал шипастую траву, проговаривал, шевеля губами, «Отче наш» и вспоминал, как зимой в лютый мороз приехал домой, стоял над плитой, растопырив пальцы, отогревался, а мать тихонько подсказывала: «Съезди к бабушке. Она вся черная уже лежит. Съезди!» А уже стемнело, и еще холодней стало, и так меня корежит: ну не могу никуда идти – и все тут! Как представил себе, что надо автобусом куда-то ехать на Розу (поселок имени Розы Люксембург), в совершенно незнакомое мне место, искать в полной темноте дом, искать по запутанным описаниям, и спросить-то не у кого, разве что у загулявших гопников, но тут можно запросто нож в живот получить. В общем, уговорил я себя не ездить. А летом приехал – бабушка уже и померла. Мать сказала, что меня ждала. Узнала, что был в городе и не пришел – огорчилась. Мать рассказывала это без укоризны, как-то отрешенно. Я взял у отца велосипед и поехал на кладбище и, петляя по кладбищенским тропинкам, сразу вышел к кресту. И воспринял это как знак. Только – знак чего?

Руки саднило. Я вел велосипед и вспоминал «Богородицу», которой меня учила бабушка. Учила – да не выучила. Березы кончились, открылось поле с ровными рядами глинистых окопчиков. Стенки окопчиков были изрыты зубчатыми ковшами экскаваторов. Я тупо смотрел

на это странное искореженное поле и вдруг понял, что это могилы. Заранее вырытые могилы. Больше ста могил было вырыто заранее, и сейчас это стозевное поле лежало в ожидании. Подумалось, что сейчас по городу ходят люди, которые скоро улягутся в эту желто-коричневую глину. Кто-то, наверное, и знает, что скоро умрет, но большинство сейчас пребывает в беспечности. И, может быть, они даже были здесь, на кладбище, по каким-то делам – ну, на чьих-то похоронах – и, может быть, даже видели свои могилы. Не подозревая, что это им уготовано последнее ложе. Что через месяц-другой застучат комья глины в обтянутую красным сатином крышку гроба.

– Ловко придумано, – услышал я веселый голос. На глинистом холмике сидел мужичок в выцветшем зеленом дождевике.

– Трактором! Подогнал «Беларусь» – и за два дня все вырыли! Голова! Видать, не жалко работяг-то. Без работы остались ребята. А тракторист-то все и взял! – И в голосе его звучало искреннее восхищение.

Поезд гремит мимо морозного полустанка. Нет остановки! Я на ходу хватаюсь за вагонные поручни, и неудержимый вихрь подхватывает меня. Бесконечный поезд несет меня, железный нестерпимый грохот стоит в ушах, и разрывается от грохота мое маленькое сердце. Черный туннель впереди всасывает в себя пространство и время – скоро втянет и поезд, и весь белый свет. Буду стоять в тамбуре, продышав крохотную дырочку в инее, глядеть сквозь холодное стекло и увижу, как тень моя безмолвно и согбенно бредет по снежной целине навстречу ледяному ветру и вдруг растворится, исчезнет в рябом свете. И где-нибудь далеко, уже в другом мире, она побредет по сырым коричневым листьям, под мутным небом Лимба, под голыми сучьями пустого леса – туда, где слышны неторопливые голоса над медленной рекой, которая встретит глухим всплеском. А планета все так же будет лететь в космосе, и солнце будет обжигать ее бока. И слабо обозначится, а потом погаснет – бурунный след за высокой кормой ладьи.

ДОМ

В доме было тепло. Голландка и плита на кухне с вечеру были натоплены и до сих пор сохраняли красный угольный жар в своих оплавленных недрах. За двойными голубыми рамами лежала студеная ночь, тяжелая и мглистая, как террикон. Хозяева домов давно выключили свет во дворах и висячие лампы над воротами, машины и днем здесь были редкостью, а что до местных мотоциклистов, то разве только сумасшедший рискнет выехать в такой мороз. Впрочем, таковые иногда находились: ревя мотоциклами, они мчались по кованым дорогам, как ангелы ада, разбивая узким светом кромешную тьму поселка.

В парке сквозь замерзшие купы тополей слабо синел один фонарь, остальные же были мертвы.

За парком был город. Над ним всегда по ночам стоял купол света, хотя улицы пустели рано.

А в поселке было темно. И ледяная эта тьма не давала спать Георгию, он лежал тихо, прислушиваясь то к этой тьме, то к своему сердцу.

В доме было тепло, в печах багрово светились подернутые патиной угли, в духовке стоял не остывший еще после ужина казан с пловом, и можно было хоть сейчас встать, поесть жирного рыжего плова, насытить чрево и успокоить душу. Или налить крепкого чаю с лимоном – чайник на плите горячий, – или просто принять снотворное и забыться в легком сне, пусть пропадут, рассеются заботы, пусть отдохнет больное сердце. Нет, вставать не хотелось, не надо думать о ледяной тьме, в доме тепло и уютно, в соседней комнате спит Серафима, совсем неслышно спит, но Георгий знал, что чутко, и если сейчас встать, заскрипеть сеткой кровати, то она обязательно проснется и уж до утра точно не уснет. А утром будет ходить с больной головой и охать. Тоже стареет. А когда он привез ее в этот дом, сколько ей было? Так, Костя родился в пятьдесят третьем… А сюда въехали, было ему… было ему шесть. Нет. Семь ему весной исполнилось. Осенью в школу пошел. Он увидел Костика, одетого в новенькую серую фор-

менку, подпоясанного лаковым ремнем с латунной пряжкой, фуражку с кокардой на стриженой голове, ранец, длинный букет красных и белых гладиолусов. Это уже были свои цветы. Фима весной посадила в палисаднике гладиолусы и сиреневые петушки (тогда огорода еще не было, на его месте стояло большое болото, подернутое ряской, в которое сыпали, как в прорву, самосвалами землю). Потом в палисаднике посадили сирень. Она быстро разрослась и закрыла окна от нескромных глаз, и летом уже можно было не закрывать на ночь ставни. Березки, стоявшие в дальнем углу огорода, пришлось срубить, а когда совсем ушла вода, они с Костиком посадили яблони, вишню, смородину, а вдоль валкого дощатого забора – крыжовник, рожавший крупные мохнатые ягоды. А березу возле крыльца оставили. Сейчас она выше дома, и когда поднимается ветер – скребет и стучит в шиферную крышу, выбеленную дождями и солнцем.

Дом. Его дом. У его отца тоже был дом, который должен был перейти ему, Георгию. Но от дома сейчас только камни остались. Несколько лет назад Костя ездил туда, искал. Все, рассказывал, быльем поросло. Полынь и лебеда. Эх!

А ведь была надежда, что Костя останется здесь. Стал бы инженером. Ведь были же способности. Оболтус! – внезапно озлобился Георгий. Только пьянствовать! Да языком ля-ля-ля! Я на одном месте тридцать пять лет проработал. И ни одного выговора. А этот? Работает лишь бы где. Скоро вторая трудовая книжка кончится. А кто не хочет гордиться сыном? Раз уж так случилось, что сын не может или не хочет дело отца продолжить, пусть хоть достойную профессию изберет. А то… щелкопер! Характера у него моего нет. Голова моя, а характер не мой. Мать его испортила! Да что там… Вот дом. Кому достанется? Кто в нем жить будет? Какие люди? И от мысли, что придут в опустевший дом чужие люди, привезут свою мебель, переставят все, перекроят по-своему, наладят свой быт и станет дом совсем чужим, останется только собственно дом, вот эти стены, что век простоят, стало ему горько и трудно. И летним светом залило грустную его

думу, и руки вспомнили тяжесть топора. Эх! Топор сочно вонзался в бок бревна, оголяя почти непристойную белизну его тела. Мелкие щепки брызгали в стороны, из-под топора ползла длинная ломкая щепа, и первобытный запах дерева делал сердце радостным и легким.

Вот они с Костиком лежат вповалку на только что настланном полу и слушают, как неторопливый сквозняк с легким шелестом гоняет по дому влажную стружку. И в четыре окна в комнату льется небо. Дунул, свистнул ветер, и снова в душу свалилась темная холодная ночь. Ветер дергал ставни, напирал в окна, то вдруг замирал, то с удвоенной силой бросался на дом, на этот остров тепла в расходившемся студеном море мглы.

Георгий не подводил итоги, жизнь его была открыта, как зауральская степь. Где-то за горизонтом была другая жизнь или начало этой, и все чаще он пытался проникнуть туда умом, накупил книг по истории, не пропускал ни одной публикации в журналах и газетах о проклятом прошлом, но с ужасом убеждался, что чем дальше он продвигается по этой степи, по целине, тем дальше и дальше отодвигается горизонт; пусть открываются дали, но за ними предполагались такие просторы, что дух захватывало от одной только мысли, что это и твоя жизнь встает из-за горизонта. Сейчас он стоял одиноко в этой пустыне и старался понять, почему его простая и ясная жизнь не дает ему полного удовлетворения. Мысль его ходила кругами: у его отца был дом, и он, Георгий, родился в этом доме. Но дом построил не сам отец, его построил еще его прадед. Или прапрадед? Сейчас у Георгия свой дом, но дом ли это его сына? И не приезжает совсем. Чужой для него дом. Продадут дом, войдут в него чужие люди… Георгий чувствовал, что исчезает какая-то основательность его жизни, что нельзя, чтобы каждое поколение строило себе свой дом. Дом должен быть один, вдруг понял он. Лишенный с детства дома, своими трудами его воздвигший, живя сейчас в опустевшем доме, он с горечью подумал, что и для внуков его это уже не дом, а дача. Приезжают на каникулы, пасутся в огороде, разбирают хлам в стайке и чувствуют себя открывателями новой земли, нового света, а он, как старый

индеец, смотрит на них с тоской и понимает, что пришли и уйдут, уедут, чужие они здесь, чужие, а так-то ведь свои, родные… От счастья, радости и от смутной тоски перехватывало сердце. Хотелось продолжения своей жизни, но не где-то там, вдалеке, – пусть успешной, даже победительной! – а вот здесь, на виду, простой, понятной, ясной, чтобы умирать было не страшно, чтобы отвоеванная у болота земля, чтобы дом, маленький дворик, скамейка, береза во дворе, качели на березе – все это деревянное царство-государство осталось таким, какое оно есть. И чтобы оно продолжалось без него, как продолжается время в часах, которые не нужно заводить каждый день. Такие непривычные часы висели над большим зеркалом в гостиной. Георгий недавно купил их в уцененном магазине. Идут. Бесшумно и точно. В доме были и другие часы: будильник с никелированным куполом, ходики с гирьками на кухне, каминные часы, стоящие на книжном шкафу. И все они тикали вразнобой, хотя время показывали одно.

ШЛЯПА

Костик нашел ее в шкафу среди пропахших нафталином вещей. Из темно-синего – почти фиолетового – фетра, с высокой тульей, с широкими вислыми полями, – что это была за шляпа! Костик понюхал ее и чихнул.

Отец носил какие-то дурацкие тирольские шляпы, от которых несло кислым потом и крепким одеколоном. А эта шляпа была мягкой, легкой. И глубокой, как море. К этой шляпе как раз сапоги-ботфорты и широкая толедская шпага.

Великолепная была шляпа. Р-романтическая!

Костик надел ее и подошел к зеркалу. Под смятым синим колоколом шляпы лицо приобрело синеватый оттенок.

– Еще бы! – сипло сказал Костик. – После дюжины джина еще не так небось посинеете.

Он небрежно прошелся по комнате. Покрутил ус.

– Свистать всех наверх! – сказал Костик и оскалился.

На чердаке было душно и сумрачно. В глубине сияло круглое чердачное окно. Между печных труб были напутаны бельевые веревки. Костик, похрустывая по слежавшемуся шлаку, пробрался к окну, где стояли рябой письменный стол и кривой стул. На столе под толстым стеклом лежала карта Карибского моря, вычерченная цветными карандашами. По острым волнам бежали испанские каравеллы, за ними по пятам – хищные британские фрегаты, окутанные клубами пушечного дыма.

Костик достал из ящика стола общую тетрадь в желтом ледериновом переплете, чернильницу-непроливайку и ученическую ручку. Постучал пальцем по барометру, висевшему на столбе. Черная стрелка сместилась чуть ближе к «ясно». Костик зафиксировал ее положение латунной стрелкой и оглядел чердак.

Солнце пробивалось сквозь щели и дыры крыши. Плотные желтые лучи стояли в темном пространстве чердака, образуя вместе с бельевыми веревками сложный его такелаж.

Костик макнул перо в чернильницу. Напрягся белый парус шифера, скрипнул рангоут чердака, дом качнулся. Перо заскользило по линованной голубоватой бумаге. И дом медленно и тяжело повлекло под напором ровного светлого ветра, и объяли его синие волны строк.

«Бригантина “Анабель” закончила кренгование на одном из безымянных островков Архипелага и снова вышла в открытое море. Джек Саймон пребывал в меланхолии. Мысли его блуждали. “Анабель! – шептал Джек бледными губами. – О, моя Анабель! Тысячи миль разделяют нас, и разлука грызет мое сердце. И путь мой к тебе во мраке”. Джек нашел на груди медальон, открыл его и с нежностью, неожиданной для свирепого человека, посмотрел на личико, обрамленное золотистыми локонами.

– Справа по борту испанец! – раздался крик сверху. Джек тяжело вздохнул и спрятал медальон. В глазах его сверкнули маленькие молнии. Он сунул за пояс пару пистолетов и вышел на палубу. В пяти кабельтовых

грузно осевший галион лихорадочно ставил паруса. “Курс зюйд-зюйд-вест”, – скомандовал Джек. “Анабель” выбросила Веселый Роджер и, сменив галс, стремительно пошла наперерез испанцу. “Команда – к бою! Левое носовое – огонь!” Ядро взрыло воду под самым бушпритом галиона. На испанце открывали порты. Бригантина, сделав маневр, дала бортовой залп, последствия которого были ужасающи. У галиона в щепы разбило грот-мачту, оснастка перепуталась. Второй залп смел с палубы галиона солдат в кожаных колетах и блестящих высоких шлемах. Джек…»

– Костя! Ко-остя!

Погас призрачный чердачный такелаж. Костик с досадой бросил ручку и выглянул в окно. Внизу стоял Вовка Голощекин, и в его рыжих волосах дыбом торчали перья.

Костик слетел с чердака, важно надвинул шляпу и вышел за ворота.

– Привет, Боб! – крикнул он и надменно поднял руку. Но тут из подворотни вылетел, утробно рыча, соседский кобель Мишка, и Костику пришлось срочно спасаться на заборе. Проклятье! Шляпа свалилась с головы и была немедленно подхвачена и растерзана Мишкой.

Но Вовка не дрогнул, увидев ужасную эту расправу. Он гордо стоял, скрестив на груди руки.

– Гадский пес! – заорал Костик, сидя на заборе. – Моя шляпа! Пошел! Пошел вон!

Мишка бросил шляпу и, забегая задними ногами за передние, погнался за кошкой. Костик, не теряя собственного достоинства, спустился вниз и, отряхнув останки шляпы, воздел их на голову.

– У-у! Кабысдох!

Он подошел к Вовке.

– Ты что, Боб? Получил пробоину?

Вовка молча достал из-за пазухи пакет, запечатанный зеленой пластилиновой блямбой. На пакете было написано: «Джельтмену удачи Джеку Саймону, эсквайру». Костик соскреб ногтями блямбу и развернул бумагу.

«Бледнолицый брат наш! Совет Старейшин приглашает вас выкурить трубку мира и вступить в наше племя. Иначе погибнешь у столба пыток. Кто не с нами – тот против нас! Хау.

Сыновья Большой Медведицы»

Внизу были нарисованы скрещенные стрела и томагавк.

– Так, – сказал Костик, выкусывая занозу из ладони. – Бунт на корабле. Так-так.

– Что передать? – голос у Вовки был скрипучий и противный.

– А кем я буду у вас в племени? – вкрадчиво спросил Костик.

– Охотником.

– Да-а?! – возмутился Костик. – Простым охотником? А сам-то ты кто?

– Я вождь, – скромно сказал Вовка. – Меня выбрали.

– Ага. А меня, значит, выбрали охотником?

– Ну, – смутился Вовка, – если ты совершишь какой-нибудь подвиг, то будешь... Великим Охотником!

– Шиш вам с маком! – гордо сказал Костик. – Без меня все придумали, без меня и играйте! Охотники... до чужих кур.

Вовка повернулся на каблуках.

– Боб! У тебя глаза голубые. Какой ты индеец!

– А ты – шляпа! – презрительно сказал Вовка через плечо и двинулся деревянной походкой, какой, по его мнению, ходили исполненные невозмутимости вожди, но тут за ним погнался Мишка, и Вовка, роняя с головы перья, позорно бежал.

– Ату! Ату его! – заорал Костик, приплясывая.

Из кустов жимолости вылетела легкая белая стрела и ударилась в забор.

– Шиш вам с маком! – закричал Костик и для убедительности свернул фигу. Потом сплюнул, величественно поправил шляпу и пошел на чердак.

Предатель, думал он, сидя в пыльном полумраке. Все предатели. Барометр показывал «ясно», а на душе было

пасмурно. Костик с досадой захлопнул тетрадь. А-а! Тоже мне – береговое братство! Клиппер и кливер путают! Пирата от капера отличить не могут! А Боб так до сих пор уверен, что шпигат – это парус такой! «Джельтмены»! Костик ядовито усмехнулся. Но как бы там ни было, а капитан без команды – уже не капитан, а одинокий морской волк, доживающий свой век в сырой и грязной таверне. И низвержение с капитанского мостика сулило Костику жалкую, убогую старость.

В кейптаунском порту –
с какао на борту –
«Жанетта» поправляла такелаж! –

запел Костик бодрым голосом, но так фальшиво, что сам услышал это и умолк.

Тоже мне – Сыновья Большой Медведицы! Да что они знают?! Купера не читали. Сетона-Томпсона… И луки, конечно, из сырого тальника делают. А уж стрелу оперить… Да-а.

Костик натянул шляпу по самые уши. Чердак был постылым и неуютным.

Пойти посмотреть, что ли, лениво подумал Костик. А ноги уже сами несли его к люку.

Городской сад стоял замороченный полдневной жарой. Иногда раздавался железный скрип карусели или велосипедный звонок, но и эти редкие звуки вязли в зеленом мареве сада, пронизанном сухим ярким светом бледного неба. Солнце сильно нагрело траву и кусты, и от вялых листьев несло теплую пыльную волну запахов.

Костик перелез через кованую ограду, продрался сквозь колючую акацию и нырнул в заросли дикой вишни. Он бесшумно крался по только ему ведомым тропкам и видел себя в полной боевой раскраске и с томагавком в руке.

«Ястребиное Перо углубился в чащу леса. Шаг его был легким, а тело сильным и гибким. Ни одна ветка не дрогнула, ни один лист не шелохнулся на его пути. Мрач-

ные глаза его сверкали. Проклятые гуроны! Они ответят за измену! Ноздри его уловили запах дыма…»

Костик осторожно отогнул ветви и затаился. На поляне горел костерок. Вокруг огня сидели на корточках пацаны. Вовка Голощекин пытался раскурить длинную трубку, ему помогали советами, и так это хорошо они сидели возле прозрачного костерка – кто мастерил лук и стрелы, кто поджаривал на длинных вицах кусочки хлеба, – что Костику страстно захотелось туда, в круг своих друзей, пусть простым охотником, он согласен, согласен! Костик сдвинул на затылок шляпу и вышел на поляну.

– А-а! Кинстинтин! – заорал Вовка. – Ур-ра!

Пацаны загомонили, замахали ему руками, и Костик облегченно вздохнул. И он уже шагнул к ним в круг, как вдруг заметил, что все они как один напряженно замерли и смотрят куда-то мимо него. Костик оглянулся.

Он их сразу узнал. Руза и Сват держали шишку на улице Гоголя, а на гоголевских даже шанхайские шишкари не прыгали. Руза и Сват шли к индейскому табору и улыбались, и Костику стало не по себе от этих улыбок. Сейчас трясти будут, подумал он, и все обмерло у него внутри – в кармане рубашки лежал рубль. Утром мама дала на молоко.

Они подошли к костерку, все расступились.

– О! Ништяк! – сказал Сват и, осторожно ухватившись за кусочек хлеба, потащил его с вицы, которую держал маленький Акуня.

Все молчали.

– Тебя как зовут? – спросил Руза Вовку Голощекина.

– Володя, – еле слышно ответил Вовка.

– Володя, – повторил Руза.– Вовик. Куришь, что ли?

Вовка потупился.

– Да нет… Это я так…

И стал ковыряться в трубке.

Руза достал грязную пачку «Севера», выскреб папироску, дунул в нее.

– А перья зачем? Клоун, что ли?

Вовка смутился, торопливо стал выдирать перья из башки.

– А что это вы костер палите? – спросил вдруг Руза строго.

– Да мы так… – совсем оробел Вовка.

Руза нагнулся, выбрал тлеющий сучок, прикурил.

– Филки есть? – равнодушно спросил он.

Сват, давясь сухим хлебом, подхватил с земли велосипед Акуни. Акуня жалобно смотрел на Свата.

Руза махнул Костику.

– Ты! Шляпа! Иди сюда!

Костик подошел, чувствуя под ложечкой острый холодок.

– Филки есть?

– Нету, – сказал Костик. И вдруг увидел, как Руза медленно, как бы с ленцой, запускает в его нагрудный карман рубашки два пальца, медленно достает оттуда желтую бумажку и так же медленно расправляет ее.

– Рваный! – удивился Руза. – А говоришь – нету. Нехорошо!

И как-то сморщился. И как-то горько повторил:

– Нехорошо!

– Отдай, – жалобно протянул Костик. – Это не мои.

– Не понял, – Руза снял с Костика шляпу и, загнув поля, примерил ее.

– Сват! Ну как? Идет? – крикнул он дружку.

– Ништяк! – заржал тот, выписывая кренделя на маленьком Акунином велосипеде, пытаясь поднять его на дыбы.

– Кончай! – робко просит Акуня. – Сломаешь.

– Не сцы! – кричит Сват.

– Отдай, Руза! Слышь, отдай, не мои… – чуть не плачет Костик.

– Что? – Руза прищурился, отвесил губу. – Не понял.

Костик замолчал.

– Недоволен? А? Сват! Не, ты понял, он недоволен!

– Че? Кто недоволен? – Сват бросил велосипед, Акуня тут же подхватил его и стал осматривать. – Этот, что ли, недоволен?

В руке его появился нож-лиса. Костик завороженно смотрел, как Сват ловко открывает его.

– Ты че, в натуре? Недоволен?

– Да нет, доволен, – ответил Костик, и все в нем замерло от сладкого ужаса.

Руза помрачнел и вдруг быстро и без размаха ударил Костика в лицо. Тут же разлетелись, как воробьи, пацаны, брызнул никелем велосипед, сверкнул, прошумел в кустах. Губы у Костика вспухли. Всмятку! – ошеломленно подумал он. Руза зло смотрел на него, не обращая внимания на упавшую шляпу. Потом подошел вплотную – руки на груди, – пыхнул папироской и, резко крутнувшись, саданул снизу наискосок локтем, так что челюсть хрустнула. Костик кубарем покатился по траве.

– Запорю! – крикнул Сват.

Костик тупо смотрел на темное короткое лезвие. Он попытался встать, но неожиданно понял: как только встанет – убьют.

– Ладно, Сват, пошли, – сказал Руза, и они, оглядываясь, пошли прочь.

Костик лихорадочно крошил спичечные головки. Зажав самопал между колен, он всыпал в ствол серные крошки, забил бумажный пыж, потом спустил туда обрубок гвоздя и сверху плотно загнал маленькую кожанку. Сердце его ходило ходуном. Пристроив к запальному отверстию спичку, он примерился коробком.

– Костя! – послышалось с улицы. Костик глянул в окно. Внизу стояли Вовка, Серега, Валька, Акуня со своим велосипедом.

– Пришли! – криво усмехнулся Костик.

– Костя! –жалобно позвал Акуня.

– А пошли вы!.. – Костик сплюнул тягучей красной слюной. Он сел за стол, потрогал кончиком языка изуродованные губы и застыл в каком-то странном сонном оцепенении.

Сумрак сгущался вокруг него, и тускнело голубое стекло на столе. Как в неясной поцарапанной кинохронике, шевелились перед ним черно-белые кусты… Открылась

поляна, встали смутные фигурки пацанов, крупным планом наехало широкое серое лицо, отвислая губа, злой прищур… Жесткий кулак разом оборвал эту мутную целлулоидную ленту. И все началось сначала. Но зыбкое мглистое изображение сделалось четче, и стремительно раскручивался сюжет.

«И вот он стоит, широко расставив ноги, лихо заломив шляпу, и насмешливо наблюдает, как раскладывается красная ручка "лисы", как из чрева ее появляется тусклый клинок… Он спокойно достает из-под мышки пистолет. Стоять! Стоять, я сказал! И наглые лица скукоживаются под сильным длинным взглядом. Молитесь, гады! И холодно глядя в испуганные глаза – вот так: глаза в глаза! – он поднимает ствол и стреляет в широкий лоб – как гвоздь вгоняют с маху в сухую доску».

Треснул выстрел. Костик вздрогнул: он стоял, в руках его дымился самопал. Обрубок гвоздя, пробив стекло и карту, глубоко вонзился в столешницу. Костик бросил пистолет, сорвал с головы шляпу, упал в нее лицом и горько заплакал над своей разбитой, как голубое стекло, жизнью.

……

Вагонное окно с закругленными краями вспыхивает белым светом. Замелькали сверху вниз черные царапины, стремительно втягиваясь в угольную темноту, запрыгал на экране прозрачный и быстрый чертеж, на белом фоне, испещренном мелким летящим мусором, появился, подергиваясь, жирный титр –

ИСХОДЪ

Старик сидел на камне, высоко держа непокрытую голову. Ветер шевелил седые волосы, а то вдруг, свернувшись маленьким смерчем, забивал ноздри горькой коричневой пылью.

Вот уже который день курилась над дорогой жаркая пыль, и не было от нее спасу, и прохлада приходила только по ночам. Который день по дороге тянулись волы с повозками, шли, еле поднимая ноги, угрюмые люди с красными обветренными лицами. Дорога петляла по лощинам, терялась в ясеневых лесах, но высоко стоявшая коричневая пыль выдавала движение тысяч и тысяч людей. Люди шли на север.

По ночам – а ночи здесь были ясными и холодными – было слышно, как изредка гугукнет сова да иногда взвоют сыто горные волки. И еще луна светит в полную силу, и до рассвета еще далеко, а уже зашевелились люди, засобирались – и снова потянулись обозы. И снова мерный шелест кожаных царвулей, тягучий скрип несмазанной оси и сопение быков, ступающих осторожными копытами по разбитой в пыль дороге.

Мелькали в клубах пыли конские морды, крупы – вооруженные всадники торопили коней, выезжали на обочину. Это люди Генчо-гайдука быстрыми призраками рыскали по округе, высматривая турецкие разъезды.

Утром шли и днем шли, давясь горькой чужой пылью, а на небе крепко стояло желтое солнце. Земля другая, говорили старики на стоянках, а солнце одно. Шептались между собой: «Там, на севере, царица державная. Она сестра нам, она поможет. Говорят, землю дает, говорят, не дает братьев в обиду. И войско у нее такое, что сам султан боится ее, хотя не боится никого, потому что широка земля, но задница у султана еще шире. То-то попробует русского штыка, ха-ха-ха, не усидит».

Старик сидел на камне, и над его тяжелой головой витали легкие сны. Он видел маленькую смеющуюся женщину, поднявшую над головой ликующего сына. Она стояла на пороге белого домика, и осколки остывающего красного солнца горели в темной кроне одинокого вяза.

Это было так давно, что смоленая лодка, на которой он ходил рыбачить, уже обратилась в прах, и где-то далеко на побережье истлевают под протяжными ветрами ее жалкие останки.

Она выходила встречать его загодя – смотрела, как он поднимает сети на весла, как идет белой узкой тропой к дому, держа на голове большую корзину с рыбой.

Он снимал корзину – рыба сильно пахла морем и водорослями, – целовал ее, сына, обнимал их, ребенок агукал, а она прижималась лицом к его выбеленной солнцем домотканой рубахе, сопревшей под мышками, и жадно и сладко вдыхала родной запах молодого загорелого тела. Потом они шли в дом, и она кормила его мамалыгой.

Это было так давно, что глаза его успели выцвесть и стали похожи на море в ясную утреннюю погоду.

Однажды пришли башибузуки, сожгли дом, сожгли сарай – только дым встал столбом. Высокий с висячими усами – лицо злое, узкое – полоснул кривым кинжалом по лбу, и сквозь кровавую пелену он видел, как металась по двору рубашка жены, и задавленно слышал, как пронзительно кричал малыш. Больше он ничего не помнил – и лучше бы умер тогда, но он крепкий был и к вечеру отошел и встал.

Растерзанное тело жены он схоронил за пепелищем, завернул полумертвого малыша в окровавленную рубаху и ушел прочь. Малыш слабо вздрагивал всем тельцем, по животу его багрово вспух крест от плетки. Но хоть не убили совсем.

Тогда он ушел в горы, к македонцам. Опять дом построил, стал землю мотыжить. Потом и жениться пришлось.

– Отец!

Он открыл глаза. Младший сын, Кочо, стоял перед ним. Лицо его было темно-коричневым от пыли. Он задыхался.

– Отец! Я остаюсь. Прости.

Он дернулся. Ятаган мотнулся на бедре.

– Так, – сказал старик.

За спиной Кочо стоял старший сын – Петро. Он зло смотрел брату в затылок.

– Зарежут тебя! – крикнул он. – Свернут башку, как куренку!

– Молчи, – махнул рукой старик.

– Зарежут его, – упрямо повторил Петро.

Кочо даже не повернулся к нему. Он стоял, глядя отцу в глаза, и ждал.

– Иди, – сказал старик, и лицо Кочо задрожало от азарта.

– Спасибо, отец! – крикнул он уже на ходу и с бешеной радостью посмотрел на брата. Тот повернулся и пошел прочь, к возам.

– Петро! Слышь, Петро! – догнал его Кочо. – Что ж? И не простимся даже?

Петро молча смотрел на него. Глаза его были тяжелые и злые.

– Прости, брат, – сказал Кочо.

– Бросил нас, – сказал Петро. – Я бы, думаешь, не остался? Да? Думаешь, один такой храбрый выискался? А куда этих вот? – Он стал тыкать пальцем в сторону возов. – Куда? Не знаешь?

Дети оставили возню в телеге и смотрели на них.

– Не знаешь? Не знаешь? Под турецкую саблю их? Конечно, у гайдука жизнь свободная: сегодня он здесь, завтра – там. А нам что? Тоже по лесам бегать? Я бы, может, тоже… Да и… – у него вдруг выступили слезы на глазах.

– А-а! – тонким голосом закричал он. – Пропади все!

– Брат! Ты чего?

– Да ладно, – вдруг успокоился Петро. – Ну, если что… Найдешь нас.

Они обнялись. Кочо, придерживая ятаган, побежал к коню.

Он тоже прав, подумал старик. И Петро прав, и Кочо прав. И не найти им друг друга больше никогда.

Движения их затормаживаются, загустевают, останавливаются. Резко прорисовывается старая, в желтых разводах гравюра, которая висит недвижно несколько секунд, а потом размывается и гаснет, как волшебный фонарь.

У САМОГО СИНЕГО МОРЯ

1

Мерцание ламп, железный грохот… Тревожно! Тревожно! Узкий золотой луч ворвался неожиданно сквозь замороженное окно, и высветилось на секунду лицо бабки Александры. На темном потрескавшемся фоне проступает ее тяжелая фигура. Бабка Александра никнет головой, и серые слезы редко и быстро сыплются на ее коричневые полные руки.

У деда Христофора были голубые газа. Потому-то и звали его на селе «руснак» – русский, значит. У его деда тоже были голубые глаза. Его тоже звали «руснак». У бабки Александры глаза коричневые, теплые, с золотенькими искрами. У бабки Александры мать была молдаванка. Но и дед Христофор, и бабка Александра выросли среди болгар, говорили по-болгарски, думали по-болгарски, а значит и были болгарами. Первый сын у них – мой отец – родился тоже с голубыми глазами.

Я не знаю деда Христофора, его и отец мой не помнит. Дед Христофор умер, когда моему отцу было всего три года. Бабушка говорит, хороший был дед. А больше ничего не рассказывает. Задумается и сидит молчит, молчит. Сейчас он ненамного старше меня, скоро мы с ним будем ровесниками. На Украине, в селе Траяны, стоял его дом. Дом давно развалился, камни растащили, остался только фундамент. Летом он зарастает высокой бледной лебедой и жестким татарником. Когда переехали на Урал, новый дом построить дед не успел. Это сделал мой отец.

Дед Иван тоже болгарин. Он истово верит в бога и боится умереть. У деда Ивана никогда не было своего дома: всю жизнь он был перекати-поле – ни отца своего не помнил, ни матери, жил у чужих, хотя какие они чужие – здешние болгары все друг другу свои. Ездил шабашил по Украине, по Молдавии – маляр он был редкий. Когда началась война, уехал в Абхазию, малярил там. Болгар тогда в армию не брали.

Деньги у деда Ивана были – и немалые, и вот построил он себе дом. О, что за чудо этот дом! Красная черепичная крыша пылает по вечерам среди шиферных. Над высокими воротами стоит железобетонная лира – пудов в десять (дед достал ее по случаю, когда белил сельский клуб). Двор вымощен плоским камнем. Здешняя вода поганая – отдает морем и песком, поэтому за домом – колодец с привозной ключевой водой. На дне колодца лежит серебряная ложечка, чтобы вода не стухла. Весь двор увит поверху виноградом. А в саду зреют сливы синие, абрикосы медовые и яблоки – твердые, как буковое дерево. Даже поздней осенью эти яблоки кажутся мертвыми, но когда отлежатся они в окованных железом сундуках, переложенные новогодней ватой с блестками, когда ударит крепкий морозец и с небес посыплется мелкий колючий снежок, тогда появляются они на свет торжественно и вносятся в большую комнату на широком глянцевом блюде, и электричество ярко горит на их лаковых боках, и по всему дому разносится аромат мягкой осени и свежего утреннего солнца. И тогда вскипает в прозрачной бутыли нежное розовое вино, которое хранится в черных, как сама ночь, бочках в глубине ледяного погреба. О, что за поэма этот погреб! Здесь тяжело стоит в корчагах светлое подсолнечное масло и висят на железных крюках чернокожие окорока, и мерцают ряды трехлитровых банок с маринованными баклажанами и кабачками, солеными помидорами и огурцами, и горбятся моченые арбузы в бочонке... И квашеная капуста, и пласты пересыпанного перцем и крупной желтоватой солью сала, и рассыпчатая брынза, завернутая в легкую марлю, и абрикосовое повидло, и в тридцатилитровой бутыли с маленьким краником – крепчайшая виноградная водка... И чего тут только нет!

Дом облицован красным кирпичом. Пять комнат в доме – и все покрашены своим колером. В центре дома печь, отделанная белоснежным кафелем, с фигурными решеточками – печные дверцы. В большой красной комнате люстра, в остальных – бра под бронзу. На дверях малиновый плюш, на окнах тюль германский.

Дом всегда кажется пустым, в комнатах стоит плотный красноватый сумрак. Но иногда – будто пролетит вихрь – прошлепают большие загорелые ноги по ярко-желтому полу, завизжат, захохочут черноволосые черноглазые мальчишки… исчезнет морок, и опять тишина. Дом живет в тоске по детям. Так живет он от лета до лета.

Мысль о доме была зыбкой, как шелковые занавески в чужих домах. Колыхались занавески – сладко ныло в груди. Всю жизнь положил дед Иван на дом – и накопил кубышку. Да жениться не успел. А одному такой дом не поднять. И нашел себе дед Иван верного помощника – жену. А было ему в ту пору шестьдесят три.

Дед Христофор сгинул на шахтах Урала. Это было давно. Тогда страшной силы ветер крушил сад человеческих судеб, раскатывал осиянные плоды по всем четырем сторонам света, сжигал губительным зноем листву, и лохматый пепел, закрученный стремительным смерчем, взвивался к синему небу.

Однажды ветер обрушился и на наше село, и смело чугунным вихрем дерево нашего рода, срезало темным лезвием цветущую ветвь, и понесло ее, крутя нещадно, в неведомые края, а корни, окаменевшие от беды и печали, схоронила горячая украинская земля.

Долго ли, коротко ли мыкали горе – только оказались дед Христофор и бабка Александра на Урале. Она как раз второго родила. И начали устраиваться, обживаться в дощатом бараке, но долго еще кошмарами снились скрип телеги, жалкое ржание клячонки, струящаяся грязь под колесами, студеный ветер, пронизывающий плоть и душу, рев жирных черных паровозов, замусоренные полустанки, вечный кипяточек, бледный холодный свет сквозь щели теплушки и монотонный перестук тяжелых железных колес. И часто ворочалась бабка Александра в кромешной тьме простуженного барака и вспоминала теплое украинское солнце, мягкие пыльные дороги, а то – омытые дождем листья винограда и тугие черные кисти или как цветут абрикосы; тогда мутная тоска подступала к самому сердцу, и потихоньку плакала она, потихоньку, чтобы не разбудить детей.

Не стало деда Христофора – померк свет в ее глазах. Господи! Да за что такое наказание?! Куда же я с малыми ребятами, господи?! Горевала бабка Александра, утирала горькие слезы (сколько их уже пролила за свою недолгую жизнь – хватило бы на купель младенца), бог мрачно сидел на небесах, кусал насупленно ус, потом набил трубку, дыхнул сизым сладким дымком и коротко молвил: «Терпи!» И терпела бабка Александра, перемогла ее крестьянская душа все горести и болести, и не согнули ее спину ни работа, ни тоска по мужу.

Выходила затемно из дому, шла по ледяной черной слякоти, прислушиваясь к дальнему тягучему мычанию коров, к близким и веселым голосам товарок, зябко ежилась от сырого холодного ветра и все думу думала. Конечно, тяжело. А то как? Сейчас всем тяжело. Но живут же. Вон многие из своих уже дома начали строить. Эх, был бы мужик, тоже бы помаленьку отстроились. Христо, Христо… Одной-то как? Картошки тридцать два куля накопала – и все одна. Капусты вот еще насолила на зиму. Ничего, перезимуем. Жорка уже в школу пошел. Вырос-то как! Встал, поди, печь топит, картошку в духовке печет. Митька-то проснется, есть спросит. Ночь отступала, и дума ее становилась светлее.

Она входила в коровник, где тускло светили керосиновые фонари, где пахло сладко парным навозом, гремела подойниками, шла к своим коровам, говорила с ними вразумительно и, потягивая за розовое вымя, прыскала струйками в белое жестяное ведро, и опять думала свою единственную крестьянскую думу, единственную и вечную.

И вот закручинилась бабка Александра, заскучала. Дети выросли, переженились на местных казачках – бледных да хрупких – и уж своих детей нарожали. Вынянчила внуков и засобиралась. «Там и умру, – сказала. – Там и похороните». Но умирать она вовсе не думала и даже второй раз замуж вышла. Поплакала, конечно.

Бабка Александра месила саман ровно и добротно – так хлеб месят. Кирпичи таскала, воду носила, обеды рабочим варила, мыла белье, скребла полы – и построилсятаки дом.

Соседи часто заходят посмотреть дом. Они ходят по комнатам, цокают языками, удивляются, говорят по-болгарски. Дед Иван хлопочет тут же, сокрушенно качает лысой головой, объясняет, что можно лучше, что, дескать, вот тут не получилось, что сырость опять угол съела, что нужен ремонт (в этом году уж ладно, такой, но в следующем обязательно капитальный). Потом все идут на веранду и там, степенно посиживая, пьют розовое и белое вино.

2

Бабушка расставляет закуски, а дед знакомит меня с соседями. Вот внук приехал отдохнуть, попроведать стариков. Ах, какой у вас большой внук, говорят соседи. Помощник, отвечает дед. Я б разве один управился до сентября? А там виноград снимать надо. Вино делать. Опять же подсолнухи в этом году какие! Да-а, подсолнухи в этом году хороши. Тар-мар-мар, что-то по-болгарски. И опять ко мне. Надо успеть с ремонтом. Успеем? Дед заглядывает мне в глаза. Успеем. Вот и хорошо. Завтра после обеда и примемся. Бабушка осторожно смотрит на меня, украдкой вытирает слезу.

Я понимаю, что моему безделью пришел конец. Дед поднимает стаканчик: ну, давайте, будем здоровы.

Утром я ухожу на море. Идти сначала каменистой дорогой, потом пыльной и мягкой. Пятки мои уже огрубели, идти босиком по щебенке даже приятно. Дорога тянется меж кукурузных полей, отороченных подсолнухами, а ближе к морю – все полынь да чертополох. Запах моря чуть уловим, но вот он становится крепче, веет свежестью, и открылось море – плеснуло в глаза серебряным.

Далеко вправо уходила степь. Рыжая, мятная, переходящая в серебряную даль степь, которая была мне чужой.

По утрам море сияет недвижно, отражает глубину неба, а когда начинается рябь, вода становится тяжелой, у берега то желтой, то зеленоватой, у горизонта наливается густым серым цветом.

Я спускаюсь с пустого глинистого обрыва, на ходу

раздеваюсь и с разбегу – в воду. Доплыв до буя, забираю вправо и плыву вдоль берега. Я чувствую, что устал, но решаю поравняться с перевернутой лодкой. Голубая медуза безжизненно колыхается в серой воде. В конце августа начнутся ветра и небольшие штормы, весь берег будет покрыт тусклыми тушками медуз, обрывками газет, винными пробками, водорослями, и тогда редко какой чудак забредет на пляж.

Поравнявшись с лодкой, я выхожу на берег и возвращаюсь к одежде. Меня слегка покачивает. На пляже уже лежат два-три человека. Мы узнаем друг друга и церемонно здороваемся.

Я лежу на прохладном еще песке и смотрю на море. Море в любую погоду прекрасно, но по утрам, когда штиль, когда солнце ласковое, – море светлое, как воздух. Но вот поднимается прохладный легкий ветер, и морщится поверхность воды, и сразу блекнут светлые серебристые краски, море мрачнеет, и вот все круче и круче поднимаются волны и бегут чередой к берегу и с резким хлопаньем и шипеньем ударяются о твердый мелкий песок, выбрасывая из своего чрева то черную водоросль, то радужную ракушку, и белые клочья пены шлепаются на пологий берег и тут же стремительно гаснут и умирают.

Скоро приходит Мишка, мой троюродный брат. Он в отпуске. Друзья сманивали в Сочи, но он не поехал. Мотать деньги на шлюх? Фиг-то! Мишка черен, как сапог. Мы начинаем партию в шахматы. Играет он хорошо. Я проигрываю три партии подряд, потом одну выигрываю, и мы садимся завтракать. Я расстилаю на песке газету, высыпаю из тростниковой сумки плоские розовые помидоры, зеленый лук, огурцы. Из армейской фляжки пьем по очереди холодный кислый рислинг.

На откосе большие кусты полыни. Полынь нагревается от солнца, и ее острый запах щекочет ноздри. Мишка учит меня болгарскому. Но я забыл вчерашний урок.

– Мардзаливый магари! – сердится Мишка по-болгарски. – Ленивый осел!

– Слушай, – говорит Мишка, – ты же с бабушкой жил. Почему по-болгарски не говоришь?

А что ему ответить? Что мы ленивы и нелюбопытны? Или что мать не велела учить нас с сестрой, потому что боялась – по-русски будем плохо знать? Или что еще не так давно болгарином лучше было не называться? И поэтому мой отец по паспорту русский, а его родной брат – украинец, а родители их – бабка Александра и дед Христофор – болгары, хотя и звали деда Христофора на селе «руснак», потому что у него были голубые глаза. А вот я действительно «руснак», и глаза у меня зеленые – чисто уральский, малахитовый цвет.

Идем с Мишкой купаться, потом загораем, опять играем в шахматы.

В полдень я ухожу домой. Во дворике витает запах горячей и пряной еды – бабушка готовит мясо с баклажанами, обильно приправляя варево луком и перцем. Бабушка стоит у газовой плиты, помешивая длинной деревянной ложкой в котле, а крутобокий котел отдувается, сопит, поплевывая золотистым жаром.

– Вишь ты! – изумляется бабушка. – Важный какой!

Ее полное лицо раскраснелось, черные с серебряной нитью волосы выбились из-под косынки. Слегка переваливаясь, она идет к столу, стучит чашками, режет хлеб, что-то говорит серому лобастому коту, который лениво лежит на солнышке, подергивая хвостом. Говорит она с ним по-болгарски («так он по-русски не понимает!»), уговаривает, сердится, вдруг кот истошно орет – нечаянно наступила на лапу.

– Не ходи босиком, – наставляет его бабушка.

После обеда я лежу на раскладушке в тени винограда и листаю затрепанный журнал «Работница». Бабушка и дед сидят на крыльце и негромко разговаривают. Я прислушиваюсь. Ни черта не понимаю.

Легкий ветерок шевелит виноградные листья. Шорох убаюкивает меня. Бабушка осторожно трогает за плечо.

– Вставай, внучек. Вишь, старый хрен сердится, уже на крышу полез. Все видумляет. Чтоб он провалился со своим домом.

По приставной лестнице лезу на крышу. Нужно подлатать цементом лиру – в некоторых местах обнажилась арматура.

Вечером, отмыв заляпанные раствором руки, мы с дедом садимся за стол во дворике. Бабушка жарит нам помидоры, заливая их яйцами, ставит на стол «синенькие», сладкий фаршированный рисом и мясом перец.

– Ну что, дед? – говорит она. – Ставь магарыч.

– А! – спохватился дед. – Магарыч!

Скрипит тяжелая дверь погреба. Скрипит дед: магарыч – тар-мар-мар – магарыч.

Раньше вино наливалось в мутный розовый графинчик. Недавно дед напился и разбил графинчик, и вино стало наливаться в красивую импортную бутылку белого стекла. Красное густое вино горит в ней рубиновым цветом, особенно вечером, когда стоят на горизонте большие белые облака, а над ними золотым веером ровно стоит свет. Но вот легко двинется солнце и пропадет в облаках, и внезапный мощный всплеск его окрасит сугробы облаков в червонный и малиновый цвет. И остынет закат, и красное вино погаснет в сумерках.

Дед наливает вино в маленькие граненые стаканчики, вытирает лысину, бросает в сторону «будем здоровы!» и торопливо тянется ко мне стаканчиком. Я пью вино и ем горячие помидоры.

Бабушка сидит с нами, молчит, вздыхает.

Я иду в дом и укладываюсь спать в большой комнате. Дед молится в соседней. Неясное бормотание и кряхтение доносятся до меня. Медленно вышел кот, потянув штору. Красноватый неровный свет лампады лег на стену. Колыхнулись тени. Дед стоит на коленях перед картонной иконкой, что-то шепчет. Что он просит у своего бога? Чтобы он помог ему удачно продать мед и виноград? Или здоровья еще на двадцать лет?

Дед вышел. Его маленькая фигурка в белой исподней рубахе и голубых подштанниках вздрагивает, покачивается. Напился дед. Как и вчера. Как и позавчера. Он долго крестит окна, стены, двери, потом, икая, исчезает в душном плюшевом проеме.

Я не знаю ни деда Христофора, ни деда Егора, потому что отмерила им судьба короткий срок. Наши мужики все мало жили. Кто от пули погиб, кто от вина сгорел,

кого черная работа сгубила. А бабы наши крепки. Прабабка моя до ста восьми лет жила. И бабка Александра, и бабка Матрена до сих пор работают и будут, верно, работать до тех пор, пока не придет пора…

И опять перестук колес, и кромешная тьма за окном, и в теплом купе из густого сумрака высвечивается остренькое личико бабки Матрены.

– И вот видится мне, будто есть я где-то. То ли в комнате какой. А там все голые, руками вот эдак сплелись, стоят головами друг к дружке и танцуют. И много их! Много! И меня, чувствую, втягивают в хоровод этот. Бесы то! Бесы! А тут голос: «БЕГИ». Ой, боюсь – втянут меня. А тут голос. Убежала. Все почему это? Молюсь мало. То приболею, то некогда. Иногда дорогой молитву прочитаю – и ладно. Вот за то и видение было. То ад был. Бесы. Ах, господи! Ужели меня после смерти туда?! Есть грех. Я когда молода была – плясала. Под гармошку. Да на лугах с девками хороводы водила. А счас не замолишь все грехи-то. Вас разве что отмолю. Ах ты господи! А они рядами бы! Руки-то сплели и танцуют, и танцуют! И голые все – как есть-то! Верить надо. Крепко надо верить. Без веры, без ума – не будет счастья. Хотя где оно, мое счастье?

Засыпаю и опять вижу маленький дом, занесенный по окна снегом, вижу теплый полумрак горенки, ковер, по которому бегут, бегут в нескончаемом своем беге рыжие олени, и опять сухие махонькие ручки бабки Матрены баюкают меня.

– Бабушка, расскажи…

– Вот падают звезды, падают над чужими морями, падают и восходят…

– Бабушка, а когда звезда падает, почему желание загадывают?

– Дурень! Еслив звезда упала, говори «Аминь!». Значит, помер кто. У кажного своя звезда есть. А вот у тебя

нету. Некрещеный ты. Татарин, одно слово. Вот окрестишься, и ангел твою звезду зажгет. А мало стало звезд, мало. А еслив есть, то слабые, потому как крещеные, а не веруют. Раньше звезды сильно ярко горели, куда против счастного.

– Бабушка, расскажи сказку.

– Ну, слушай. У самого синего моря жил старик со своею старухой…

СИНДБАД-МОРЕХОД

Шикарная публика на такие курорты не ездок – на пляжах изнывали от зноя и тоски дряблые бабы да дохлые мужичонки. Да еще девицы с жидкими гидропиритовыми волосами. При появлении на пляжах девиц мужичонки старательно втягивали животики и нетерпеливо мели хвостами замусоренный песок.

На набережной можно было выпить бутылочного пива, закусив свежепосоленной скумбрией, которую тут же продавали крепконогие говорливые украинки, можно было покататься на бесшумных каруселях, поглазеть на фиолетовых эфиопов с туристических теплоходов, на высоких светло-коричневых женщин со звериной грацией. Высокие женщины обреченно ходили за разряженными в пух и прах эфиопами, эфиопы же, развесив губы и налив кровью глаза, рассматривали скудные памятники местным революционерам и героям и злобно кричали на женщин.

По утрам мы ходили с женой и малышом на море, днем я сидел в краеведческом музее, читая материалы о переселении болгар в Малороссию и Бессарабию, а вечером, оставив малыша бабушке, уезжали в город – там гуляли по бульварам, ждали, когда стемнеет, и потом шли в летний кинотеатр.

Из города мы часто возвращались пешком – в кромешной темноте, под низким небом, мимо смутно шумящих абрикосовых садов – и пели: «В склянке темного стекла…» И, надо сказать, хорошо у нас получалось.

Июль был на исходе, жара стояла невыносимая, море даже по утрам было мутным и мыльным.

Как-то с утра мы поехали в ближнее болгарское село и целый день бродили пыльными улочками, заглядывая через невысокий штакетник во дворы, где совершалась нехитрая крестьянская жизнь: там варили в латунных тазах черное сливовое повидло, там курили абрикосовую водку, там пахтали светлое ноздреватое масло, сахарный творог сочился сквозь крупную марлю, из коптилен поднимался запах крепкого дымка и нежного мяса, квохтали куры, сопела скотина в сараях, а где-то далеко за околицей тарахтел трактор.

Мы нашли место, где стоял наш дом, где сейчас только и осталось что разрушенный до уровня земли фундамент.

Старик болгарин угостил нас большими пушистыми абрикосами. Старик был, наверное, старше бабушки. Он внимательно слушал нас, но оказалось, что он совершенно глухой. Глаза у него были сухие и ясные, он все кивал и кивал и морщил лицо, а на прощанье осторожно коснулся темной ладонью золотой головы малыша – и в его тысячелетних глазах засиял восторг.

Отпуск у жены кончался, она потихоньку засобиралась. А мне просто необходимо было задержаться еще на неделю – сотрудники музея обещали сделать фотокопии с нескольких документов, а это дело было хлопотливое, без меня оно бы не решилось легко, нужно было постоянно крутиться в музее, напоминать о себе, всем надоедая. Вечно так, сказала жена, и почему нельзя ехать всем вместе? А фотокопии пришлют по почте. Я попытался объяснить, что мне нужно порасспрашивать стариков, побыть одному, в конце концов, – но, как говорится, все было сметено могучим ураганом. Трогательного расставания не получилось.

Билет мы ей купили без особого труда. В это лето на юге вообще было мало народу – в Москве шла Олимпиада.

Репродуктор хрипло заиграл «Прощание славянки», я спрыгнул на перрон, напоследок ткнувшись губами в лицо жены и пушистую макушку сына. Вагон неслышно тронулся, я замахал рукой. Жена зло глянула на меня и

отвернулась. Малыша не было видно. Мне будто заноза воткнулась в сердце. Уплыло грязное стекло купе.

До обеда я простоял в привокзальной пивной, с ненавистью глотая теплое пиво и с тоской думая о пустом бесконечном архиве.

И я ушел в город и мучительно шатался по набережной, и тоска моя росла все больше и больше. Но набегал густой ветер, и тогда рыхлое пространство над морем напрягалось, наполнялось гулом, в котором были слышны сильные голоса судов и слабые крики чаек.

Утром я неожиданно объявил, что уезжаю. Бабушка ахнула, засуетилась, собрала на стол. Я безо всякой охоты съел яичницу, расцеловался с бабушкой, подхватил сумку – и был таков!

Какое необыкновенное и сладкое чувство расставания с берегом! Матросы были совсем мальчишками, они ловко сворачивали причальные канаты, весело покрикивали, и вот мотор маленького теплохода мягко заурчал – и вдруг взвыл, полоса воды между бортом и пирсом стала незаметно увеличиваться, и вот уже берег незнакомо повернулся, и дома и люди стали становиться все меньше и меньше, но как-то незаметно, вот прошли мимо маяка – волна стала круче, а вода темнее. Мотор заработал в полную мощность, теплоход дернулся и медленно стал подниматься, вытягивая из воды свою тяжелую тушу, и, наконец, встал на крылья. Берег был уже виден как в перевернутый бинокль, поднялась крутая волна, но качки не чувствовалось – теплоход стремительно бежал сквозь водяную пыль, и за кормой встала маленькая радуга.

В салоне открылся буфет. Худощавый грузин в накрахмаленной курточке раскладывал по тарелочкам закуски. Зашипели бутылки с пепси-колой. Все дружно начали выпивать и закусывать. Грузин трещал белоснежной курточкой и сердито сдавал сдачу. Я помял в кармане засаленную десятку и пошел на корму.

Я стоял, облокотившись на поручни, курил, поплевывал в бурунный след, когда рядом встал какой-то мрачный тип в линялой штормовке. Потертый берет был у него натянут по самые уши. И сам он весь был какой-то

потрепанный – с мятым лицом и пустыми глазами. Он поймал мой взгляд и виновато сказал:

– Что-то укачало. Душно там.

Он махнул рукой назад.

Я промолчал и отвел глаза.

– Это сейчас пройдет, – бормотал он. – Сейчас пройдет.

Повздыхав, помучившись, он неожиданно бодро объявил:

– Минутная слабость!

Волей-неволей приходилось втягиваться в разговор.

– Далеко? – коротко поинтересовался я.

– В Пантикапей, – он ржанул, показав желтые зубы. – Как уж далеко! Три часа – и там. Да-а.

– Не студент? – он повернулся ко мне.

Чего пристал, вяло подумал я, но, посмотрев ему в глаза, обнаружил, что муть в них истаяла, что они – живые, насмешливые, и внезапно почувствовал к этому человеку расположение. Бывает так: почувствуешь человека – и точка.

– Нет, – сказал я. – Не студент.

Я вспомнил свои уральские университеты и вздохнул.

– Послушайте! – он тронул меня за рукав. – Не уходите никуда. Я – сейчас.

Он исчез и через минуту появился с плоской бутылочкой коньяка и двумя картонными стаканчиками.

– Нет-нет, я не буду, – неуверенно сказал я.

– Ерунда! – сказал он. – Дернем! Очень даже будет не лишним.

Он начал скручивать бутылочке голову. Пальцы у него были тяжелые, потрескавшиеся от грубой работы.

– Ну? – заулыбался он. – Дернем?

Мы дернули… И глаза у меня полезли на лоб.

– Спирт! – улыбнулся мой нечаянный собутыльник. – Зверобой!

– Что? – сипел я. – Что это?

– Я его на зверобое настаиваю, – объяснил он. После выпивки его лицо разгорелось, стало подвижным, нервным.

– Итак, – сказал он, – не студент. Путешественник.

– Нормально, – сказал я. – Просто в отпуске.

– Так, – сказал он. – Еще?

– Нет-нет! – сказал я.

– «Черный капитан»! – сказал он и достал из кармана штормовки еще одну плоскую бутылочку. И темна она была, как вода в облацех.

– Дернем?

Мы дернули. И черная молния пронзила меня до самых пяток.

– Спирт! – хохотал он. – На растворимом кофе. На бразильском!

–Гу! Ду! – что-то по-китайски бубнил я, и душа моя то отлетала, то возвращалась в слабое тело.

– Ну а если не секрет… кем? – донеслось до меня.

– К-кочегаром, – тупо сказал я.

– А я – землекоп! – радостно объявил он.

Это понятно, подумал я.

Он усмехнулся.

– И водолаз.

И водоглаз, подумал я. И ужасно развеселился.

– И кочегары мы, и плотники, – вдруг горько сказал он.

– Отчего ж это плохо? – с веселой дерзостью спросил я.

Он внимательно посмотрел на меня.

– Я вот в школе работал. Историком…

Понятно, подумал я. Жизнь-злодейка. Ну-ну.

– Есть дороги, которые мы выбираем…

– И есть дороги, которые выбирают нас! – как можно вежливее сказал я.

– Вот вы верите в случай? – неожиданно тихо спросил он.

– В случай? – удивился я. – В кирпич, что ли, с крыши на голову? Нет. Я в судьбу верю. Ну, если уж судьбой начертано: кирпич на голову… тогда «ой!».

– Это все домашняя философия. Где-то верно, хотя и наивно. Если хотите – вульгарно, грубо, не тонко.

Ого, подумал я. Ну-ну.

Он снова плеснул в стаканчики. Он выпил, я не стал.

– Я историком работал в деревенской школе. Несколько лет. Закончил университет и по распределению, как говорится, поехал на кулукуй. Дали дом. Да-а, большой дом дали. С мебелью! Что ж – прижился. Охота, школа, деревенские гуманоиды, дурацкие сборища в учительской по праздникам – под бутылочку, знаете, под раздолбанный патефончик. Ну, училки молоденькие, понятно. Нет, так пристойно друг к другу на чай ходили. Дичь, глушь, природа! И деньги девать некуда. Я в Болгарию съездил, в Польшу. Развра-ат! И как-то предложили мне круиз по Средиземному морю. И поехал. А что? Ну там Турция, Алжир, Египет – это все ерунда. А вот в Греции… У нас в группе один мужик был – умница, говорун, – пойдем, говорит, я тебе все покажу. Я уже в кабачок какой-то намылился, а он мне – гляди: «метро» написано. И только руками всплеснул – поразительно! Такими ж буквами Гомера записывали! И потащил меня по всем этим руинам. И говорит, говорит и все восхищается. И как оглушило меня. Как тем кирпичом вашим – по темени. Я вот в Египте на пирамиды смотрел – и ничего. Вот все: грандиозно! Грандиозно! Ну да, наворочено порядочно. Да-а. А тут, знаете, как ветром древним дунуло… Мы вот как античку учили? По Тронскому, по хрестоматии. Сдали – и забыли. Школярство. А тут… И оливы те же самые! Ах, золотое время, золотые глаза. Словом, заболел. Вернулся, рассчитался – и в Крым, в археологическую экспедицию. Вот так. А ведь жил в деревне – чувствовал: шерстью обрастаю. А что? Женился бы, детей наплодил… Рассказывал бы школьникам про феодалов. А деревенские балбесы прозвали бы меня как-нибудь. Обязательно. Дундуком, например. Или Дундуреем. Или еще как.

Он замолчал.

Я выпил. Стаканчик совсем размок, и я выбросил его за борт.

– Слушай, пойдем ко мне работать? В экспедицию?

Он придвинулся ко мне так близко, что я различил явственно тонкие густо-малиновые прожилки на щеках.

– Не знаю, – сказал я. – Нет.

– Слушай, мне люди нужны, я же вижу, ты парень хороший.

Я подумал и твердо сказал:

– Нет. Не могу.

Он как-то сморщился, поскучнел и скоро ушел.

Я стоял и думал о том, что меня волновало и мучило весь этот год, я думал о вечной войне, о долгой дороге, по которой идут уже который век согбенные люди, о том, что Золотой век выдуман поэтами, белокурыми мечтателями.

После полудня показался керченский маяк. Я с жадностью разглядывал незнакомый зеленый берег, длинные рыжие откосы, сползавшие к самому морю. В проливе сталкивались волны – мутные азовские и светлой бирюзы черноморские.

Мы сошли вместе, пожали друг другу руки и разошлись – не знакомые и не чужие.

В Керчи я заночевал. Ночлег, оказывается, здесь очень легко добыть: стукни в любые двери – они и откроются.

Я отдал медлительной улыбчивой гречанке рубль, и она провела меня во времянку, где стояла широкая железная кровать, застеленная стареньким, но чистым одеялом. Хозяйка повздыхала, что нынче не сезон, и оставила меня, предупредив, что ворота будут незаперты. Я прилег, не раздеваясь, и скоро задремал, но в сумерках внезапно проснулся. Холодный серый свет стоял в комнате, пахло штукатуркой и ветхим тряпьем.

И внутренний зрак мой разорвал темную протяженность времени, и – как будто дрогнула, треснула и рухнула глиняная стена – брызнуло солнце, и открылось широкое пыльное пространство меотийской степи. Желтобурой пылью были покрыты кожаные панцири и лица всадников, бока медленных быков, текущих тяжелыми стадами, жесткие волосы женщин, прятавшихся в глубине пронзительно скрипящих повозок. Дрожал воздух, искажая дали, храпели кони, глухо стучали копыта. Ювиги хан Аспарух уводил племя из-под хазарских мечей далеко на запад, к устью Дуная, где в жестокой сече сойдутся болгары и войско ромейского императора Констан-

тина Четвертого Погоната, Константина Надменного. И тот, чья плоть – усталая и сухая, как зерно пшеницы, хранящееся в пыльном кувшине, – несет в себе сегодняшнего меня, покачивался на рыжем коне, бросив поводья, тянул песню – бесконечную, как сама война, и вечная степь горячо дышала ему в лицо. И бледную мою кожу опалило это знойное дыхание.

Свет угас, и во дворе включили фонарь. Нет, не уснуть, подумал я и ушел в город.

Я брел по веселой ночной Керчи, сквозь гудящие неоновые облака, к черной горе Митридат и проборматывал стихи, которые друг мой услышал однажды в снежном хаосе мрачной, как русский портвейн, зимы.

Счастливый Синдбад, ты сжигаешь свои корабли
И снова плывешь, и мизинцем рисуешь границу.
И дым от костра долетает с зеленой земли,
И дымом и ядом чужим овевает страницу.

Дальний шум моря беспокоил меня, и запах незнакомых деревьев тревожил, и было невыносимо тесно.

Наверно, ты снова вернешься, Синдбад-мореход,
Вернешься по звездам, сто лет потеряв за морями…

Да, да, задыхаясь думал я, но обрету этот берег, этот солоноватый ветер с Понта Эвксинского, этот горчичный запах степей, этот месяц, похожий на кривой меч, и отраженье месяца, лежащее на дне залива, как разбитый скифский акинак.

1981–1983, 2003

РАССКАЗЫ

СЕРАФИМ
САШКА И МАРИЯ
КОРОТКИЕ НОЖИ
ПАРИКМАХЕР ЯША
ГИПНОЗ

СЕРАФИМ

Он стоял на вершине старого отвала и жадно смотрел на городок. Он видел его сразу весь и чувствовал его, как может чувствовать человек свое тело: биение сердца, колебания легких, сплетение вен и нервов, упругий ток крови, мерцание мозга и работу кишок. Он увидел легко и мгновенно обнаженные внутренности домов, и тайная жизнь этих домов вошла в него. И внял он разговоры на кухнях и разговоры в гостиных, любовные вздохи и крики в сумеречных спальнях, безмятежное посапывание младенцев и невнятное бормотание отходящих в мир иной. И внял он неподвижное закопченное небо над городком, и урчание грузовичков, спешащих под стук молочных фляг, и мимолетное шуршание шин велосипеда по асфальту, и пронзительный блик никелированного звонка, и запах теплого хлеба из распахнутого чрева хлебовозки, и запах свежих газет, торчащих из кирзовой сумки почтальона-велосипедиста, и лязганье подземных машин, шум осыпающегося угля, ругань проходчиков, пот, стекающий из-под фибровых касок, шорох брезентовых роб, желто-зеленую капель штолен, неяркий свет шахтерских ламп, бесконечную, как сама жизнь, транспортерную ленту, гулкие взрывы в карьере, громыхание экскаваторов, и снова шум угля, как шум черного прибоя древнего моря, и натужное гудение электровозов, медленно ползущих по ступеням карьера, и рокот врубовых машин…

Подул ветер, стало темнеть, и вдруг тяжело зашлепал дождь. Городок исчез за полупрозрачной пеленой, как если бы в бинокле сбили резкость.

Серафим застегнул плащ до подбородка, накинул капюшон и по твердой тропинке, поросшей репейником и полынью, сбежал вниз.

Было уже далеко за полдень, когда Сандалов проснулся. Он долго лежал в постели, бессмысленно глядел в потолок, потом лениво встал, подошел к окну. Солнце горело на белых металлических крышах гаражей, ветер шевелил листья большого тополя, росшего прямо под окном. «Черт!

Спилю тополь! – подумал Сандалов и зло дернул тюль. – Темно, как в гробу». Он отвернулся от окна. Беспорядок в комнате неприятно поразил его. Секретер был завален газетами и журналами, книги были распиханы по стеллажам кое-как, а некоторые и вовсе лежали грудой на полу. Жеваная простыня безжизненно свисала с дивана, одежда комом лежала на стуле, однако же на спинке его висели аккуратно разглаженные задубевшие носки.

В комнате всегда был беспорядок, но каждое утро это поражало Сандалова. Может быть, потому, что каждое утро беспорядок был разный. Сандалов зябко передернул плечами и побрел в ванную.

В ванной он долго изучал перед зеркалом свое помятое лицо, разглаживал мешки под глазами, высовывал язык, скалил зубы, слегка подпорченные кариесом. Где-то он прочитал, что Луи де Фюнес по утрам делает перед зеркалом пятьдесят гримас. Вместо физзарядки. У Сандалова гримасы были похожи одна на другую, и все они были какие-то унылые. Мышка затравленно метнулась в груди, скользнув хвостиком по сердцу.

Борода росла неровно, пятнами. За три дня отросла порядочная щетина, отчего лицо приобрело землистый оттенок. «Надо бриться», – вздохнул Сандалов. Он пустил шумную струю холодной воды и стал взбивать пену жестким помазком прямо в мыльнице. Конечно, лучше было бы вскипятить воды, но Сандаловым владело какое-то оцепенение. Он нашлепал прохладные куски пены на щеки и стал скоблиться безопасной бритвой. Лезвие было тупым, и Сандалову было больно. Он морщился и скалил зубы. «А кто-то пользует “Шик”, – лениво подумал он. – Или “Лондон бридж”. Или “Жиллет”… Можно бриться двести лет!» Сандалов ухмыльнулся. «Нигде кроме как в Моссельпроме». Сам он пользовал «Балтику» месячной давности. Он осмотрел ссадины на лице, ругнулся и стал искать зубную пасту. Тюбик, пустой и скрюченный, он нашел под раковиной. Тяжело вздохнул и снял с полочки коробку с зубным порошком. Поглядывая в зеркало, он яростно работал щеткой. Белые брызги летели во все стороны.

Наконец умылся. Поморщившись, утерся несвежим полотенцем. Пригладил ладошкой волосы и критически осмотрел себя в зеркале. Нет, не стар. Уже не молод, но еще не стар.

Он вышел из ванной и пошлепал босыми ногами на кухню. Пыль и пепел прилипали к пяткам, и Сандалов опять неприятно поразился.

Он долго чиркал спичкой, зажег газ. По грязной плите сыпанули жирные коричневые тараканы. Сандалов поставил на огонь чайник и пошел одеваться.

Толстые носки, свитер на голое тело, мятые брюки. «Жизнь тяжела, а человек слаб», – вздохнул Сандалов и спрятал пустую бутылку из-под портвейна за диван. На кухне забрякал крышкой, зашипел чайник. «Ай-яй!» – Сандалов побежал на кухню, стал заваривать в большой кружке кофе. Высоко поднимая чайник, направил струю в кружку. Поползла, заворочалась коричневая пена, остро запахло желудями, ячменем, цикорием. Сандалов сморщился. «Дерьмо, – подумал он. – Все дерьмо».

Помешивая ложкой кофе, он подошел к окну, глянул во двор. Крыши гаражей померкли, тополь дрожал под напором ветра. «Спилю черта! – яростно подумал Сандалов. – Но, однако, дождь будет». Раздвинув грязную посуду на подоконнике, он поставил кружку, сдернул пожелтевшую, отставшую от рамы полоску бумаги, открыл форточку. В лицо ударил живительный запах озона и необыкновенно крепкий и сильный запах тополиной листвы. И хлынул дождь.

Окна были открыты, недвижно висели голубые полупрозрачные шторы, было липко и душно. Поэты изнывали от жары. Секретарь Лидочка поминутно выбегала с пустым графином, но спускаться вниз к бачку с кипяченой водой ей было лень, и она шла в женский туалет и там набирала тугой шипучей воды из крана.

В редакции газеты «Шахтерская правда» шло очередное заседание литературного объединения «Поросль». Надо сразу заметить, что в городке существовало два литобъединения, но то, второе, носившее пышное название «Гала-

тея» и возникшее случайно на чьей-то уютной кухоньке, а не учрежденное официально, было конечно не конкурентом для «Поросли». Недаром же городская газета предоставила последней монопольное право эксплуатировать литературную страницу, выходившую ежемесячно. «Поросль» всячески утверждала свое существование писанием стихов, поэм, рассказов, повестей, а также и эпиграмм на собратьев по перу, где «Галатея» всегда рифмовалась или с Галилеей, или с галантереей. Собратья же по перу что-то варили на своей кухоньке, искали философский камень и эпиграмм высокомерно не писали. Да и, надо сказать, трудно придумать рифму к слову «поросль».

Читал поэт Евгений Костылев – спортивного вида молодой человек, одетый в костюм златоустовской швейной фабрики, который несколько портил молодцеватую фигуру поэта. Несмотря на жару, он был застегнут на все пуговицы, исключая нижние. Стихи были аграрные. Пейзажи, подернутые сивой дымкой, лошадка, везущая какой-то там воз, а также горе, доля и беда. Костылев читал спокойно, размеренно, лишь иногда вздрагивая правой ногой, как будто бы примериваясь в секторе для прыжков в высоту.

– Ну-у! – всплеснул руками маленький чернявый человечек. Он, как видно, был за руководителя или за председателя, ибо сидел за высоким столом, лицом к молодым писателям (молодыми их, конечно, можно было назвать условно, так как многие из них были обременены сединами, морщинами и почетными значками «За победу в социалистическом соревновании»), держался раскованно и делал своими маленькими ладошками то так, то эдак: подбородок потрет, лоб прикроет или женственно по векам – сверху вниз.

– Ну-у! Э-э... Гена, да? Евгений? Молодец! Удивил, Гена! Это ведь что-то новое у тебя? И хорошо! Хорошо, надо сказать! (Лицо его при этом выражало необыкновенную живость, какая могла бы возникнуть, если бы он неожиданно узнал, что ему предлагают бесплатную туристическую путевку, ну, скажем, в Акапулько.) Детальки... так это... слегка подчистить... А так... Хорошо! – закончил он

вдруг таким красивым баритоном и так весомо, что можно было подумать, что он решил прочитать собравшимся поэму Маяковского. Но глаза его потускнели. «Ах, – подумал он, – придет или не придет? Ах, ведь хороша! М-м! А как не придет? Нет, придет. Точно придет. Ах, вино дрянь! Как там его… “Аромат степу”. Тьфу, гадость! Ну не было больше ничего! Не водку же лакать в такую жару».

Костылев сел. Следующим читал Гриша Гистрионов. Настоящей фамилии его никто не знал. Она у него, конечно, была, но он ее никому не сообщал и под стихами так и подписывался: «Григорий Гистрионов», имея, очевидно, соображения не только насчет смысла псевдонима, но и аллитерации. Как видно, с настоящей фамилией его было что-то неладно. Может быть, она у него была слишком обыденной или просто неблагозвучной. Бывают же такие фамилии – Лошак, например. Как такую фамилию поэту носить? Ей-богу, нельзя! Это ж для поэта смерть – не фамилия! Куда как больше повезло всяким там Голуазовым. Им только и перо в руки.

Стихи у Гистрионова были индустриальные. В них сверкала электросварка, кипел металл, гремели и ухали разные механизмы, и хоть не всегда было все понятно, но производило впечатление хорошего крепкого завода.

Внезапно за окнами потемнело. Запахло электричеством.

– Ой, что сейчас будет! – всплеснула руками Лидочка.

Тот, что был за председателя, кисло посмотрел на нее.

– Ничего не будет, – сказал он. – Дождь будет.

Он оглядел ее маленькую грудь, высокую, худенькую шею, вытравленные перекисью водорода волосы и совсем уж было приуныл, как ворвался ветер, шторы вспузырились, хлопнуло окно, посыпались осколки.

– Ай! – закричала Лидочка.

Хлынул ливень. В комнату ворвались запахи зелени и дождя.

– Закройте окна! – закричали все сразу. – Мы же тут все простудимся!

Грянул гром.

– С ума сойти, – прошептала Лидочка.

Окна были закрыты, в поэзии объявлен перекур, и литераторы потянулись в коридор.

Сквозь дождь по сияющему асфальту Серафим вошел в городок. Проносились редкие автомобили, поднимая водяную пыль, прошел городской автобус, натужно скрипя своим большим телом. За мутными стеклами согбенно сидели люди. Серафим мгновенно увидел себя в грязном полупустом салоне, утопленном в сером ледяном свете, расслабленно ощутил тяжелые, в мелких трещинках руки на своих коленях, пусто посмотрел на Аллу Пугачеву, которая старательно улыбалась с глянцевого плаката, и исчез.

Он шел, надвинув капюшон, мимо корявых домиков с ржавыми крышами, мимо потемневших и набухших от дождя калиток, мимо хилых огородиков, кое-как огороженных и сплошь засаженных картошкой, мимо бурой туши терриконa, и вот уже появились палисадники, изукрашенные резным штакетником, и закурчавилась светлая сирень в палисадниках. За сиренью прятались пряничные домики – и хорошо, видно, жилось в этих пряничных домиках с леденцовыми стеклами, но вся эта хорошая ядреная жизнь была сокрыта от посторонних взоров монументальными заборами, над которыми возносились серебристые парники и крыши ладных сараев и гаражей.

А вот и пруд, заросший черным камышом, а над прудом церковка с темно-синим куполом, на который непринужденной рукой маляра были брошены золотые звезды. Вышел батюшка в неопрятной рясе, щелкнул зонтиком, зонтик каркнул, уселся, растопырив сизые крыла над его плечом. Шаркая галошами, батюшка побрел в дождь.

Серафим шел по каменным кварталам, по пышным скверам, где вечером можно запросто получить синяк под глаз, а то и короткий нож в живот. Миновал почту, кинотеатр им. 30-летия ВЛКСМ и вышел на площадь, где сразу за белой громадной трибуной начинались старые дворы, опутанные бельевыми веревками и застроенные ветхими сараюшками, старые дворы с неизменными своими песочницами и грибками, с непременными деревянными столиками, отполированными обтрюханными ру-

кавами пиджаков и жакетов (здесь играли обычно в старую славную игру «66», но никогда ни в «очко», ни в «свару», ни в «храп», ни вообще на деньги – на деньги играли в бомбоубежищах, которые находились в подвалах больших каменных домов, и то по преимуществу школьники), с глубокими глинистыми погребами, в которых держали картошку и квашеную капусту, старые дворы, живущие единой жизнью, которая как-то незаметно остановилась еще лет двадцать назад. За старыми дворами стояли стадион, горсад, дальше – Шанхай, разрушенные бараки, захиревшие огороды, убогие домишки, поля, поля, и далеко на горизонте вздымались, попирая небо, сизые треугольники терриконов.

Дождь с треском расшибался об асфальт. Пустыней и холодом веяло вдоль улиц.

Сандалов шел по мокрым улицам. И сердце у него болело, и тяжело было на душе. Только что он получил бандероль из издательства, в которой лежали отвергнутая рукопись и редакционное заключение, прочитав которое Сандалов почувствовал сначала полную растерянность, а потом – холодную ярость.

Жизнь! Жизнь проклятая. Все псу под хвост. Ведь как режет, а? «Поэзия – это прежде всего талант, помноженный на труд». А мы-то, дураки, и не догадались. У-у, чиновники, сучье семя! Только и могут, что говорить прописные истины. Отчего же вы так снисходительно небрежны? Откуда это всепонимание, самоуверенность и категоричность? Может, у вас действительно дубовые головы, а может, вы просто поднаторевшие в своем деле иезуиты? И форма-то никуда не годится, и идей-то никаких нет, и вяло и анемично, и то и се... И ищут они то, чего быть не должно, а то, что есть, – не видят, даже водрузив на нос роскошные очки с итальянскими светочувствительными стеклами. А чего ищут-то? Суперэкстралюкс какой? А у меня все просто. Просто длинное дыхание портрета в легкой раме окна. Просто движение ветви за окном. Просто свет небесный и тьма египетская. Просто п у т ь. И я по-другому не умею, не могу. И не

хочу. Я так живу, и это моя жизнь. А что есть твоя жизнь? Что ты сам-то делаешь? Бесконечно строчишь свои рецензии, которые похожи друг на друга, как телеграфные столбы? Кто ты, рядовой труженик литературы? Только нет, ты не рядовой – рядовые раньше всех в бою падают, ты писарь, штабист с тридцатилетним стажем, изучивший в литературе только входы и выходы да изредка тискающий свои жалкие стишонки в издательстве, в котором ты прижился, которое для тебя есть большая теплая корова... Да как вы смеете называться поэтом и, серенький, чирикать как перепел?!

Сандалов задыхался. Иногда злоба искажала его лицо, и он судорожно рвал верхнюю пуговицу куртки. Но холод пронизывал его, и он опять застегивался, чтобы через минуту опять схватиться за ворот.

Был ли Сандалов прав, и действительно ли его поэтическая натура была непонятна многочисленным рецензентам, или же он относился к категории графоманов-любителей, которых во все времена водилось великое множество и которые, встречая отпор со стороны редакционных работников, переполнялись желчью и к концу своей неблестящей поэтической карьеры только и занимались тем, что писали пасквили и жалобы на всех, кто их «не пущал» в большую литературу, – все это автору решительно неизвестно, потому что сам он не был знаком со стихами обиженного поэта.

Серафим сидел в сквере и кусал давно потухшую папиросу. Дождь почти перестал, и прозрачен необыкновенно стал воздух, и резко и выпукло обозначились каждый камешек, каждая травинка. Где-то заунывно настраивался духовой оркестр. Сладко пахло волчьей ягодой.

Ударил марш, и светлые звуки меди покатились по улицам городка, и заметалась холодная жирная листва тополей, шевельнулась мокрая акация, сыпанув бисерные капли. Сначала расстроенно, а потом все слаженнее играл духовой оркестр. Темно-зеленые листья тополей переворачивались светлыми брюшками вверх, крутились, перелистывали холодный светлый воздух.

Гулко бухал барабан, пронзительно и стройно пела медь, музыка разбивалась вдребезги, в тысячу мелких брызг, и рождалось в груди щемящее чувство, которое может родиться только в такой внезапно холодный летний день, когда улицы опустели и скоро сумерки, когда невидимый оркестр выплескивает сверкающую в каплях дождя медь и ветер треплет тугую листву тополей.

Его узкое лицо сморщилось, он втянул голову в плечи и ссутулился. И руки его ощутили тяжесть трубы, и пальцы быстро пробежались по клапанам, он поднял трубу и слился с ней в долгом томительном поцелуе. За спиной ревела туба, пели альты, и у самого плеча его подрагивала кулиса тромбона. И он оторвался от трубы и открыл глаза и опять оказался в сквере. Но все еще в ушах стоял горячечный крик тромбона, надсадно выл саксофон, и еще кто-то пьяненький сидел на ящике из-под пива перед самым оркестром и, вертя головой и хлопая в ладоши, всхлипывал: «Чича! Давай, Чича!» И саксофонист, виртуозно вихляя длинным телом, выдувал из своего инструмента серебряный и такой же длинный, как он сам, звук. Но картина потускнела, покрылась мелкими трещинками и вдруг осыпалась.

Серафим медленно подумал, что если бы жара – то и пыль, пыль мелкая, въедливая, всегда висящая в зной над городом. С болезненной ясностью он увидел желтый свет неба, почувствовал запах собственного пота, увидел жесткую грязь в сквере и легкий, но недвижимый мусор на тротуарах, безмолвно поникшую зелень, безучастные лица горожан, обалдевших от жары…

Томительно сладко, но и безнадежно больно было в груди.

Очень сильный запах акаций, песчаная дорожка, холодные брызги дождя, желтая медь… И нет никого. Он отбросил окурок и шумно втянул ноздрями воздух.

Внезапно оркестр умолк. Стало тихо. Так тихо, что было слышно, как падают капли в рыхлый песок аллеи и где-то далеко поет сигнал автомашины. Вдруг оркестр вздохнул тяжелым маршем, и тонкая грусть резанула лезвием по животу. Густой тяжелой печалью дышал оркестр.

Серафиму стало зябко, глаза его потемнели.

Поэты чинно курили в конце коридора. Свет из грязного окна с решеткой типа «над Уралом встающее солнце» прочно застревал в клубах сизого дыма.

Гистрионов вскользь похвастался зажигалкой «Ронсон», заметив, между прочим, что «Ронсон» серебряный и что за него «дают сто пятьдесят».

Костылев сочинял в уголке какой-то мадригальчик, искал рифму (поросль – недоросль – выдоросль – водоросль...), натужно шевеля губами и отчаянно поглощая сигареты «Лигерос».

Ветераны труда стояли чуть в сторонке от молодежи и спорили, кто лучше: Маяковский или Есенин. Приверженцы Есенина утверждали, что он был истинно гениальным поэтом, потому что у него «была душа», причем душа наша, русская. А Маяковский, конечно, тоже был ничего себе поэтом, но больше газетчиком. И с фокусами. Их противники отвечали, что Маяковский был революционером, а Есенин хоть и ничего себе поэтом, но пьяницей. А Маяковский вообще не пил. Разве что «Абрау».

– Пал Андреич! – обратились наконец спорящие к председателю, считая его как бы «в авторитете». – Кто самый гениальный поэт нашего века?

– Безусловно, Евтушенко! – твердо ответил тот.

Пал Андреич, окруженный молодыми поэтами, неторопливо и веско критиковал «Книгу о русской рифме» Давида Самойлова, называя его почему-то Копельманом. Он утверждал, что автор ни черта не смыслит в рифме вообще, а в русской – тем более. Мимоходом он ругнул и Жирмунского (хотя надо заметить, что Пал Андреич осилил «Теорию стиха» известного исследователя литературы только до двадцать третьей страницы, а когда ему стали попадаться примеры стихотворных размеров из французской, итальянской и немецкой поэзии в оригинале, ему стало скучно, и он книгу забросил, так как не знал ни одного из вышеупомянутых языков – он знал немного по-латыни, чтобы выписать больному рецепт, ибо работал в местной больнице врачом-психиатром) и тут же доверительно сообщил всем, что сейчас он, Пал Андреич, сам работает над статьей «О начертательной рифме» и что

это будет не пустая вещь. Конечно, копельманы постараются ее «не пустить», но он все-таки статью пробьет. Связи у него там (он ввинтил руку в табачный дым) тоже кой-какие имеются, да-с!

Лидочка красиво пускала дым через ноздри и украдкой поглядывала на Пал Андреича. Сердце вздрагивало, когда ей удавалось поймать его взгляд. Пал Андреич хмурился и погружался в литературоведческие хляби и зыби.

Перекурив, пошли продолжать заседание.

Пал Андреич занял свое место.

– А сейчас, – он потер маленькие ручки, – самое главное. Хватит нам вариться в собственном соку! Для кого мы пишем? Для широкой массы. И пора нам, наконец, выходить на эту, так сказать, широкую массу. Пора!

Он грозно посмотрел на всех и неожиданно устало бросил:

– Будем готовить коллективный сборник. С издательством я веду переговоры.

Эффект был поразительным. Молодые поэты сидели как бы несколько пришибленные, как бы несколько прихлопнутые одним большим пыльным мешком, что ли. Старики же, напротив, расправили плечи, заухмылялись в усы, стали подмигивать друг другу, дескать, вот и наше времечко пришло, не все, понимаешь, энтих литераторов печатать, не хуже их, понимаешь, пишем, даешь дорогу рабочему человеку!

Потом все страшно оживились.

– Назовем-то как? А? Как назовем?

– «Горицвет»!

– «Взлет»!

– М-м... «Старт»!

– Тишина! – сказал устало Пал Андреич, и все завороженно замерли, первым делом подумав, что Пал Андреич предложил такое неожиданное, но скромное и непретенциозное название; сообразив же, что он просто требует внимания, обмякли и приготовились внимать.

Пал Андреич выдержал паузу и неторопливо сказал:

– Я думаю... «Начало». Это неплохо. Символично. Точно. И просто.

И все сразу представили маленькую книжицу в глянцевой оранжевой обложке, на которой крупно черным строгим шрифтом было напечатано название. И так зримо явилась всем эта книжица, что каждый стал ее лихорадочно листать в своем воображении, ища свою фамилию и сокровенные строки, выкованные бессонными ночами.

Лидочка изумленно смотрела на Пал Андреича. Руки и ноги ее слабели, низ живота наливался холодком. «Ой, я уже не могу больше!» – чуть не простонала она. Пал Андреич, заметив, как дернулось ее лицо, отвернулся и насупился. «Вот тоже, дура, привязалась. Не будет у нас с тобой больше, не будет, ясно?» И в голове его опять поплыли соблазнительные видения: мощные плечи и роскошная грива жестких рыжих волос, разметанных по подушке. «Неужели не придет? Придет! Придет! Всем нутром чую, что придет!» И правильно чуял Пал Андреич – придет! Придет и обнимет! Потому что нутро у Пал Андреича, врача-психиатра, было весьма чутким и чувствительным. Особенно к противоположному полу.

Все сидели разгоряченные, говорили о гонораре за сборник, о гонорарах вообще. Поспорили, кто больше получает: Вознесенский или Рождественский. Сошлись на том, что Юлиан Семенов, потому что он еще и фильмы снимает. Разговорились, распалились, даже упрели чуть. Пришлось приоткрыть окно.

Дождь перестал. Где-то тяжело играл духовой оркестр.

Костылев с непосредственностью человека, одетого в костюм златоустовской швейной фабрики, сердито заворчал:

– Опять! Жмура, наверно, тянут. Духоперы!

Сандалов выстоял очередь в винный отдел гастронома, купил бутылку красного крепкого вина. Бутылка была липкой, со сморщенной этикеткой, и это было неприятно Сандалову. Он сунул вино во внутренний карман куртки и пошел в сквер.

Он брел по пустынному скверу, похрустывая аккуратно влажным песком, и подумывал, а не пойти ли лучше домой, но, представив неприбранную комнату, опостылев-

шую пишущую машинку, ворох рецензий с холодным бесстрастным приговором, пробормотал:

– К черту! Кокну здесь где-нибудь.

На скамейке сидел, съежившись, какой-то человек. Его бледное окаменевшее лицо, темные глубокие глаза показались Сандалову знакомыми. «Может, в школе одной учились?» – вяло подумал он. Сандалов шумно вздохнул и уселся на скамейку, даже не смахнув с нее воду.

– Хоронят, что ли, кого? – сказал он в пространство, прислушиваясь к звукам оркестра.

Серафим смотрел на него с сумрачным интересом.

– Выпить хочешь? – грубо и опять же в пространство спросил Сандалов.

Серафим покачал головой.

Сандалов глянул на него искоса, и вдруг как будто светлое зеркало плеснуло ему в глаза. Ф-фу! Он откинулся на спинку скамейки. «Уже зайчики в глазах...» И внезапно его осенило: «Да он на Блока похож!» Но тут же засомневался, все так же искоса наблюдая за сидящим: «Нет, скорее на Шуру Инокентьева. (Шура Инокентьев – закадыка Сандалова – был действительно немного похож на Блока, особенно на того, который на портрете Сомова. Но его лицо не носило той печати благородства, которой был отмечен поэт. Шура был всегда немного помят и всклокочен.) Да нет же. Этот вообще какой-то другой».

Сандалов сплюнул и достал бутылку.

– Ну, как желаешь, – пробормотал он, как-то сморщился и стал ковыряться в пробке.

Серафим пожал плечами и отвернулся. Ему был понятен этот истрепанный внешне и внутренне человек. Он усмехнулся: «Жизнь тяжела, а человек слаб».

Сандалов наконец справился с пробкой.

– Может, все-таки... а? – он протянул бутылку Серафиму.

Тот остро посмотрел на Сандалова и покачал головой. Сандалову стало не по себе от этого пронзительного взгляда: его как будто просветили специальным рентгеновским аппаратом и увидели не только его бренные внутренности, но и скомканную заскорузлую душу. Он зябко поежился

и забулькал, высоко подняв бутылку. Выпив вино в два приема, он осторожно сунул пустую бутылку под скамейку и с минуту сидел молча, невидяще глядя перед собой. Красная струйка стыла на подбородке.

– Прости, – сказал он ясным голосом, – что я так нахально... Послушай, у меня такое ощущение, будто мы знакомы. Нет? Ты в какой школе учился?

Серафим молчал.

– Прости, – сказал Сандалов. – Что-то накатило сегодня. Плохо мне.

Серафим шевельнулся. Сандалов с сожалением подумал, что сейчас этот случайный, смутно знакомый человек уйдет, а он останется в сыром сквере и будет горько жаловаться самому себе, что жизнь...

– Я не ухожу, – спокойно сказал Серафим.

Он мрачно смотрел на Сандалова. Он видел, как алкоголь, содержащийся в дрянном красном вине, проникает в кровеносные сосуды, как теплой волной он омыл мозг, притупив боль, что черной высохшей кляксой стягивала его. Он увидел, как сильнее заработало дряблое сердце, вызвав почти истеричное дрожание пропитанных никотином легких, как толчками, с легким хрипом стал выходить воздух, как заворочался покрытый желто-зеленым налетом язык, пытаясь материализовать те слова, мысли, ощущения, образы, которые заклубились в чуть заискрившем мозгу.

– Понимаешь ли, – заговорил Сандалов как-то растерянно и с придыханием – ему было тесно, но чем дальше он говорил, тем свободней и уверенней звучал его голос. – Не знаю, кем ты работаешь, но, предположим, на стройке где-нибудь или, скажем, на шахте уголек рубаешь, и вот ты видишь, как уходят составы с этим углем, и в этих вагонах есть и твои тонны! И в тебе возникает законная гордость! Да! И как памятник твоему труду – стоят терриконики шахт и зияет пустота карьера! Грандиозная пустота! Или ты видишь, как поднимаются дома, и вот они уже стоят – новенькие, с иголочки! – и в них въезжают новоселы, и по вечерам в окнах зажигается свет, и в этих желтых окнах стоят, развешивая тюль и шторы, счастливые люди, и ты

тоже счастлив, ты горд, потому что видишь плоды своего труда. Но упаси бог быть поэтом! Вот ты написал книгу стихов, а ее не печатают. Предположим, что у тебя хорошие стихи. Но их все равно не печатают. Стена! Понимаешь? И врут тебе, что это или плохо, или никому не нужно, или изячно, или… Да мало ли чего можно накрутить! «Мелкотемье»! Да, ты не написал про «глобальные перемены», ты не написал про «социальную действительность», ты не написал про войну, на которой не был… Ты много о чем не написал, но вот она – книга, в которую ты вложил свое сокровенное, и ты чувствуешь, всей силой своей души чувствуешь, что это неплохо, что стихи твои будут читать – пусть не миллионы, пусть не многие, но будут читать, потому что твои стихи отражают единственный уникальный опыт твоего бытия. Ты вложил в книгу все лучшее, что было и есть в тебе, ты вырвал это из себя, как выбирают уголь из земли, и в твоей душе тоже зияет пустота! Но книга лежит неизданной, и жизнь тоже становится пустой. Пустой и нелюбимой.

Сандалов скривился.

– У них вон, – он мотнул головой, – у всех лиры! А я что? Я на дудочке играю.

Он горячо зашептал:

– Хочешь? Хочешь, почитаю?

И, не дожидаясь ответа, Сандалов осипшим глуховатым голосом начал читать стихи. И сразу как-то потемнело, и Серафим очутился в гулком деревянном доме, и явственно проступили из темноты стены дома, и где-то совсем близко прокатился трамвайный гром.

Шел дождь, маленькие оконные створки с облупленной краской были распахнуты настежь, он сидел на подоконнике и слушал, как дождь мнет кусты смородины под окном. Пахло липовым цветом, и от этого запаха кружилась голова. Фонарь во дворе дома освещал маленький сад, блестели листья вишни, и случайные лики света бродили по комнате, по желтым выцветшим обоям, по унылому конопатому зеркалу в тяжелой малиновой раме. Ветхий пропыленный тюль и зеленые шторы иногда вздрагивали от порывов ветра, и тогда зеленый густой воздух комнаты

мерцал, колеблясь, и пятна света тонули в этом зеленом воздухе, в котором перемешивались запахи сладкого трубочного табака, истрепанных книг, паутины и ночной свежести. Он сидел на подоконнике, слушал, как поет в печной трубе домовой, и думал, что какое-то сумасшедшее лето: то африканская жара обрушивалась на город, то ветер необжитых пустынь, то долгие и холодные дожди.

Внезапно комната ярко осветилась электричеством, и стало шумно от людских голосов. Пела радиола, и было тесно за большим овальным столом, на котором дымилась пряная еда и стояло в длинных узких бутылках желтое вино. За окнами лил невидимый дождь. Рядом сидела женщина с зелеными глазами, и он украдкой целовал ее маленькие ледяные руки. Налетел ржавый осенний вихрь – и все исчезло.

Он шел по пустынной улице в кромешной темноте, ветер пронизывал его насквозь, слабо горели звезды. Лязгнуло железо ворот, хлопнула тугая дверь. Он стоял в пустой темной комнате и слушал, как поет в печной трубе домовой. С легким похрустыванием отлетали души листьев, и высохшие мумии листьев царапали по стеклу. Маленький черный смерч возник в комнате – и воздух напрягся, и тьма сгустилась. Белые сияющие листы неисписанной бумаги и испещренные строгой кириллицей черновики сорвались со стола, вскружились, истаивая во тьме, и тотчас завыла вьюга, и его швырнуло в метавшееся над городом месиво снега и понесло в метельном хаосе над крышами, над улицами, простроченными сверкающими нитками фонарей, над золоченым шпилем башни со светлым оком часов, и, незримый и бесплотный, он очутился в маленькой теплой комнате многоэтажного дома, где брезжил голубой свет ночника, где сладко спал в своей кроватке ребенок с легкими нежными волосами. И вьюга утихла, и снег лег на землю. В черном окне загорелись красные огни телевизионной башни. Вдруг картина смазалась, и он снова оказался в сквере, на скамейке.

Сандалов молчал. Он как-то сконфузился.

– А впрочем… Ну его все к черту!

Он вяло посмотрел на Серафима.

– Ну чего, чего не хватает?

Серафим помолчал.

– Мужества, – наконец сказал он. – Мужества продолжать свое дело. Постоянного мужества жить. Мужества не изменять себе. Нужно пройти свой путь.

– Что? Понравились?.. – в смятении спросил Сандалов.

– Мне не нравится, что ты много пьешь, – сказал Серафим. – Покажи язык! – строго потребовал он, и Сандалов послушно высунул желто-зеленый язык.

«Жало мудрыя змеи», – усмехнулся Серафим.

Он протянул руку.

– Смотри!

Сандалов похолодел. Он почувствовал, как рука с длинными сильными пальцами погрузилась ему в грудь. Что-то хрустнуло.

– Смотри!

На ладони Серафима лежало дряблое синеватое сердце в черных прожилках капилляров. «Угль, пылающий огнем», – опять усмехнулся Серафим. Он задвинул обратно это жалкое слабое сердце, и в руке его оказалась печень, источенная алкоголем. Он покачал головой и сунул полуразрушенную печень в бок Сандалову. Тот сидел с остекленевшими глазами. Серафим встал.

– Никто, – сказал он сурово, – никто тебе не поможет. Ты должен идти сам. И запомни: вечно один.

Из-за спины его рванулись легкие полупрозрачные крылья.

– Мужество! – крикнул он. – Нужно мужество!

Серафим топнул ногой и белой молнией взвился в небо.

Репортер местной газеты Сеня Перестукин рассказывал литераторам, как он жил на даче у известного поэта (при этом запросто называл поэта по имени), как пил с ним французский коньяк и как они читали друг другу свои стихи. Рассказ вызывал смертельную скуку у литераторов, ибо они слушали его уже в седьмой раз.

Внезапно Сеня замер с открытым ртом и обалдело уставился в окно. Над городом под серебристым парусом крыльев парил человек.

– Дельтаплан! – восхищенно прошептал Сеня, и, клокоча и ухая, литераторы рванули на улицу, смыв по пути зазевавшегося Пал Андреича. Дельтапланы здесь были еще в диковинку.

Серафим сделал широкий круг и скользнул вниз. Оглушительно захлопав крыльями, он приземлился на маленькой пустой площади. Застегнув на пуговицы разрезы на плаще, Серафим неторопливо пошел прочь, но не успел сделать и десяти шагов, как был окружен зеваками. Со всех сторон сбегались новые и новые. Только очередь у винного отдела гастронома не дрогнула и стоически выдержала искушение.

Серафим смутился и попытался пройти сквозь толпу, но задние так напирали, что пройти оказалось невозможно. Сеня Перестукин заметно волновался.

– Простите! – закричал он из толпы. – Э-э, не могли бы вы еще раз продемонстрировать аппарат?

Зеваки подступали, весело и жарко дыша. Серафим насмешливо улыбнулся. Перестукин побагровел, что-то закричал в толпу, но толпа защелкала, засвистела, заулюлюкала, завертелась бешеным водоворотом, втягивая в воронку Серафима. Мелькнуло его узкое бледное лицо.

– Господи! – ахнули бабки. – Андела-то, андела-то задавили, ироды!

Через полчаса толпа рассеялась в недоумении. Серафим исчез. Куда он делся – неизвестно, только больше его никто не видел.

Сандалов шел домой. Голова у него раскалывалась. «Что за морок? – тревожно думал он. – Блазнится все! Галики уже...» Сандалова знобило. «Меньше пить надо! – в сердцах сплюнул он. – Так и на Агафуры недолго... Или здесь эти... как их, черт, Биргильды!»

Сумерки тяжело ложились на город, размывая верши-

ну старого отвала и зажигая мертвенно-синие лампы над мокрыми улицами.

1983, 1988

САШКА И МАРИЯ

Сашка Парамонов возвращался из лагеря. Откинулся, как говорили на зоне. От Челябинска он поехал на товарняке. Можно было подождать до утра и поехать пассажирским поездом, но, во-первых, на вокзале наверняка будет ходить патруль и проверять документы, а с мусорами Сашка меньше всего хотел встречаться, и, во-вторых, очень уж истосковалась душа по дому, по жене, по сыну.

Сашка стоял на площадке товарного вагона, садил папиросу за папиросой и жадно вглядывался в темноту, в которой угадывалась громадная мертвая туша террикоников. В душе сладко ныло.

Три года Сашка мантулил на зоне – работал честно, с блатными не связывался, был человечком совершенно незаметным. И хоть сидел зазря – не роптал. Жизнь научила не возбухать.

В то летнее воскресенье они играли на стадионе в городки и начисто разгромили Пригородную шахту. И Сашка был вторым по количеству выбитых рюх. Он до сих пор помнил, что выбил тогда двадцать восемь. Проигравшие поставили два литра водки, и команда из Энергоуправления отправилась в городской парк. Сначала посидели на лужайке. Выпивали, закусывая плавленым сырком. Все хвалили Сашку, хлопали его по плечу, и Сашка жмурился от нежданно свалившейся славы. Он не был сильным городошником, но в тот день поймал кураж, и все у него получалось. Несколько раз он точными ударами вышибал фигуры целиком, и его вдруг заметили в команде. «Нет, а Саня-то, Саня-то наш! Каков!» – толковали мужики между собой и восхищались Сашкиной удачей.

Когда водка кончилась, окрыленный Сашка вдруг пригласил всех в кафе «Лето», где они крепко посидели до

самого вечера. Пили водку, запивали жигулевским пивом, закусывали шашлыками по-карски. И Сашка угощал всех, пока не кончилась заначка. Все как-то потихоньку разошлись, и Сашка остался один. Он еще посидел немного, попыхал папиросой, пока Рыжая Лида не спровадила его. Иди уж, ворчала она, даст тебе Мария!

Домой Сашка шел слегка покачиваясь. В душе его все улыбалось, и широкая улыбка блуждала на его лице. Мария, нежно думал он, и представлял себе ее белое крепкое тело, выпирающее из шелковой комбинашки.

Тут-то и вывернулись откуда-то из парковой темноты дружинники. Они окружили Сашку, стали подсмеиваться над ним, а Сашка радостно им поддакивал. Но когда он попытался пройти сквозь них, его притормозили, стали о чем-то спрашивать, и Сашка уловил в их голосах издевку. Он вспылил, стал грубить, а тут и милиционер на мотоцикле с коляской подкатил. Э, вы чё, мужики! Сашка забеспокоился. Ему не верилось, что его сейчас – преисполненного счастья и нежности – увезут куда-то. Душа не жаждала приключений, душа жаждала любви.

Его посадили в коляску, один из дружинников сел на заднее сиденье, и мотоцикл, взревев, рванул в ночь. Но Сашке не верилось, что случится что-то плохое, он подумал, что сейчас они приедут в отделение, все быстро выяснится, и дежурный поймет, что ни в чем он не виноват, что просто шел домой после воскресных посиделок с друзьями, ну, победу обмыли, чего такого?! Но почему-то мотоцикл свернул к городской бане, а потом поехал дальше, и только когда они остановились возле вытрезвителя, Сашка понял, что попал, что не мять ему сегодня белое тело жены дорогой, Марии ласковой. Была еще надежда, что начальник разберется и увидит, что Сашка и не пьян вовсе, а только выпимши, и то – причина была! Ну, выпили с друзьями в воскресенье, ведь не хулиганили же, не шумели. Но с Сашкой никто не стал разговаривать, его сразу подвергли странной процедуре, которая показалась ему унизительной, но он подавил в себе возмущение, надеясь, что выдержит испытание и его тут же отпустят.

Сначала его заставили пройти по одной половице, и Сашка, картинно расставив руки, плавно по половице прошел, и сам восхитился собственной ловкости и победоносно посмотрел на старшину и на улыбающегося врача в мятом белом халате. Закройте глаза, ласково сказал врач, поднимите руки, вот так, а теперь присядьте десять раз. Сашка стал приседать, и эти упражнения даже доставили ему удовольствие. И это его погубило. Он рассредоточился, расслабился и, присев в очередной раз, вдруг сел на задницу. Оформляйте, сказал врач. Доктор, взмолился Сашка, можно я еще раз! Ничего, сказал врач, поспишь маленько – и домой. Раздевайся, сумрачно сказал старшина. И Сашка покорно стал раздеваться. Он был оглушен несправедливостью.

Его усадили в ободранное кресло, с подлокотников которого свисали какие-то брезентовые ремни. С обеих сторон к нему подступились дружинник и милиционер, и в руках милиционера Сашка увидел никелированную ручную машинку для стрижки. Он снова забеспокоился. У нас распоряжение, хмуро сказал старшина. Милиционер улыбнулся и хищно заклацал машинкой. Давай, Гриша, кивнул старшина, и машинка погрузилась в Сашкины кудри. Больно, дернулся Сашка. Сиди, сказали ему, и дружинник придавил его плечи. Да больно же, черт! Сашка рассердился. Милиционер тоже вдруг рассердился. Сидеть, крикнул он, елозя машинкой по Сашкиной голове. И вдруг Сашка понял, что тот нарочно подергивает машинкой, чтобы доставить ему боль. Он поднял глаза. Милиционер был сосредоточен, но Сашка понимал, что тот знает, что делает и что делает он это не от неумелости, а специально. Неожиданно милиционер ухмыльнулся. Сашка взвился пружиной и залепил ему в глаз своим острым кулачком. Фуражка, сверкнув кокардой, спланировала в угол. Сука, ахнул милиционер и присел, закрыв лицо руками. Дальнейшее Сашка помнил плохо. Его быстро прикрутили ремнями к креслу, достригли, освободили от ремней и, завернув руки, поволокли по грязному коридору. В палате, где его заперли, ярко горел свет.

Все дальнейшее напоминало хорошо отлаженный производственный процесс, когда каждый знает, что ему делать, и дела без долгих разговоров идут своим чередом. Утром Сашку перевезли из палаты в темную камеру следственного изолятора, где, впрочем, он протомился недолго: не успел опомниться, как повезли на суд, где быстро зачитали приговор, а потом на этап – и на зону.

И Сашка принял зону, как принимают неизбежную жизнь. Он ухватил краешек мысли, что если будет сопротивляться неизбежному, то его сомнут, сломают, но если покорится этой поганой, несправедливой жизни, то выживет, и тогда у него есть шанс снова подняться с мутного ее дна.

И он выжил, и вышел. И вспоминать лагерную жизнь ему не хотелось. Как память осталась маленькая синяя портачка на левом запястье: сердце, пробитое стрелой, и ниже – четыре кривые буковки м а ш а.

Правда, он с каким-то даже удовольствием вспоминал последний день на зоне: как он томился с утра, как наконец его оформили, как он вышел за ворота – и сразу сделался как будто пьяным, как неожиданно ему улыбнулся солдат с автоматом, и Сашка непроизвольно помахал ему рукой.

В дороге сладкое чувство свободы, распиравшее грудь, не только не исчезло, а, напротив, усилилось.

Возле Дубровки состав замедлил ход, и Сашка спрыгнул с подножки. Он легко летел в темень, легко приземлился – и даже не упал. Он ничуть этому не удивился: тело было послушным и сильным.

Восемь километров Сашка пролетел махом. Последние пятьдесят метров до дома он еле сдерживался, чтобы не побежать. Город был безлюден и темен.

Желтый восьмиквартирный дом спал. Сашка стоял и долго смотрел на черные окна первого этажа, пытаясь уловить хоть какое-то движение за стеклом. Закурил. Папироска оказалась полупустая и быстро прогорела. Лампочка во дворе не светила. Но в коридоре, где пахло свежей известкой, свет был. Плафон был весь забрызган и источал рябой тяжелый свет. Сашка на цыпочках под-

крался к двери. Постоял. Наконец поднял руку и тихонько постучал. Прислушался. Постучал еще раз – уже сильнее. Опять прислушался. За дверью зашебуршало. Маша, тихонько сказал Сашка, это я, открой. За дверью было тихо. Сашка опять настойчиво постучал, чувствуя боль в костяшках пальцев. Маша! На этот раз он произнес имя жены громко и тревожно. Вдруг дверь резко распахнулась. Сашка улыбнулся и хотел шагнуть в темную прихожую, но сильный удар в лицо отшвырнул его. Он упал, но тут же вскочил и снова сунулся в дверной проем, в котором угадывалась большая крепкая тень. И снова получил удар в лицо, и снова упал. Хлопнула дверь. Сашка лежал на спине, тупо смотрел на беленый потолок, усеянный конопушками. Губы были разбиты, но Сашка не чувствовал вкуса крови. Он несуетливо встал, отряхнулся и вышел во двор. Столик, за которым мужики по вечерам играли в домино и в «шестьдесят шесть», казалось, еще больше врос в землю, стал ниже. Сашка сел на скамейку, потянулся за папиросами, но, проведя языком по вспухшим губам, повертел в руках растрепанную пачку «Прибоя», положил ее на столешницу.

Стало светать. Сашка сидел, как замороженный, и наблюдал, как светлеет небо над сарайками, слушал, как засуетились воробьи в тополях. Стол был испещрен знакомой потемневшей резьбой. Добавилась только одна надпись: «Агафон – козел!».

Стукнула подъездная дверь. Сашка опустил голову. Легко, пружинисто прошла большая тень. Через минут пять раздались легкие шаги, и Мария присела на край скамейки. Сашка поднял голову. Мария была во фланелевом халате в крупных фиолетовых цветах. Она сидела с припухшим от сна лицом, засунув руки в большие карманы халата. Сашка хотел позвать ее, но слова не пробивались сквозь разбитый рот и, застревая в горле, распадались на куски. Мария подняла измятые веки и пожала плечами. Как Сережка, вдруг спросил Сашка, но сам не услышал своего вопроса. Сквозь губы раздались только бульканье, хрип и шипение. Мария подняла брови и опять пожала плечами.

Уже совсем стало светло, но солнце еще не выглянуло, двор был залит серым светом, над самой головой в кронах тополей копошились и кричали воробьи.

Они сидели друг против друга, молчали, не чувствуя утреннего холодка. Сашка иногда проводил заскорузлой ладошкой по коротко остриженной голове, Мария, не поднимая лица, иногда пожимала плечами.

2004

КОРОТКИЕ НОЖИ

Сергей работал с мешком, когда они появились. Сначала в зал заглянул Жопсява – зыркнул по углам и исчез. Через минуту дверь широко открылась и вошла вся *шобла*. Впереди – Старший Охота, за ним – Брюхан, Алданя, а потом уже *серогорбые*.

Тренера не было в эту среду, и занятия вел перворазрядник Володя Авдеев. Он стоял у ринга и наблюдал за спарингом: Потап отчаянно бился с Баразиком. Потап сегодня принес новые бойцовые перчатки – легкие и маленькие и сейчас пробовал их. Он раскраснелся от вдохновения, пытаясь достать длинного Баразика. Тот с сонным выражением лица, отмахивался тяжелыми разбитыми перчатками, которые годились только на тренировку с мешком. Иногда Потап картинно делал ложные движения левой и тут же доставал партнера неожиданным длинным крюком справа, и тогда сонливость Баразика сменялась недоумением.

Когда шобла вошла, Володя глянул на них сначала искоса, а потом развернулся, широко улыбаясь, пошел навстречу. Охота пожал ему руку, что-то коротко спросил и, повернувшись в пол-оборота, бросил: «Сели!» Шобла быстренько расселась вдоль стены на корточках и стала чинно наблюдать за боем.

Потап летал, как бабочка. Его глянцевые черные перчатки так и мелькали. Баразик начинал злиться. Он пытался атаковать, но Потап ускользал, ныряя под его вялый левый джеб, и, подкручивая тазом по всем правилам, легко наносил длинный хук справа. Только один раз

Баразик попал прямым как следует, но попал в нос, и Потап просто взъярился. Он нанес несколько быстрых ударов по корпусу, и когда Баразик, сдвинув локти, сосредоточился на защите, но тут же открылся сверху, Потап размашисто влепил ему в челюсть. Баразик растерялся. И тут же пропал. Потап прибавил скорости и уже напоминал не легкую бабочку, а тяжелого злобного жука.

Вообще-то Потап боксером был рыхлым, сыроватым. У него не было удара, хотя техника кое-какая была. Но уж очень он зависел от настроения. Сейчас он ликовал. И Баразику пришлось туго.

Сергей сосредоточенно работал. Он хищно кружился вокруг мешка, то, еле касаясь дерматинового тулова, дробно проводил серию, то вдруг сильно вбивал, вкладываясь всем телом, боковой правый, так что звук от удара разносился по всему залу. Тело было разогретым, послушным, легким.

Шобла смотрела на ринг. Смотрели сосредоточенно, молча. Только смешливый Алданя, блестя цыганскими глазами и потряхивая каштановыми кудряшками, что-то говорил Охоте, тыча мизинцем в несуразного Баразика. Они учились в одном классе восьмилетней школы. Охота улыбался и косил глаза в угол, где Сергей работал с мешком. Брюхан, сидя по правую руку Охоты, окаменело наблюдал за боем. Для него весь этот бокс был полное *фуфло*.

– Стоп! – крикнул Володя, и бой остановился.

Баразик размазывал юшку по щеке, глаза его были пустыми. Раскрасневшийся Потап был очень доволен собой и все не мог прийти в себя – он в возбуждении подпрыгивал, разя воздух.

– Хорош! – повторил Володя. – Ты чего раздухарился?

Потап поднырнул под канаты, и его тут же окружили, стали смотреть, мять перчатки – они были просто загляденье. Баразик вылез из ринга, сел на скамейку и стал зубами развязывать шнурки на перчатках. К Потапу подошел Володя. Он улыбался, но старался говорить сурово.

– Ты чего драку устроил?

Потап очумело завертел головой.

– Слушай, перчатки – просто люкс!

Сергей ловил краем уха разговор, но его не интересовали сейчас ни победительный Потап, радостно оправдывающийся перед всеми, ни понурый Баразик, расслабленно привалившийся к шведской стенке. Он старательно обрабатывал мешок.

В секцию бокса спортивного общества «Трудовые резервы» Сергей пришел, когда ему было одиннадцать. После пустяковой дворовой стычки между своими, когда пацаны неумело квасили друг другу носы, во двор вышел похмельный Агафон, наблюдавший из окна за потасовкой. Не умеете вы драться, огорчился Агафон, и его помятое лицо стало озабоченным. Я готов преподать вам правила английского бокса, сказал он. Всего за три рубля.

Стали сбрасываться по гривеннику, по пятачку. Серега Убейволк сбегал домой, вытащил у старшего брата полтинник из пиджака, а маленький Абрам выпросил у матушки рубль – так набрали два рубля тридцать восемь копеек. Агафон ссыпал мелочь в задний карман трикушки, отчего карман отвис, как грыжа. Бумажный рубль Агафон аккуратно свернул и сунул в пижонский безразмерный носок.

Потом Агафон рассказал про Родни Стоуна, про его знаменитый бой с Крабом Уилсоном. Потом сказал, что советский бокс – самый сильный в мире, и убедительно сообщил имена Енгибаряна, Агеева, Попенченко, Позднякa. А в профессиональном боксе нет равных Кассиусу Клею. Но они там дерутся за деньги, горько сказал Агафон. За очень большие деньги, сказал он с отвращением. Практических занятий не последовало. Агафон попытался показать боксерскую стойку и повальсировать, но руки и плечи его все время разъезжались. Читайте журнал «Физкультура и спорт», объявил Агафон. Потом, глядя на братьев Силкиных, красовавшихся в новых фурагах, напоминавших фасоном немецкие пехотные кепи, задумчиво сказал, что не может понять, почему молодежь стала носить фашистские фуражки, и отбыл в магазин.

Пацаны возбудились, а потом кто-то вспомнил, что в ДК Кирова есть тренировочный боксерский зал. И все дружно туда пошли. И стали чем-то вроде малышовой группы. А когда вернулся из отпуска тренер, то всех повыгонял, но Сергея почему-то оставил. Может, тот был покрупнее своих сверстников, старательнее, а может, тренер угадал его. Потом в секцию бокса пришли Костя с Баразиком, и Костя стал его спарринг-партнером.

Володя Авдеев подошел к Старшему Охоте и присел на корточки.

– Что ходите? – дружелюбно спросил он.

– Слышь, Вовик, есть дело, – спокойно отвечал Охота.

И Володя немного напрягся.

– Ты не грейся, это дело не страшное. Я тут помазался, что твой выдержит против моего. Выстави бойца. У меня будет Медуза. Поэтому давай самого лучшего.

– Кто Медуза? – рассеянно спросил Володя.

Медуза встал.

– Ничего бычок. Давай на весы. Только ботинки сними.

Медуза стал разуваться. Охота тихонько шепнул Володе:

– Пусть это будет вон тот.

И показал глазами на Сергея.

Витька Медведев по кличке Медуза был обыкновенным парнем. Он мало чем отличался от своих корешей – такая же слегка развинченная походка и деланное безмятежное выражение лица. В драках был нагл и быстр. В банде был не последним. Ходил в куртке из кожзаменителя с красным поролоновым подкладом, в кожаных перчатках и без шапки в любую погоду.

Обычно банда ходила по городу по замкнутому кругу – мели клешами по проспекту Горняков до кинотеатра, потом сворачивали на Мира и шли до Ленина, потом опять налево до магазина «Ледокол» и потом по улице Цвиллинга, по скверу, засаженному жесткими акациями, до памятника Кирову. В другие районы совались редко – только по делу. Сначала ходили трезвые и сосредоточенные. Потом скидывались, пили *из горла* «Белое креп-

кое» в подъезде. Старшие рассказывали тюремные байки. Младшие – как высадили в кабинете директора школы все стекла. Потом шли на улицу и начинали *шакалить*. В банде говорили: *трясти*. Они выбирали жертву и спокойно и просто просили денег. Если давали десять-пятнадцать копеек, то и дело с концом. Если денег не давали, отговариваясь, что нету, просили попрыгать, если не звенело, то *шмонали*, и если не находили ничего, то без всякой злобы били по зубам и шли дальше. Если же находили сокрытые деньги, то били тяжело и с азартом. На случай крупных драк с другой бандой в карманах лежали ножи. Ножи были короткими, с наборными ручками из плексигласа – и делались из ножовок или узких напильников. Короткий нож в уличных драках всегда предпочитался *месарю* или *тесаку*. Его легче было спрятать, незаметно выбросить, если повяжут *мусора*. Им редко убивали – в основном *подкалывали*. Тесаком можно было серьезно *поронуть*, но с тесаком было сложнее. Его прибинтовывали вместе с ножнами к ноге – на икру или на внутреннюю часть бедра. В последнем случае – в кармане делали дыру, чтобы можно было быстро выхватить. Некоторые умудрялись пристроить тесак под шлицы пиджака, но это все было для *понтов*. Нужно было быть уверенным, что тебя самого шмонать не будут. А шмонали часто. Даже дружинники. У *шишкарей* были кнопочные ножи – им привозили их с зоны. Кастеты и свинцовые наладошники были редкостью. *Махались* на колах. Разбирали решетчатые скамейки или штакетник. Тут и нож не помогал – им не отмахнешься. Отмахивались также заточенными маленькими ложками для обуви. Их носили напоказ, зацепив за прямые карманы на клешах.

У Витьки Медведева кличка совсем не соответствовала внешности – он был плечистым и крепким парнем.

Договорились биться три раунда по две минуты. Сергей скинул перчатки, кеды, трико и, разматывая бинты, пошел взвешиваться. Володя пощелкал весами, почесал голову. Разница была в пятнадцать килограммов. Ты его к себе не подпускай, сказал он тихо Сергею. Не рубись с

ним. По очкам выиграешь. И не клинчуй – он тебя задавит массой. Сергей кивнул и пошел в раздевалку. Из сумки, нутро которой пропахло кислым потом, он достал легкие боксерские ботинки и белые трусы с красными полосками. Потап принес свои новые перчатки. Сергей старательно перебинтовал эластичным бинтом руки, и Потап, налегая всем телом, натянул ему перчатки, зашнуровал и, хлопнув по сверкающей коже, сказал:

– Перчаточки – люкс! Невесомые! Смотри, не разбей их об эту шайбу.

Сергею нравился запах пота. Ему нравилось доводить себя до изнеможения на тренировке, он ликовал, когда после изнурительной разминки разогретое тело набирало упругости и силы – оно становилось ловким и настолько послушным, что представлялось ему сверкающим японским мечом.

Володя назначил секундантов. Принесли табуретки, полотенца, Сергей потанцевал в ящичке с канифолью и, скользнув под канатами, встал в красный угол. На светло-зеленом брезенте отпечатались белые следы. Алданя и Брюхан обступили Медузу. Брюхан что-то медленно и брезгливо говорил ему, холодно глядя на Сергея. Алданя только похохатывал, потряхивая кудряшками.

Потап горячо шептал Сергею в ухо:

– Ты, главное, не бойся! Он хоть и здоров, но у тебя – техника!

Но Сергей не испытывал ни страха, ни робости. Он спокойно смотрел на противника.

Медуза стоял в синем углу в брюках и с голым торсом. Перчатки ему нашлись большие и не самые потертые. На ногах его были носки из эластика, источавшие горьковатый запах. По мышцам Медузы можно было угадать, что он очень силен.

– Бокс! – резко бросил Володя, щелкнул секундомером, и Медуза тут же прыгнул, выбросив вперед правую руку. Сергей довольно легко ушел от удара, но кулак противника все-таки чуть-чуть задел левый бицепс, и Сергей понял, что если бы Медуза попал, то бой тут же и закончился бы. Удар был страшный. Второй и третий

удары были, наверное, столь же сильны, но они и вовсе не достигли цели: Сергей, танцуя на мысочках, собранно отступал назад, и Медуза лупил по воздуху, и было видно, что он раздосадован и совсем не думал о защите, и когда в очередной раз он прыгнул вперед, пытаясь достать Сергея правой, тот сделал скользящий, еле заметный шаг вперед и резко ударил прямой левой, буквально насадив противника на кулак. Это было похоже на столкновение с поездом. Глаза Медузы собрались в кучку, и Сергей понял, что попал. Он сократил дистанцию, бросил серию, закончил ее сильным апперкотом и тут же начал новую атаку – противник был открыт, как тренировочный мешок. Сергей выкладывался полностью, но видел, что Медуза восстанавливается. И восстанавливается очень быстро. Вдруг он резко качнулся вперед всей тушей, выбросив обе руки вперед, и Сергей с трудом ушел, скользнув влево вдоль канатов, обдирая спину.

Сергей был очень перспективным боксером. Тренер угадал его. Он наблюдал за ним две недели и увидел, что он старается. И в кроссах, и в долгой и мучительной разминке Сергей выкладывался весь. Он был очень трудолюбивый и наблюдательный. С ним особо никто не занимался, но он жадно следил за тренировочными боями и быстро усваивал приемы бокса. Он был от природы пластичен и легок. Реакция у него была изумительная, но удара не было. Очень скоро Сергей обрел физическую форму, окреп, стал быстр и вынослив. Он стал чемпионом школы по бегу на пятьсот метров и по лыжам. Легко обращался с пудовой гирей. Однажды его записали в группу, которая поехала на товарищескую встречу в Челябинск. Против него выставили рослого и статного парня, но когда ударил гонг и противник встал в стойку, Сергей понял, что побьет его – партнер был слишком суетлив. И он побил его. И возликовал. На следующей тренировке к нему подошел перворазрядник Витя Шергунов. Ты ничего не умеешь, сказал он. Надо начинать все сначала. Будем учиться. И стал гонять Сергея. Лапы, мешок, груша, спарринг, бой с тенью.

Медуза пер вперед и мощно бил попеременно левой, правой, левой, правой. Удары не достигали цели, но Сергею приходилось с огромной скоростью перемещаться по рингу, чтобы не попасть под эти паровозные шатуны. В основном он работал джебами: двойной левый в голову, потом правый. Достать Медузу было легко. Трудно было сохранить дистанцию. Медуза, набычившись, шел вперед, размашисто нанося удары правой, но Сергей уходил назад, сдвигался влево и, когда противник проваливался, бил наперекрест правым хуком.

Ударил гонг.

– Стоп! – крикнул Володя. – Раунд!

Но Медуза как будто не слышал ни гонга, ни команды и продолжал идти вперед. Глаза его были мутные и тяжелые.

– Стоп! – опять крикнул Володя. – Время!

Медуза остановился, хыкнул, с силой бросил правый кулак вниз и пошел в свой угол. Он встал спиной к Сергею и о чем-то стал говорить с Охотой. Он почти не запыхался и выглядел злым и сильным. Его рельефная спина лоснилась от пота.

– Молоток! – наклонился к Сергею Володя. – Только не играй с ним. Будь серьезен. И в клинч не лезь. Он тебя сомнет. Не подпускай его к себе. Работай на контратаках. И уходи. Если он тебя загонит в угол – тебе конец.

Сергей сидел на табуретке, и Потап, оттянув ему трусы, вертел полотенце.

– Ничего, – ухмыльнулся Потап, – он тупой, как железобетон. Он тебя не достанет. Как перчаточки? А?

Сергей кивнул.

Медуза не понимал, что происходит. Он чувствовал себя сильным и быстрым, он знал, что может просто расплющить этого пацана, но он никак не мог попасть в него. Обычно он валил человека с первого удара. А потом добивал его ногами. Он даже такого бойца, как Зубчик со Вскрышного разреза, завалил начисто. Хотя у Зубчика удар – шелковую нить рвет. На Зубчика никто *не прыгал*. Даже библиотекарские. Даже Саня Маньшин. Зубчик Кантугана *уработал*.

– Ты чё, Медуза? – тихо говорил Охота. – Ты не можешь сделать этого спортсмена? Он же танцует. А ты – боец! Или я в тебе ошибся?

Медуза тупо молчал.

– Второй раунд! – объявил Володя. – Боксеры на середину. Бокс! – И выкинул вверх два пальца.

Медуза собрался и стал приближаться короткими шажками, чуть заведя правую руку для удара. Сергей понял, что сейчас Медуза весь вложится в удар, двинет всем корпусом, и тот действительно обрушился на него всей тушей. И вдруг как будто выключили звук, и свет стал зыбким, и время замедлило свой ход. Тяжело наваливался Медуза с застывшей гримасой на лице, с нелепо выставленной вперед рукой. Сергей поднырнул под нее, ушел влево и сильно и коротко ударил правой в печень. Медуза стал медленно разворачиваться, но короткий хук в челюсть отбросил его на канаты. Сергей шагнул вперед, чуть присел и нанес апперкот правой. Удар пришелся точно в коробочку. Не дожидаясь, когда Медуза придет в себя, Сергей стал бить боковыми, стараясь точней прицелиться. Сергей отчетливо видел, словно в замедленном кино, как ворочается у канатов Медуза, как он запоздало реагирует на удары, которые так и сыпались на него. Но странное дело: он быстро приходил в себя, и удары его не только не сотрясали, но, казалось, наоборот, приводили в чувство, и скоро его глаза опять стали ясными, и время вернулось в обычный свой режим. И Медуза опять пошел вперед и опять стал молотить по воздуху тяжелыми кулаками.

Рисунок боя установился. Сергей много двигался и к концу раунда выдохся. Легким не хватало воздуха. Мышцы затяжелели.

Все труднее становилось держать дистанцию. Медуза это заметил и усилил натиск.

– Десять секунд осталось! – бросил Володя, и Сергей собрался для атаки. Он сделал несколько обманных движений левой и, максимально вложившись, сильно ударил правой в голову. Медуза как будто ждал этого: он чуть присел и подставил под удар свой лоб. Дикая боль про-

била руку Сергея до самого плеча. Он не удержался и упал на колени, коснувшись перчатками ринга. Медуза улыбнулся и стал заводить руку для удара.

– Стоп! Стоп!!! – заорал Володя, замахал руками и вклинился между ними.

Сергей уже стоял на ногах. Володя взял его перчатки и стал старательно отирать их о свою рубашку.

– Все в порядке? – тихо спросил он.

Сергей кивнул, и Володя скомандовал:

– Бокс!

Но не успели боксеры сойтись, как громко и надтреснуто ударил гонг.

– Брейк! Разошлись! – закричал Володя.

Шобла зашумела, но Охота цыкнул, и все мгновенно угомонились.

Третий раунд был каким-то тяжелым, бессвязным, отрывочным. Было все труднее отбивать удары Медузы, нырять, уходить. Сергей продолжал скользить по рингу, но уже с некоторым напряжением. Он понимал, что еще чуть-чуть перемочь – и придет второе дыхание. И тогда он сможет продолжать поединок в долгом изнурительном режиме. Сейчас он больше напоминал осторожного фехтовальщика, сконцентрировавшего всю свою волю на самом кончике узкого длинного клинка. Он работал левыми джебами, но Медуза осознал свою неуязвимость и продолжал открыто атаковать. Чего он не мог понять – это секрет неуязвимости противника. Казалось бы, чего проще: загнать его в угол – и *замочить*. Но тот все время прыгал, как заяц, и его просто невозможно было достать. Шустрый, *падла*!

Володя смотрел на циферблат. Стрелка быстро бежала по большому белому полю, бесстрастно съедая последние секунды.

Сергей понял, что сейчас брякнет гонг, но атаку проводить не стал, и бой вдруг поредел, истончился, как летний дождь, и сошел на нет.

Медуза, набычившись, пошел в свой угол.

– Стой! – заорал Володя. – На середину! Руки!

Медуза нехотя вернулся, противники вскользь косну-

лись перчатками. Володя цепко взял их за запястья и объявил:

– По очкам победил... Сергей Максимов! Советский Союз! – и поднял победительную руку.

– Потом продолжим, – тихим бесцветным голосом сказал Медуза и полез под канаты.

Но после тренировки Сергея никто не ждал. Площадь Кирова была пуста, только потрескивали синюшные фонари, рассеивая неживой свет.

Как-то Володя Авдеев *бухал* вместе с Охотой, и они вспомнили этот бой.

– Слышь, Авдей! А что тот мальчик?

– Талантливый мальчик, – отвечал Володя. – Боец!

– *Не гони!* – Охота морщился. – Он на улице ничего не стоит.

– Чемпионом будет! – убежденно говорил Володя. – Мы его сейчас на область повезем.

– Его на улице – мой любой *завалит*! – улыбался Охота.

– Ну, это не так легко сделать, – в ответ улыбался Володя.

– На ящик спорим? Белого? Пусть с Медузой схлестнется. На нашей территории.

– *Не в кипеш*, – отвечал Володя. – Реванша не будет.

Реванша не было. Медуза пошел *на зону* за грабеж. Потом еще кого-то из банды *замели*. Охота женился, и все реже стал выходить в город. Хотя в своем районе *шишку держал* прочно.

Сергея нашли рабочие с экскаваторо-вагоноремонтного завода, когда шли на утреннюю смену. Уже задубевший, он лежал ничком, уткнувшись лицом в песок в кленовой аллее на центральной улице, одна рука была неловко подмята под живот. Потом нашли кирзовую полевую сумку с учебниками. Он задержался у друзей после школы и когда возвращался домой – уже ночью, – на площади его сбил раздолбанный «ЗИЛ-157», который угнал в дупель пьяный электрик с Пригородной шахты. Сергею

перебило позвоночник бампером, на котором была установлена лебедка с грязным разлохмаченным тросом. Удар был такой силы, что сломанное тело выбросило в сквер.

Было Сергею неполных шестнадцать лет.

2004

ПАРИКМАХЕР ЯША

Миша Кириленко – страшно таинственный – сообщил одноклассникам на переменке полушепотом, что Гитлер жив. Знаете парикмахера Яшу из ДК Кирова? Так он Гитлер и есть. А застрелился его двойник. Сам Гитлер бежал из осажденного Берлина и подался в Советский Союз с фальшивыми документами. Кто ж его в Советском Союзе будет искать? И одноклассники подивились ловкости главного фашиста и тут же создали антифашистское сопротивление и решили Гитлера разоблачить.

После уроков пятеро отважных отправились к парикмахерской, которая выходила большими окнами в парк, и организовали засаду. Сидели в голых кустах долго. Замерзли отчаянно. За стеклом маячил в белом халате парикмахер Яша, и когда он разворачивался лицом к невидимым зрителям, явственно виднелись его черные узкие усики. Гад, дрожа от холода, шептал Мишка, даже усы не сбрил, думает – мы дураки.

За полтора часа Яша побрил начальника энергоуправления, главного инженера ЭВРЗ и сейчас хлопотал над Главным Поваром. На самом деле Главный Повар давно уже был директором ресторана «Шахтер», но начинал он на кухне; потом, когда посадили главного повара, был назначен на его место, и только когда посадили директора, сам стал директором. Но пацаны его так и звали – Главный Повар. Что он был ворюгой, ни у кого не было ни малейшего сомнения. Каждый день пацаны видели, как он уходил с работы с тяжелой сумкой. И когда Агафон разбил окно в кухне ресторана, то три дня, понятно, ходил героем. Агафон запустил куском сырой глины в окно второго этажа, намереваясь попасть в раму, потому что спор у

него вышел с Додоном, кто из них более меткий, но попал вовсе не туда, куда целил. Как потом выяснилось, стекло обрушилось в большие кастрюли с холодцом, и пацаны долго и шумно радовались ущербу, который понес Главный Повар. Додон, правда, уверял всех, что холодец этот все равно пустили в производство – вынули осколки и подали вечером работягам. Из-за этого Главного Повара возненавидели еще сильней. А когда Агафона посадили, то решили Главному Повару отомстить и подожгли ресторанную помойку, где всегда было много стружки из ящиков с посудой. Правда, Агафона посадили не за разбитое стекло, а за бочку с пивом, которую он как-то ночью укатил с дружками из хоздвора ресторана. И на следующий день их и накрыли в Агафоновой квартире, где они прямо из ведер черпали ковшами бархатное пиво, перебивая его периодически московской водкой. Но Агафон был свой, и не вором он был, а так, раздолбаем, а Главный Повар был ворюгой при должности.

Костик тоже учился в Начальной школе, но в «Б» классе, с Мишкой Кириленко знаком был шапочно, поэтому не был посвящен в планы однокашников. Когда он шел из школы домой через горсад, сразу заметил пацанов, сидящих в засаде, и, конечно, ему стало любопытно. Со скучающим видом он прошелся перед зарослями два раза, и тут же был пленен. Его начали допрашивать, что он здесь делает, что он тут вынюхивает и что он знает про парикмахера, но Костик знал про него совсем не то, что ожидали услышать антифашисты. Костик однажды ездил с отцом на озеро Шеломенцево и слышал, как отец рассказывал своим друзьям, с которыми они выпивали и закусывали на бережку, историю про Яшу-парикмахера. Сначала они все добродушно посмеивались над ним, но когда дядя Ваня сердито сказал, что зря они так, что Яша был на фронте и у него даже есть награды, отец сказал, что да, конечно, Яша был на фронте – брил офицеров при штабе фронта и когда он брил какого-нибудь важного генерала, то заводил с ним хитроумный разговор. И тут отец заговорил каким-то странным голосом: «О! Какой красивый важный вое-

начальник! Такой молодой человек – и уже генерал! О! Сколько у генерала красивых важных орденов! Эти ордена показывают, что молодой генерал – человек дела! Когда война закончится – все будут смотреть на генерала и скажут, что такие люди выиграли войну. А что скажут люди, когда Яша вернется с войны? Люди посмотрят на Яшину грудь и скажут, что он тыловая крыса и бесполезно находился на фронте. И Яшин папа будет очень переживать, а маму будут злорадно осуждать соседи. Да, Яша броил на фронте, а не стрелял из автомата, но он умело броил, я вам доложу. А на войне, когда кругом так много грязи, очень важно выглядеть молодцом, особенно когда вы такой молодой и красивый военачальник и когда у вас вся грудь в боевых орденах. А что стоит такому большому человеку похлопотать за Яшу-парикмахера? Какую-нибудь маленькую медальку Яша носил бы с таким же достоинством, с каким он всегда ведет себя под обстрелом?» Голос у отца был какой-то неправдоподобный, какой-то гладкий и жирный, как сливочное масло. Но друзья отца смеялись. И дядя Ваня не стал спорить с отцом, потому что отца все уважали. У Яши, конечно, есть медали, но такие давали всем, кто был на войне, а каких-то почетных наград у него нет. Поэтому он и не любит их носить. Все сразу увидят, что весь его иконостас – туфта. И тут все заговорили о боевых орденах и медалях, которые получали только за дело.

Пацаны как-то заскучали, потеряв интерес к парикмахерской, но Мишка Кириленко стал спорить с Костиком, сказав, что некоторые люди в городе говорят совсем другое, что он верит своим глазам и что здесь вопрос надо решать принципиально. Так и сказал: *принципиально*. Но потом вдруг предложил построить самолет. Небольшой такой самолет на двух человек. Только нужны ровные доски. Доски у меня есть, обрадовался Костик. Когда построили дом, очень много хороших досок осталось, и сейчас они ненужные, лежат во дворе – ровным таким штабелем. На самолет должно хватить. Вот только где взять мотор? Ну, мотор-то как раз легко добыть, солидно сказал Мишка, у отца друг работает в Центральных элек-

тромеханических мастерских. У них там этих моторов завались. Можно договориться. Какой-нибудь маленький моторчик. Друг отца чуть ли не начальник ЦЭММ. Если Мишка попросит отца, тот поможет. Конечно, с таким маленьким мотором самолет высоко не поднимется, но метров на пять – запросто. Но нужны шасси. Подошли бы колеса от детской коляски. Или трехколесного велосипеда. Вот всем задание. Пацаны покопошились еще немного, да и разошлись.

Яша брил мастерски. С шиком. Он тщательно намыливал лицо клиента, превращая его в кремовый торт, потом плавно правил бритву на ремне, при этом хищно поглядывая на сидящего в залатанном парикмахерском кресле человека, как будто намеревался ловко и безболезненно перерезать ему горло трофейной золингеновской бритвой, потом вкрадчиво подступал к нему, замирал на секунду, примеривался и быстрыми движениями смахивал белоснежную пену вместе со щетинкой. Бритву он обтирал свежей газетой «Горняцкая правда». Вся процедура продолжалась меньше минуты, но Яша не торопился отпускать клиента, он остро всматривался в его раскрасневшееся лицо и, не найдя никакого изъяна в своей работе и убедившись, что кожа чистая, брал горячее вафельное полотенце и осторожно и плотно накладывал его на сдобные щеки. И опять возникало ощущение, что он собирается изничтожить клиента, но уже посредством удушения, при этом Яша горестно кривился, как бы сожалея, что вот не удалось изящно перерезать горло бритвой, так теперь придется грубо перекрыть кислород. После компресса Яша вооружался ножницами и, мелко стрижа воздух, прицеливался к невидимым волоскам в носу и на ушах. Ликвидировав это физиогномическое недоразумение, он двумя изящными взмахами тонких ножниц ровнял брови, изумленно осматривал помолодевшего и радостного клиента и, ловко уронив ножницы в широкий карман халата, брал в руки пульверизатор с сеточкой и объявлял: «Одеколон не роскошь, а гигиена!» Яша мял оранжевую резиновую грушу, обдавая нежным прохлад-

ным облаком вконец умиротворенного и зажмурившегося от удовольствия клиента, и делал это с такой решимостью, которая говорила о том, что он все-таки решил дело довести до конца, но уже при помощи тонкого яда из пульверизатора. Заметьте, говорил Яша, это не какой-нибудь «Тройной», это настоящий «Шипр»! Ошалевший посетитель расплачивался, норовя избежать сдачи, но Яша, нимало не оскорбляясь, сдачу твердо сдавал. «Следующий!» – громко кричал он, хотя у стены, дожидаясь своей очереди, сидел всего один человек, внимательно изучающий журнал «Физкультура и спорт».

Была в городе еще одна парикмахерская, где не только стригли, но и брили, – тесный закуток в городской бане. Вечером в субботу и все воскресенье баня была настоящим клубом, где можно было славно поговорить в очереди обо всех событиях в городе и даже в стране, где после парной с влажным непроницаемым паром и неторопливой помывки из оцинкованных шаек в общем отделении можно было занять еще одну очередь в парикмахерскую и пойти в буфет, всегда пахнущий по субботам свежими опилками, и там выпить бочкового жигулевского пива или разливной водки, продолжая неспешный разговор о делах в городской футбольной команде «Шахтер» и прислушиваясь к звонкому крику: «Пройдите один!». Разопрев от водки, мужики по-хозяйски усаживались в кресло перед зеркалом, нагло рассматривали себя, требовали подстричь их под «полубокс» и в завершение ритуала соглашались побриться, хотя знали, что не миновать им кровопускания, которое традиционно останавливалось крохотными клочками свежей газеты «Горняцкая правда». В бане работали две говорливые сменные парикмахерши. «Разве там броют? – сердился Яша. – Разве женщина может это сделать без ущерба для мужского достоинства? Да лучше пользовать станок с невозможными лезвиями “Нева”, чем отдаваться в руки этих ветеринаров!»

В баню Яша всегда приходил в субботу рано утром, когда сонная баба Шура только заканчивала протирать желтый кафель широкой лентяйкой с огромным, как зна-

мя, куском серой мешковины. Купив билет за пятнадцать копеек, он проходил в пустой предбанник, где все двадцать четыре шкафчика для одежды были распахнуты в бесстрастном ожидании посетителей, выбирал угловой, медленно раздевался, аккуратно складывая вещи на нижнюю полку. Стянув майку, он обнаруживал сухой мускулистый торс с большим шрамом под левым плечом. Этот шрам, затянутый нежной розовой кожей, был столь широк и глубок, что остальные, звездами рассеянные по всему телу, казались незначительными. «Двенадцатый закройте!» – кричал Яша и быстро уходил в помывочную, показывая сильную узкую спину с огромной розовой бугристой кляксой над левой лопаткой.

В субботу утром в баню мало кто ходил. Разве что редкие пенсионеры да Гена Бектышанский – здоровенный глухонемой парень с поврежденным рассудком. Так он ходил каждый день, благо с него, как с юродивого, не брали ни копейки. А буфетчица Валюша даже наливала ему шипучей воды из сатуратора. А по субботам – даже с вишневым сиропом.

Яша закрыл на ключ большую стеклянную дверь парикмахерской, сдвинул на затылок свою новую шляпу и, распахнув мягкое китайское пальто из темно-рыжего драпа, легко сбежал по крошащимся бетонным ступеням и через парковые ворота вышел на площадь. А штиблеты на нем сверкали!

Дворец культуры готовился к празднику. На толстых белых колоннах, на специальных железных креплениях, как факелы – висели красные флаги. Два мужика в серых застиранных спецовках несли фанерный щит, на котором строгими буквами было написано, что состоится торжественное собрание. Ниже, уже веселыми цветными буквами, объявлялись танцы. Откуда-то из-под крыши ДК неслись резкие разрозненные звуки труб, бумкал большой барабан. Яша кивнул мужикам, глянул искоса на свежевыкрашенный серебрянкой памятник Кирову, пересек улицу Цвиллинга и пошел по проспекту Горняков, вдыхая полной грудью горьковатый серый воздух.

Рану на груди холодило, но это даже нравилось Яше. Ему вообще нравились вот эти тонкие ощущения жизни, которые возникали неожиданно то от грубого запаха угольной пыли, висящей над городом, то от горячего бензинового чада проехавшего мотоцикла «Цюндап», каким-то чудом занесенного на Урал, то от пряного дыма тлеющей тополиной листвы в скверах, то от дымящегося шоколадного навоза, который оставила медленная лошадь старьевщика, – и от сотен других будничных будоражащих ноздри запахов. Ему нравилось, что на южной стороне улицы Цвиллинга поднялись светлые силикатные пятиэтажки, а старые трехэтажные дома на проспекте покрашены в чистый желтый цвет, что асфальтовые тротуары выметены, и так славно цокать подковками на сверкающих штиблетах по чистому асфальту и слышать, как за спиной настраивается духовой оркестр, который будет сегодня играть на танцах. Яша поравнялся с длинной серой трибуной, над которой сиял покрытый жирной бронзовой краской гипсовый Ленин. Ну почему они так любят серый цвет, подумал Яша. Вон и горком у них серого цвета. Тяжелое приземистое здание в конце проспекта напоминало ему комендатуру в одном украинском городке, которое они брали штурмом под кинжальным огнем ручных пулеметов. Пулеметчики засели в окнах второго этажа в крыльях здания и поминутно меняли позиции. И переметнуться через площадь не было никакой возможности. Тогда пришлось обходить дворами и с территории хлебопекарни вламываться с тыльной стороны, предварительно закидав окна осколочными гранатами. Нет, ну можно же было покрасить другим цветом, ну, красным… Или хотя бы зеленым!

Яша раскланивался с редкими прохожими и неторопливо шел по проспекту. Домой! Домой! Там пахнет раскаленной плитой и сладкими булками с корицей. Там уже начинается праздничная прелюдия, которая в своей томительности гораздо содержательнее самого праздника.

Яков, опять будет строго спрашивать мама, почему бы тебе не надеть на торжественное ордена и медали? На торжественном все будут выглядеть нарядными. Ты не

хочешь своей маме сделать приятное? Оставьте, мама, будет бормотать Яков, при чем здесь ордена и медали? Седьмое ноября – праздник Революции. А у меня нет революционных наград. Как и знаков отличия за доблестный труд. Вы всегда, мама, пытаетесь нарядить меня, как новогоднюю елку. И что, не согласится мама, вечером во дворце танцы, и там будут лучшие люди города. И ты должен выглядеть солидно. Они ведь думают, что ты простая обслуга. Ты, Яков, совсем лишен честолюбия. Да, мама. Я совсем лишен честолюбия. И вообще, война давно закончилась, и, мне кажется, некрасиво к месту и не к месту демонстрировать свое героическое прошлое. Это ложная скромность, Яков. Не убеждайте меня, мама, что ходить павлином – это хорошо. Это не комильфо, мама. А кроме того, я собираюсь надеть свой новый костюм. Вы хотите, чтобы я провертел в нем дырки? Вы хотите, чтобы я безнадежно испортил новый костюм? И вот тут мама сдастся. Но через пять минут начнет снова. Яков! Ну зачем тебе эти дурацкие усики? Точно такие носил этот сукин сын Шикльгрубер! Это вызов обществу, Яков! У людей есть память, и не надо испытывать эту память. Мама, весело ответит Яков, точно такие усики носит Чарли Чаплин! Чаплин? И тут мама нахмурится. Этот паяс?! Мама, с мольбой в голосе скажет Яков, я надену новый костюм. Я буду выглядеть как картинка. И все девушки будут мне улыбаться. И тут вмешается папа. Руфа! Отстань от Яши! Он уже взрослый мальчик. Он лучше знает, как очаровать девушек. И когда мама уйдет на кухню и там начнет греметь сковородками и противнем, папа тихо и убедительно начнет размышлять, что, конечно, если Яша не хочет показывать свои боевые ордена, это его дело, хотя орден Красного Знамени – весьма почетный орден, но костюм, конечно, портить нехорошо, а вот медали «За отвагу» могли бы скромно и благородно украсить его грудь, это вполне достойные медали. При этом он будет смотреть на Яшу в упор и глаза его будут блестеть. И Яков сконфузится и деликатно напомнит папе, что медали у него тоже на штифтах, как и ордена, и что под них все равно придется дырявить новый костюм. Вот

куплю специально бостоновую пару, приверну все на пиджак намертво – и тогда буду надевать его как парадно-выходной мундир. Мама на кухне, выкладывая рыбный пирог на лист, будет громко ворчать. Ты – щеголь, Яков! Но ты – советский человек! И советская власть отличила тебя. Ты скромничаешь и даешь повод для злых языков! И Яков уйдет к себе в комнату, будет целый час мочалить резиновый эспандер, потом в изнеможении свалится на кровать, будет лежать, глядя в потолок, курить папиросу и мыслями заберется в далекое прошлое, которое так сильно отличалось от настоящего, что воспоминания, как холодный потусторонний ветер, разбередят искалеченную кожу на груди и на спине. Потом он встанет, выдвинет ящик стола и вытащит на свет божий квадратную голубую шкатулку, где хранятся завернутые в мягкую бежевую замшу его фронтовые награды и тусклые желтые фотографии в черном пакетике из-под фотобумаги. И он будет то горько, то радостно вспоминать своих товарищей из разведвзвода, от которого только и остались, что Витя Загоруйко из Москвы, Валя Локтев из Свердловска да он, Яша Горенфельд из маленького шахтерского города.

2006

ГИПНОЗ

Однажды утром на заборе городского сада, на фанерном щите, где обычно писали кинорепертуар на неделю, появилась афиша. Огромными кровавыми буквами сообщалось, что приезжает некто Лев Бендиткис и что в ДК Кирова он продемонстрирует ГИПНОЗ. Тут же была нарисована жуткая рожа синего цвета с красными глазами, из которых, как из гиперболоида инженера Гарина, вырывались убийственные желтые лучи. Сразу поползли слухи, что этот Лев Бендиткис – ученик самого Вольфа Мессинга и он умеет не только гипнотизировать, но и читать мысли, и даже двигать взглядом предметы. Телепатия и телекинез, пожал плечами Славка Соколкин, обыкновенно. Он был большой поклонник Роберта Шекли,

Айзека Азимова, Станислава Лема и, разумеется, братьев Стругацких – тетя Тоня Гарусова работала в книжном магазине и устроила им несколько подписных изданий, среди которых Славкой была наиболее любима «Библиотека современной фантастики». А еще дядя Валя Гарусов принес недавно новые журналы «Москва» с очень занятным романом, но до главы, где описывался сеанс черной магии, Славка еще не дошел, потому что журналы сначала читала мамахен, а потом их забирал папахен.

Надо сказать, что событиями городок был небогат. Да и события событиям рознь. Одно дело – драка «гоголевских» с «библиотекарскими», памятное побоище улицы Гоголя – городской окраины с потемневшими от времени рублеными избами и беленой городской церковкой – с большим домом на Цвиллинга, где на первом этаже была детская библиотека, и уж совсем другое дело – появление в закопченном небе невиданной винтокрылой машины, вертолета МИ-4, который прилетел за пострадавшим в аварии на Пригородной шахте проходчиком. Когда вертолет начал кружить над городом, горожане замерли, восхищенно задрав головы, а когда стало ясно, что местом посадки выбран стадион «Трудовые резервы», все дружно, как будто на футбольный матч «Шахтера» с еманжелинским «Горняком», ломанулись туда, чем немало встревожили пилотов. Долго потом летоисчисление велось от этого небесного явления. Так и говорили: «Это было до того, как *вертолет на стадионе приземлился*». Ну, или после того.

Встречу с гипнотизером ожидали напряженно. Все билеты были распроданы за неделю до вечера, и многим пришлось протыриваться только им известными путями – наиболее ушлые заранее просачивались в зал, заворачивались в тяжелые портьеры и там стояли, ожидая второго звонка, а кто-то из отчаянных и худосочных пробирался через кинобудку, вываливаясь на балкон прямо из кинобойниц, и потом прятался в последних рядах, другие как-то договаривались с билетершами. Впрочем основная публика прибывала чинно-благородно, все больше семейными парами, все разряженные в пух и прах, что

неожиданно обнаруживалось в гардеробе. Приехал на казенной «Победе» третий секретарь горкома, сел в первом ряду. Рядом примостился референт с тощей кожаной папкой для бумаг.

Пытался пробиться на концерт и Гена Бектышанский – местный дурачок, глухонемой жилистый детина двухметрового роста. Сердобольные билетерши всегда пускали его бесплатно на все фильмы. Обычно он появлялся в зале уже после того, как прошли первые титры, стремительно пробегал по боковому проходу, усаживался в первом ряду, минут пятнадцать не отрываясь смотрел на экран, потом вдруг, взвыв, начинал тыкать пальцем в движущиеся картинки, срывался с места и, клокоча, булькая и мыча, вихрем уносился прочь. Но в этот раз в первом ряду сидел третий секретарь, и невозможно было даже представить себе, чтобы Гена оказался рядом с ним. Поэтому убогому решительно дали от ворот поворот, и он уныло побрел прочь по огромному фойе – каменному, светлому, в белых толстых колоннах коринфского стиля, вышел на площадь, постоял в задумчивости, похрустел заскорузлым снежком, вдруг схватил за руль воображаемый мотоцикл, оглушительно завел его, оседлал и с невиданной скоростью заскользил, помчался по проспекту Горняков к кинотеатру имени Горького.

Малиновый плюшевый занавес был открыт, киноэкран поднимать не стали, и, если бы не какая-то наэлектризованная атмосфера, можно было подумать, что сейчас начнется демонстрация французского фильма «Три мушкетера» с несравненным Жераром Баррэ. Или новейшего чешского «Призрак замка Моррисвиль».

Включили свет на сцене, и зал вежливо зааплодировал. Вышел к рампе директор Дворца культуры и, не глядя на третьего секретаря горкома, а, напротив, уставившись торжественным взглядом на переполненный балкон, закричал тенором:

– Сегодня… у нас в гостях… лауреат… известный престидижитатор… Лев Бендиткис! – И немедленно с достоинством удалился.

Плавно начала гаснуть колоссальная бронзовая люст-

ра под лепным потолком, разговоры умолкли, но вдруг случилось смятение: из кулис выскочил человечек, выбежал на авансцену и рассерженно закричал, задрав голову вверх:

– Свет! Немедленно дайте свет!

Из-за занавеса высунулся растерянный директор Дворца культуры. Зал зашумел. Люстра стала разгораться.

– Я хочу видеть ваши глаза, – объявил артист и улыбнулся. И зал отозвался аплодисментами.

Ничего инфернального в облике гипнотизера не было, и лицо его вовсе не напоминало афишную физиономию, явно списанную художником с Фантомаса. А было лицо округлым, сдобным, и весь он, этот Лев Бендиткис, был более похож на инспектора гороно, нежели на артиста, мага и чародея. И еще всех поразило, что был он одет как-то уж больно скромно, ни фрака на нем не было, ни цилиндра, ни лаковых штиблет – был в обычной серой паре, явно не новой.

Однако странности продолжились сразу, как все затихли в рядах и стали пытливо изучать артиста.

– Товарищи! Никакого отношения мое искусство к престидижитаторству не имеет, – пожаловался зрителям гипнотизер. – И поэтому, прежде чем начать представление, я хотел бы показать вам действительно несколько простых фокусов, элементарных манипуляций, так сказать, чтобы вы поняли – насколько отличается обычная ловкость рук от строго научных, но пока неразгаданных явлений.

Зал напряженно молчал.

– Товарищи! Для эксперимента мне нужен доброволец.

– Я доброволец! – тут же раздалось с задних рядов, и через весь зал к сцене враскачку пошел фасонистый молодой человек в брюках клеш и кремовом кабинетном пиджаке с бранденбурами. Глаза его блестели, кудри стояли дыбом, а на лице блуждала блаженная улыбка.

– Колян! Ты чё?! – заполошно закричали его дружки и загоготали. Но молодой человек только величественно взмахнул рукой и, взбежав на сцену, встал, ослепленный

светом софитов. Маэстро как-то хищно подобрался и мягко подкатился к нему, обошел и, встав лицом к лицу, замер.

– Какой на вас красивый спинжак! – восхищенно всплеснул он руками. – Какой дивный спинжак! Почем брали?

И, не дожидаясь ответа, вдруг картинно принюхался, покрутил носом и сурово спросил:

– Вы сегодня сколько выпили?

Молодой человек несколько смутился, однако тут же довольно развязно показал пальцами, что примерно вот столько, ну, может, чуть больше…

– Из тазика пил! – радостно ухмыльнулся в зал артист, явно ища расположения публики.

В зале хохотнули, зашумели.

– Колян! Слышь! Кончай давай! Слазь! – заорали дружки.

– Извините, молодой человек, – учтиво сказал гипнотизер, – я не смогу с вами работать. Прошу пройти на место.

– Да чё там, – заартачился Колян, но сцену покинул и по залу прошел гордый, хотя и немного сконфуженный.

В рядах возникло замешательство: кряжистый мужик лет шестидесяти попытался подняться с места, но такая же плотная и широкая тетка с пунцовым от волнения лицом – как видно, жена, – ахнув, повисла на его плече. «Ну, да что ты, Зоя, в конце концов!» – в сердцах сказал мужик, осторожно освободился из объятий супруги и взошел на сцену. Вынесли потертый стул, на который мужик сел чрезвычайно осторожно, как бы боясь развалить его своим мощным телом. Он сидел в некоторой растерянности, щурясь от яркого света, в мятом костюме – лысая голова конусом, на самой макушке легкий седой хохолок – и публика решила его приободрить. «Держись, Панкратыч! Не робей!» – раздались голоса. И вся эта суматоха настроила зрителей на какой-то добродушный, какой-то домашний лад. Гипнотизер сладко улыбался. «Как? Как? Домкратыч?» – он приложил ладонь к уху и наклонился к залу. «Панкратыч!» – заревела публика. Гипнотизер сделал очень серьезное лицо.

Он достал из внутреннего кармана пиджака лист писчей бумаги, показал его зрителям и осторожно разорвал надвое. Потом, держа в каждой руке по обрывку, стал трясти бумажками перед самым носом несколько ошалевшего Панкратыча. Вдруг гипнотизер энергично заработал пальцами, и бумажки исчезли в его кулаках. Ассистент напрягся, побагровел, но продолжал внимательно наблюдать за нехитрыми манипуляциями артиста. А тот, крутя кулаками все быстрей и быстрей, вдруг вывел из поля зрения сидящего одну руку и перебросил смятый клочок бумаги тому через голову. Через секунду и второй бумажный комочек лег за спиной Панкратыча. Тот, однако ж, этого не заметил и продолжал напряженно наблюдать за вертящимися перед самым лицом кулаками. Зал начал потихоньку похахатывать – уж больно внимательно наблюдал Панкратыч за пустыми руками. Вдруг гипнотизер замер и раскрыл правую ладонь. Ассистент удивленно на нее покосился и вцепился взглядом во вторую руку. Зал захохотал. Гипнотизер медленно разжал кулак и помахал ладошкой – вроде как привет всем! Панкратыч растерянно посмотрел в зал. Зал грохотал. Гипнотизер с умильной улыбкой погладил нежный седой хохолок ассистента и поклонился публике. Панкратыч сидел, глупо улыбаясь, и не мог понять причину всеобщего веселья. Гипнотизер поднял его со стула и показал пальцем на бумажные шарики.

Панкратыч рассердился – он понял, что его просто провели, как последнего олуха, что никакого фокуса и не было, а просто отвлек, подлец, внимание и выбросил свои бумажки. Ишь, заливаются! Чего хохочете, дураки?! Он решительно покинул сцену. Супруга Зоя рыдала беззвучно, и Панкратычу пришлось цыкнуть на нее, а на хохочущую публику он, насупившись, внимания не обращал. Однако не всем понравился этот номер, и студентки из Горного техникума наморщили носики: «Что за фамильярность?!» Зато заливались дружки Коляна: «Павлуха! Валенок! Сцыте на него – он перегрелся!» Хохот стал стихать, и по рядам вдруг порхнуло: «Наперсточник! Шарлатан!», но как-то тихонько и неуверенно.

Лев Бендиткис поднял руку, и воцарилась тишина.

– Товарищи! Я показал вам этот пустяковый фокус, который на самом деле и фокусом-то не является, а так, как говорится, ловкость рук и никакого мошенства. Для чего я вам его показал? А вот чтобы вы лучше поняли разницу между обычной манипуляцией – и таинственным явлением, которое называется телепатией! И, заметьте, никакой научной фантастики! А сейчас мне нужны ассистенты. Так сказать, наблюдатели. Чтобы они подтвердили, что никакого обмана не будет. Есть желающие?

Но зал безмолвствовал.

– Ну что же вы, товарищи? Это ведь будет просто наблюдательная комиссия!

Появился, вымученно улыбаясь, директор Дворца культуры, подталкивая перед собой бухгалтершу Люду. Люда хихикала и все одергивала на себе вязаную голубую кофту. Ее высокие финские сапоги привели в восхищение почти весь женский пол, а толстые колени, затянутые в сияющий капрон, изрядно возбудили мужской.

– Еще, еще кто-нибудь! – гипнотизер вышел к самой рампе и стал искать взглядом.

Третий секретарь наклонился к своему сопровождающему, что-то шепнул ему на ухо, и тот, уронив папку и сильно хлопнув креслом, побежал на сцену.

Сосредоточенные мужички из духового оркестра, которые были еще оформлены подсобными рабочими во дворце, вынесли несколько стульев. Наблюдатели расселись, выставив колени и явно чувствуя себя неуверенно под взглядом тысячеглазого зала. Вытащили длинный стол, накрытый ярко-желтой плюшевой скатертью с бахромой, положили перед каждым несколько листов плотной белой бумаги, и комиссия уже расположилась более вольготно. Особенно вдруг переменился референт третьего секретаря: он непринужденно достал ручку-самописку, отвинтил колпачок, аккуратно привинтил его с обратной стороны ручки, дунул на перо, остро глянул в зал и деловито стал что-то писать на бумаге. Впрочем, ничего интересного он не писал – так, несколько раз каллиграфически вывел имя-отчество своего шефа: «Николай Иванович, Николай Иванович, Николай Иванович», а

потом неожиданно для самого себя поставил длинное тире и приписал: «Мундук». Полюбовавшись на свой почерк, референт сложил листок вдвое, нашел глазами своего патрона и сдержанно кивнул, как бы говоря, не волнуйтесь, шеф, все под контролем.

– Голубчик! – остановил гипнотизер одного из рабочих сцены, известного в городе саксофониста Чичу. – Пожалуйста, подойдите к уважаемой комиссии, загадайте число, и пусть они запишут его. А я отвернусь.

– Да не-е... – начал Чича, но директор Дворца культуры одернул его:

– Чичканов! Делай, что тебе говорят!

Чича пожал плечами и, вихляя своим худым длинным телом, подошел к столу. Все сгрудились, пошептались, и референт быстро чиркнул ручкой в бумажке.

– Переверните! Положите на край стола! – командовал гипнотизер, отвернувшись. – Так!

Он быстро подошел к столу, протянул руки над листом бумаги и замер, зябко перебирая пальцами, как будто грел руки над открытым огнем. На Чичу он даже не смотрел.

– Три! – выкрикнул он. – Это число три!

Чича заухмылялся и ушел со сцены. Директор и бухгалтерша победоносно смотрели в зал – как если бы это они отгадали число, загаданное артистом. Референт поймал внимательный взгляд третьего секретаря и еле заметно пожал плечами.

Гипнотизер взял двумя пальчиками лист и показал его публике. Тройка была выведена очень качественно и жирно. Артист поклонился и небрежно заметил:

– Это, так... Для разминки.

Все захлопали.

– Сейчас будет задание посложнее. – Гипнотизер быстро-быстро потер ладошки. – Вы сейчас выберете в зале девушку, и я найду ее в течение трех минут. Наблюдателей прошу пройти со мной за кулисы.

Долго выбирали всем залом девушку. Наконец выбрали Венеру – продавщицу из «Партизанского» магазина. Ей хоть и было далеко за сорок, все точно знали, что она девушка.

Гипнотизер вернулся вместе с наблюдателями и объявил, что ему нужен проводник. В проводники набился самый недоверчивый – почтальон Григорьев. Он еще до начала представления публично в фойе подверг предстоящее действо злобной критике и обещал осрамить этого *Бандиткиса* перед всем честным народом. Григорьев вышел на сцену с каменным лицом. Гипнотизер взял его за руку, где обычно врачи слушают пульс, и напряженно замер. Вдруг нога его дернулась, тело сотрясли конвульсии, и он ринулся со сцены, волоча за собой сурового почтальона. Скатившись со ступенек, пара ненадолго встала, и опять артист подпрыгнул, задрожал ногой и побежал по проходу, таща за руку ополоумевшего Григорьева. Около Панкратыча, сидящего невозмутимой горой, гипнотизер затормозил, постоял, рванулся в одну сторону, в другую, замер и неожиданно рявкнул:

– Нет! Так дело не пойдет! Мы ведь, кажется, ищем девушку? Вы представляете? – обратился артист к залу. – Доходим до этого места, и вдруг он мне говорит – мысленно, как вы понимаете, говорит: «ЭТО ОН!»

И гипнотизер показал на несчастного Панкратыча, который еще не отошел от недавней обиды.

– Ну! Ты! – грозно заворчал тот на Григорьева и стал вставать, но супруга его, Зоя, не позволила ему этого сделать. Одной рукой она отчаянно вцепилась в него, другой же махнула ридикюлем в сторону бедного почтальона.

– Ну что привязались к человеку? – закричала она.

Зал веселился. Почтальон Григорьев пытался что-то объяснить, но его не слушали, а, обхохотав, просто погнали на место. Очень осерчал почтальон Григорьев: закричал, что все остолопы, что дурят их, а они и рады, но публика шумела, и мало что можно было услышать в этом гвалте. Григорьев забулькал, заклокотал и помчался к выходу. Чисто Гена Бектышанский. Публика улюлюкала ему вслед.

Гипнотизер вернулся на сцену. На сей раз проводником вызвался быть никому не известный тщедушный молодой человек. Он приехал из поселка Розы Люксембург (по городскому – просто Розы) и был счастлив оказаться в центре внимания. С его помощью артист взял

реванш и быстро отыскал Венеру, снискав, правда, не очень бурные аплодисменты. Видно, все-таки некоторый сбой в программе удручил зрителей, посеял, так сказать, сомнения в их душах. И маэстро решил полностью и совершенно реабилитироваться. В то время как смущенные Венера и паренек с Розы уже шептали друг другу разные нежные слова, предуготовляя союз двух сердец, как в индийском фильме «Сангам», гипнотизер объявил о совершенно фантастическом эксперименте:

– Товарищи! Сейчас мы попытаемся найти иголку в стоге сена, если выразиться фигурально. Я уйду со сцены в сопровождении двух членов комиссии, а третий же – спрячет обыкновенную швейную иголку где-нибудь в зале. Вот она. Внимание! И я ее сейчас же найду!

Артист покинул сцену вместе с директором и Людой-бухгалтершей, а референт третьего секретаря спустился с иголкой в зал и вопросительно уставился на шефа. Тот слегка дрогнул веками и глазами указал на сидящего рядом начальника Вскрышного разреза. Референт немедленно подошел к начальству и почтительно предложил воткнуть иголку за лацкан пиджака. Публика тянула шеи, а некоторые даже вставали, сильно хлопая креслами.

– Сережа! – тихонько шепнул третий секретарь. – В помощники назначь Галю Анциферову. Из аппарата. Она вон там, с краю, сидит.

Референт вернулся на сцену, крикнул: «Готово!», и артист выскочил из-за кулис как чертик из табакерки, а следом появилась и высокая комиссия, которая уселась за стол, чуть не стянув скатерть. Несколько листочков слетели со стола.

– Ну-с! – артист пронзительно оглядел зал. – Кто будет моим проводником?

– А вот можно будет вот эта гражданка? – вывернулся референт Сережа и ткнул пальцем в побледневшую внезапно белокурую девицу с высоким начесом.

– А почему бы и нет?! – улыбнулся артист. – Мадемуазель, прошу вас!

– Я? – мучительно скривилась девица. – Нет-нет…

Она замахала руками, но вдруг ощутила на себе взгляд третьего секретаря и покорно отправилась на сцену. На полпути девица расслабилась, одеревенелость ее исчезла, и она довольно легко взбежала по ступеням. Артист полюбезничал немного с ней, взял за запястье и погрузился в транс. И опять повторились странные телодвижения, снова маэстро резко дрыгал ногой, подпрыгивал, как на пружинах, и метался по залу. Наконец он вернулся к сцене, остановился перед начальником разреза, похлопотал пальчиками левой руки и вдруг ловко извлек из-под лацкана иголку. Победно подняв ее над головой, поклонился.

Все ошарашенно молчали. Артист картинно поцеловал руку покрасневшей ассистентке, и зал обвалился аплодисментами.

Ах ты, черт! – ахнул третий секретарь. – Как это у него получается? Ах, черт! И тут же подумал, что этот Бендиткис сам черт и есть. Ну, не главный, конечно. Не генерал. Но точно черт. И в бесовской своей иерархии он, наверно, как завотделом. Нет, здесь ничего не могло быть подстроено. Он под колпаком. Но какие возможности, черт подери?! Это ведь можно на совещании у первого – запросто все-все прознать. Не то, что он говорит, а что думает! А? Но ведь так можно и... И тут третий секретарь аж задохнулся от фантазии, которая возникла в его голове, но, в силу ее абсолютной дерзости и просто невозможности, мы не будем раскрывать страшную тайну диковинного видения, посетившего воспаленный мозг партийного руководства.

Гипнотизер раскланивался со сцены. В зале закричали:

– Еще! Еще! Повторить!

И опыты продолжились. Артист еще несколько раз прятался за кулисами, комиссией сочинялись самые невероятные задания, как-то: открыть имя сидящего в пятом ряду на восьмом месте, найти и угадать номер бирки из гардероба, ну и тому подобное. Кто-то даже предложил, чтобы маэстро немедленно рассказал, чем он сегодня завтракал. Не маэстро, разумеется, а он сам. Сегодня.

В восемь часов утра. С мамой своей, Елизаветой Павловной. Но этот запрос отклонили, так как не было никакой возможности проверить, чем же в действительности завтракали мама с сыном. Однако все остальные задания, как они ни казались невероятны, с легкостью выполнялись гипнотизером, и зал все больше и больше воодушевлялся и уже с восторгом принимал любые шутки артиста, даже и те, которые некоторые умники считают вульгарными и плоскими. Лев Бендиткис вошел в раж. Он впадал в сомнамбулическое состояние, бегал по залу, дергался, как марионетка, потом торжественно давал ответ и, сопровождаемый рукоплесканиями, всходил на сцену, стоял в свете рампы, жмурился от наслаждения.

А как же гипноз? В афише было написано «ГИПНОЗ», вдруг вспомнил кто-то. «Гипноз! Гипноз!» – покатилось по рядам и докатилось до артиста. Тот взмахом руки успокоил публику и объявил, что он намерен продолжить телепатические опыты, а вот с гипнозом, товарищи, тут вышло очевидное недоразумение: он и не собирался демонстрировать силу внушения, тут, видимо, его неправильно поняли и написали неправильную афишу. Он оглянулся на директора Дворца культуры. Зал загудел. Нет, товарищи, сказал артист, правильно истолковав недовольство зрителей, я владею искусством гипноза, но мне кажется неуместным сегодня… Зал не дал ему договорить и заревел: «Гипноз! Гипноз!» Артист одним взмахом руки стер крики и обреченно бросил: «Хорошо!» Он насупился, помолчал и уже было собрался что-то объявить зрителям, как насторожился вроде разыскной собаки и растерянно стал оглядываться. Внимание его привлекли листы бумаги, сброшенные со стола неловкими заседателями. Он наклонился, подобрал сложенный вдвое листок – тот самый, на котором референт третьего секретаря пробовал свое вечное перо, – и, не разворачивая его, положил на стол, при этом внимательно глядя в глаза верному помощнику ответственного лица. Да что в глаза?! В самую душу смотрел гипнотизер! Референт Сережа окаменел, посерел лицом, осторожно взял листок и, медленно оторвав кусок компрометирующей записи, су-

нул его в рот и стал жевать, тщательно перетирая бумажку своими крепкими коренными зубами. Третий секретарь внимательно наблюдал за этим странным действом.

Однако зал ждал продолжения представления, и Лев Бендиткис оставил бедного референта и приступил к демонстрации гипнотических своих возможностей. Из зала был вызволен голубоглазый юноша, который, надо сказать, довольно спокойно и с немалым достоинством предложил себя для эксперимента. И опыты начались! «Спать!» – закричал гипнотизер, и юноша немедленно впал в спячку, но, как выяснилось, он уснул не совсем, так как мог запросто разговаривать.

– Как вы относитесь к алкоголю, молодой человек? – участливо спросил артист, больше напоминая в этот момент доброго доктора.

– Я не пью, – вполне внятно отвечал юноша.

– Что, совсем?! – недоверчиво спрашивал Бендиткис.

– Совсем, – подтверждал спокойно юноша.

– А мы сейчас это проверим! Выведем вас, так сказать, на чистую воду! – радостно кричал в зал гипнотизер.

Принесли не совсем чистый графин с водой, и комиссия, испив по очереди из граненого стакана, подтвердила, что это действительно обыкновенная водопроводная вода.

– А давайте выпьем? – задушевно предложил гипнотизер юноше и наполнил стакан доверху. – Сегодня же праздник. Какой сегодня день?

– Первое мая, – неуверенно ответствовал юноша.

В зале тоже как-то неуверенно засмеялись.

– Да! Первомай бушует на планете. Давайте выпьем водки? А? Это «Московская». Особая. За два восемьдесят семь. Или вы предпочитаете «Столичную»? А?

Он поднес юноше стакан, и тот, хыкнув, махом осушил его.

– Ах, закусить-то ничего у нас и нет! – захлопотал гипнотизер.

– Я после первой не закусываю, – мрачно сказал молодой человек, глядя на маэстро внезапно засиявшими своими голубыми глазами.

Все развеселились.

– Вот и славненько! Вот и хорошо! – заворковал гипнотизер, наливая, как говорится, по новой.

– Наливай с горкой! – крикнули из зала.

После второго стакана молодой человек покачнулся, но на ногах устоял. И как-то мгновенно обрюзг, постарел лицом, глаза его поблекли. А после третьего – вдруг совсем поник, расслабленно помотал головой, мутным взглядом обвел весь зал, что-то невнятно пробормотал – и рухнул на пол. Его бросились поднимать, поставили на ноги, однако ноги не держали.

– Готов! – объявил гипнотизер и поклонился публике. Та неистовствовала. Бендиткис обратился к подопытному.

– Вы просыпаетесь, – проникновенно сказал гипнотизер. – И ничего не помните. – Он легонько шлепнул ладошкой по лбу осыпающегося молодого человека.

И юноша немедленно преобразился – тело его напряглось, секунда – и он опять уверенно и крепко встал на ноги. Он растерянно улыбался. Зал давился от смеха.

А вот тоже дело, как-то гулко подумалось третьему секретарю горкома. Обладать такими способностями – это ж какие возможности открываются! Интересно, а по радио или там по телевизору эта штука действует? А если так, то сколько ж вопросов можно разом решить! И нужда исчезнет сама собой! Водку-то, ладно, пусть пьют, водка у нас дешевле воды, потом, опять же, после водки похмелье, а в похмелье человек всегда неуверенный в себе и виноватый. Конечно, и хлеб отрубями не заменишь. Никита уже пытался. Нет, хлебушек нужен натуральный. А вот в *остальном* перенаправить! Чтоб мыслей скверных у населения масштабно не было. Чтоб – как раньше! – чистая любовь была у народа – к Партии, понятно, к Правительству. Ну, там, к Родине. Хотя они ее и так любят. И слаще брюквы ничего для них нету. Ах, как славно-то было бы использовать приемчики эти гипнотизерские! Да во всю ширину, твою мать! Из всех искусств для нас важнейшее – гипноз! Вот где сила!

Представление продолжалось. Гипнотизер заставлял подопытных показывать свою профессию, и зал уже не

просто хохотал, а гыгыкал, свистел, щелкал, хрюкал и валился под кресла. Кто-то бегал по сцене, руля воображаемой баранкой, фыркал мотором и трубно сигналил, кто-то откидывал воображаемый уголек воображаемой лопатой, известная в городе швея-надомница, обшивающая всех модниц, но таящаяся от финансовых органов, ибо не имела заветного разрешения, явила вдруг всему свету свое искусство и сосредоточенно строчила на невидимой ручной швейной машинке, стрекоча, как заводная.

От желающих не было отбою. Тоня Гарусова – первая красавица в городе – несколько раз вставала со своего места, но более проворные зрители оказывались на сцене раньше, чем она успевала выйти из ряда. Тоня сердилась. Сам Гарусов только хмыкал: «Меня не возьмет! Никак не возьмет!»

Наконец, утомились. Смахнули с глаз слезы, подавили в себе нервный смех.

Покинули сцену недоумевающие участники представления, немало позабавив зрителей своим растерянным видом, ушли опасливо члены комиссии, и гипнотизер уже объявил, что чудесный вечер, вот, подошел к концу и что спасибо всем, кто принял участие в эксперименте, пусть не обижаются, кого невольно обидели, ну и так далее, как раздался звучный голос из зала: «А еще напоследок номер!» Это Гарусов не просил – требовал. «Еще! Еще!» – зашумели в рядах. «Ну, хорошо!» – устало сказал гипнотизер. Для исполнения последнего номера тут же и вышла дружная компания: весь распахнутый шикарный Гарусов с хихикающими Тоней и Зиной Соколкиной. Сам Соколкин категорически отказался, сказав, что в балагане он предпочитает быть зрителем. Гарусовы и Соколкины были давно дружны, часто бывали друг у друга в гостях и не только по праздникам, а и просто выпить рюмочку-другую коньяку, на первомайские и ноябрьские демонстрации ходили всегда вместе, брали на одном поле участки под картошку и даже семейно ездили летом в Евпаторию. И чего они полезли на сцену? Наверно, поддали перед концертом в буфете, а сейчас куражились.

Гипнотизер ловко усыпил всю компанию – и Гарусов

никуда не делся, – а потом предложил показать, чем они занимались в прошлые выходные. И пантомима началась! Тоня сразу повязала фартук и начала, напевая «Рулатэ, рулатэ, рулатэ, рула...» и легко танцуя, крутить мясо в мясорубке, чистить лук, плача при этом чистыми слезами, словом, изображала образцовую домохозяйку, затеявшую в воскресенье беляши. Кабы она видела, что происходит за ее спиной! А происходило за ее спиной вот что: Зина и Гарусов с растянутыми от улыбок лицами медленно стали сходиться. Зал замер. Тишина стояла невыносимая, слышен было только стук каблучков Тони – да еще ее невнятная песенка.

Зина и Гарусов остановились, туманно глядя друг другу в глаза. Вдруг Зина решительно взялась за гарусовский брючный ремень и потянула его. Брюки скользнули вниз, обнажив голубые кальсоны. Зал тяжело и опасно молчал. Потом раздался сдавленный женский крик: «Да что это, в самом-то деле?! Безобразие!» И зал зашумел, как Черное море. Славка Соколкин сидел помертвевший на балконе и видел, как выбирается из ряда отец, как он идет из зала прочь – с перекошенным красным лицом. Все смешалось. Гипнотизер быстренько всех разбудил, скомканно поклонился на ходу и исчез за кулисами. Тоня стояла остолбеневшая. Зина закрыла искаженное любовной мукой лицо руками и повалилась на стул. Гарусов, подхватив брюки, зарычал: «Что такое? Что? Где он?» – и бросился вон со сцены.

Расходились угрюмо. Авсей, сосед Соколкиных по дому, надвинув шапку-боярку по самые брови и вытянув губы, завел было: «Родила мама Зиночку, купила ей корзиночку – расти моя дочурка, подрастай! При публике столичной веди себя прилично...», но его пихнули локтем, и он умолк. Кто-то негромко ругнулся матом – только непонятно было, к кому относится эта брань. Стали вываливаться на широкое каменное крыльцо дворца и медленно расходиться по сумеречным улицам. Молчали.

Подошел автобус на Розу. Его не штурмовали, как обычно, а просто построились в очередь. Укатил третий секретарь со своим референтом, прихватив с собой Галю

Анцифирову из аппарата. За «победой», треща и тарахтя, рванулся Гена Бектышанский, склонившись над рулем воображаемого мотоцикла, помчался через площадь, скользя по ледяной корке своими разбитыми кирзовыми сапогами. Промчался – и канул в темноту.

Лев Бендиткис уезжал вечерним поездом «Роза–Челябинск». Вагоны медленно тащились мимо старого сумрачного отвала, который, казалось, наползал, наваливался на городок. Слева в окне проплывали затянутые темно-синей дымкой дома и пустынные улицы. Горели редкие огни. То ли от заоконного неуютного пейзажа с фиолетово-чернильными провалами, в которых сияли золотые кляксы фонарей, то ли от странного, морозного, пропахшего угольным чадом воздуха, что забивал ноздри даже в этом обшарпанном вагоне, вернулось тягостное чувство, которое все чаще и чаще приходило к нему. На его представлениях и раньше случались недоразумения, и он всегда досадовал, когда не удавалось закончить концерт триумфально. Но не это тревожило и давило душу. Он, обладающий чудесным даром, особой сверхчувствительностью, развитой упорными тренировками, ощущал всем своим обостренным свойством, всей своей тонкой натурой какие-то атмосферные изменения, чувствовал, что происходит что-то неладное в самом воздухе, что с фатальной неизбежностью – беззвучно и медленно, невидимо и неосязаемо – вздыбливается, надвигается, наползает какая-то чудовищная, мглистая, глыбистая лавина, подминая под себя большие и маленькие города и веси, всю всю огромную территорию страны, и он с ужасающей ясностью понимал, что рано или поздно эта сизая, грубая, пустая порода заполнит все поры жизненного пространства, завалит обреченно каждый уголок его, как губительный пепел когда-то засыпал веселые и беспечные Помпеи и Геркуланум.

2008

ФАНЗА
Маленькая повесть

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ

ФАНЗА

БУНТ

ФАНЗА
(продолжение)

ГОЛУБЦОВ

ИНОКЕНТЬЕВ

«В РАССУЖДЕНИИ
ЧЕГО Б ПОКУШАТЬ»

ПИСЬМО

СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО

ХАНДРА

Небольшое предисловие от издателя

Сандалов сгинул, аки обр, оставив после себя легкую память и тяжелую связку рукописей. Эта связка, перевязанная крест-накрест капроновым чулком, долгое время кочевала по его многочисленным друзьям, редко вызывая чувство любопытства, и вот однажды попала ко мне в руки. Не скажу, что я немедленно развязал ее, как развязывает юноша нетерпеливой рукой пояс девушки, да и то, надо заметить, эта толстая потасканная связка бумаг ничуть не отдавала целомудрием. Наоборот, от нее за версту несло перегаром и матрацами, не знавшими простыней, затхлым чуланом и грязной кухней. Но как-то, наводя порядок на антресолях, я обнаружил это махло и почувствовал себя этаким архивариусом, этаким собирателем бумажного хлама, в котором среди обилия пустяков ищешь жемчужину. Я недрогнувшей рукой полоснул по капроновому чулку кухонным ножом. Кипа безобразно вздулась и расползлась.

Перебирая захватанные потрепанные бумажки, я вдруг загорелся мыслью издать литературное наследие Сандалова, но, увы, повесть, которая привлекла мое внимание, обрывалась на самом интересном месте. Может быть, она где-то затерялась в нелегких его скитаниях, а может, и вовсе была не закончена, что было бы очень печально, ибо повесть эта показалась мне любопытным документом, написанным очевидцем и пассивным участником времени, которое у нас сейчас стыдливо именуют временем стагнации. Не беда, подумал я, что повесть не закончена, ведь нам интересны и «Штосс» Лермонтова, и «Театральный роман» Булгакова, но тут же прервал свои размышления, пораженный собственной дерзостью.

Время шло, я разбирал архив, все больше погружаясь в бумажные хляби. Уже собиралась книга стихов, небольшой цикл рассказов… И я вернулся к незавершенной повести. И решил, что начинать публикацию сандаловского наследия нужно именно с нее. И с этим необоснованным решением я пришел в издательство.

Глава 1. ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ

Это было какое-то сумасшедшее лето: то африканская жара обрушивалась на город, то ветер необжитых пустынь, то долгие и холодные дожди. Когда шел дождь, я открывал настежь окно, садился на подоконник и слушал полночь, и слушал, как дождь мнет кусты смородины под окном. Резко пахнет вишневым листом, липовым цветом, но нежный запах смородины, а не тяжелый, густой и терпкий запах лип, пронизывал мою душу сквозняком. Висячий фонарь во дворе дома освещал небольшой сад, листья вишни сверкали в дожде, и блики бродили по комнате, по желтым выцветшим обоям, скользили по унылому зеркалу в резной малиновой раме. Ветхий пропыленный тюль и зеленые шторы вздрагивали от порывов ветра – и тогда зеленый воздух комнаты мерцал, колеблясь, и светлые чешуйки бликов тонули в густом воздухе, в котором перемешались чудесные запахи табака, книг, теплой паутины и ночной свежести.

Иногда я выходил на улицу под дождь и бродил по пустынным улицам меж мощных лип и грозных зарослей сирени – в кромешной и великолепной ночи. Если дул ветер, я закрывал все окна и двери, задергивал шторы, зажигал крохотную настольную лампу с оплавленным плафоном и слушал, как гудит деревянный дом под напором ветра необжитых пустынь, как поет в печной трубе домовой.

В это лето я написал много стихов, в которых все это и осталось: и ветра, и дожди, и жара, и мой дом, и гулкая комната с открытым настежь окном и вылинявшими зелеными шторами, и огромные кусты смородины в саду.

Глава 2. ФАНЗА

К началу лета дела мои сложились печально: семейная жизнь расстроилась совершенно, из университета я был вынужден уйти.

Стипендию не платили, родители подкидывали рублей двадцать–двадцать пять в месяц, но что это – деньги?! Я вас спрашиваю, уважаемая публика, это деньги?! Пусть попробует кто-нибудь выучиться на эти деньги в незнакомом городе. На денежку хлеба, на денежку ква-

су… Пробовал подрабатывать – ни черта не получается. Наверное, я такой человек: могу делать только одно дело. А тут или учиться, или заботиться о животе своем. И декан скотина. Отказал в матпомощи. Группа подписала, профсоюз подписал, а он – фиг! Декан новый, такой энергичный, как пришел – говорит: «Я Касимова и Сандалова выгоню. Дайте время. На факультете порядок нужен. Порядок!» И выгнал, что вы думаете?! Евгениуса еще раньше, а я вот сам ушел. Под давлением финансового пресса. Декан политэкономию хорошо знал. Марксист.

Я нашел за двадцать пять рублей в месяц комнату в старом деревянном доме с полуподвалом, в котором ютились студенты. Они чувствовали себя там совсем неплохо и, платя по пятнадцать рублей маленькому скрипучему старичку, жили припеваючи, за глаза называя хозяина кровососом, паразитом и еще как-то интересно, когда выслушали курс лекций по энтомологии. Однажды в подвал забрел какой-то ханурик – попросить стаканчик, критически осмотрел низкие своды, сырые стены, полдюжины железных кроватей, интеллигентно осведомился, сколько платят за этот апартамент, и, узнав, в ужасе закричал: «Да он же… гладиатор!» – очевидно, перепутав гладиаторов с троглодитами.

Скрипучий старичок был первым нэпманом в городе. Еще когда о велосипедах здесь слыхом не слыхивали, завел себе отличную немецкую машину и, струя по воздуху длинный шарф и скаля великолепные зубы, гонял по булыжным мостовым, пугая обывателей никелированным звонком. Дружил он тогда со знаменитым тенором, и когда тенор приезжал давать гастроль в местной опере, они устраивали такие сногсшибательные попойки, что римские патриции в прах рассыпались, переворачиваясь в своих каменных гробах. Обыватели же только шляпы почтительно снимали, когда они со свистом и гиком неслись в лакированной пролетке пить пиво после жутчайшего похмелья. Пиво пили в беседке над Исетью, за Царским мостом, где жили иконописцы братья Романовы. В лавку посылали Федьку – младшего сына Гаврилы Романова. Федька приносил в плетенке дюжину пива и бутылку зубровки.

Потом к честной компании присоединялись Гаврила Семеныч с братцем Андреем, и Федька бежал в лавку уже за четвертью, которую мастеровые называли «гусыней». И тогда начиналось настоящее веселье, в котором первым номером всегда был он, красавчик Петька Зырянцев.

Было у него два дома – один спалили по пьяной лавочке, второй потихоньку догнивает среди лип и персидской сирени. В нем я и живу.

В генваре сего года скрипучий старичок преставился. Его озябшая скупая душа еще стучалась в дубовые двери чистилища, а приживалки уже копошились среди рухляди столов, диванов, комодов, сундуков и рябых зеркал. Со всех стен на них надменно смотрел усатый полководец. Старушки нашли грязную тряпицу со студенческими трешками, неспешно поделили деньги и уже потащили к выходу патефон и маленький телевизор, как в дверях, грозно сопя, встала тяжелая фигура в норковом манто. Гости съезжались на дачу.

Когда-то у старичка – тогда еще красавца спортсмена – была жена. Потом у них родилась дочь. Потом он их обеих прочно забыл. Но не забыла дочь своего сумасбродного папу.

«А ну, кыш! – заорала она так, что по углам комнат возникли маленькие смерчи. – Кыш отседова!» Старушки, ойкнув, побросали всю музыку и тихо-тихо мышками, мышками скатились по лестнице. На улице, вздохнув и плюнув по направлению к дому, они широко перекрестились и пошли прочь, запихивая плотнее за пазуху кто – кашемировый платок, кто – шаль из нежно-серого пуха.

Две недели наследница, хрипя и кашляя, перебирала тряпки, рылась в комодах, простукивала стены, поднимала половицы, даже пыталась разобрать печь, но когда ее чуть не прибило чугунной вьюшкой, она отступилась. Можно было подумать, что она свихнулась. «Сукин сын! – орала она голосом океанского теплохода. – Похабник! Утаил! С собой унес, паразит! У-у, паскудник!» Она стояла среди траченного молью белья, мелко тряслась, как свиной студень в эмалированном тазу, и пыль мелкими смерчами сворачивалась в углах. Приехал закопченный

вонючий грузовик, какие-то синюшные мужики быстро покидали барахло в кузов, наследница втиснулась в кабину, прогудела еще что-то портовое и, качнув якорями серег, канула в марево серой, дрянной городской зимы.

Через три месяца все угомонились, не найдя золотых червонцев, слух о которых упорно разжигался жителями полуподвала, настоящих наследников на дом так и не сыскалось (дочь подала в суд, но дело оказалось темным, наследницей ее не признавали – не было каких-то бумаг, нотариус ее не обнадеживал, но тем не менее она за дом боролась, судопроизводство вертелось, а пока же она чувствовала себя в доме хозяйкой и раз в месяц, тяжело скрипя половицами и перемещая под тонким шелковым платьем свои чудовищные телеса, поднималась наверх и, сидя за полуразрушенным столом, взимала плату за квартиру на правах родственницы безмятежно усопшего – упокой, господи, его грешную душу. Аминь!), те, кто жил в этом доме, так и остались в нем жить и ждать, когда его наконец снесут, и тогда каждый, согласно закону, получит комнату в новом красивом доме, похожем на рафинад. С пропиской у всех было в полном порядке.

Постепенно верхние комнаты наполнялись людьми если не случайными, то, во всяком случае, нежданными. Полуподвал затих, испытывая невольную робость перед пришельцами, – все они были поэтами, пьяницами и ужасными весельчаками. Жили они здесь на птичьих правах, но дань платили исправно, причем на десять рублей больше, чем обитатели нижнего этажа (за вид из окна). Но скоро им надоело быть данниками, и они устроили бунт. Они давно уже узнали, кто такая «хозяйка», смекнули, что к чему, сходили для верности к нотариусу, посовещались с полуподвалом, и однажды…

Глава 3. БУНТ

– Ну-у, мальчики, денег не плотим вторую неделю, нехорошо, – сопела и пыхтела наследница, играя мясами.

Мальчики возлегали на продавленных диванах и нагло щурились.

– Лежите, паршивцы, никакого в вас такту нет. Хоть бы встали, когда с вами дама разговаривает.

Паршивцы сощурились еще наглее.

– Та-ак. Оборзели. Забыли, кто вы здесь? Забыли. Ну, так что? Будем платить?

Самый наглый из паршивцев встал и заблеял:

– Видите ли, глубокоуважаемая…

– Ты! Чего это?

– Все дело в том, дорогая маман, что денег нету… Дыряв карман, – вдруг срифмовал паршивец и для наглядности вывернул сначала один карман, а потом другой. Карманы и в самом деле оказались дырявыми. Паршивец сделал шикарный жест.

– Сик транзит глория мунди!

Латынь он бросил на стол, как кошелек, набитый серебряными сестерциями.

– Замолчь! – мадам стукнула ладонью по столешнице. – Кривляешься тут передо мной! Перед матерью своей кривляйся, если она у тебя есть, выблядок несчастный!

Она снова стукнула ладонью. Ножки стола потихоньку поехали в разные стороны.

– Маман! Зачем же мать-старушку обижать. Мы же вашего батюшку не несем по матушке. И то правда – лихой был старичок. Царствие ему небесное! – он поискал глазами икону и, не найдя ее, твердо перекрестился на портрет усатого полководца.

– Ст! – мадам еще раз хлопнула ладонью, и вдруг ножки стола разъехались совсем, и стол с грохотом рухнул, обдирая ее шелковые чулки. В дыры полезло сиреневое мясо.

– А-а, поганцы! Изгиляетесь? Изгиляться вздумали? – она неожиданно успокоилась и широко и страшно улыбнулась железными зубами. – Ну ладно.

В дверях она еще раз улыбнулась и покивала головой.

– Ну-ну.

– Глубоконеуважаемая! Подите вон! – сонно сказал самый паршивый из паршивцев, приняв царственную позу.

Она ушла, пыхтя и лязгая, как паровая машина.

Через два дня пришел участковый. Он покрутился

во дворе и взошел в комнаты. За собранным столом чинно сидела честна кумпания и пила чай из помятого самовара.

– Чай пьем? – недобро спросил участковый и покрутил головой. В комнате было чисто. На диванах лежали открытые книги.

– Так точно, товарищ старшина! Пьем чай. Разрешите продолжать?

За столом воцарилось молчание.

Участковый смутился. Он молча вперился взглядом в портрет, висящий на стене.

– Да вы садитесь, чего там, – сказали ему. – В ногах, как говорится, правды нет… Но правды нет и выше.

Старшина смутился еще больше, сел.

– Так. А где хозяева?

– А хозяева… того, преставились. Еще зимой.

– Да нет. Я спрашиваю, где теперешние?

– Значит, это мы будем, – все напряженно смотрели на милиционера.

– Паспорта, – кратко и тяжело сказал тот.

Принесли паспорта. Изучив трепаные книжицы и обнаружив в них лиловые штемпеля паспортного стола, участковый несколько приуныл.

– А ваши? – кивнул он троим, сосредоточенно дующим чай из блюдец.

– А мы гости, – сказали все трое наперебой. – Да-да. Мы здесь не живем, мы в гости зашли, – радостно заговорили они. – Зашли вот, знаете, посмотреть, как живут однокурсники.

– Тоже студенты, что ли? – строго спросил участковый.

– Да-да! Скуденты, знаете! – еще радостней и дружелюбней закивали головами трое. Остальные тоже покивали головами.

– Эк! – крякнул участковый. Посидел, помолчал. – Ну, ладно. Пойду. А вы смотрите, чтоб тут порядок был, – сказал он строго, как говорят отцы своим в общем-то послушным детям. Так, на всякий случай.

– Шопенгауэра читаете? Зна-аю вас! – он погрозил

пальцем. – Студе-енты! Ницше, понимаешь, Шпенглер… Зна-аю.

Эрудит милиционер встал и опять напряженно замер, удавом глядя на портрет.

– От хозяина осталось, – пояснили ему. – А нам без надобности. Отдать бы кому.

– Это вы серьезно? – недоверчиво спросил милиционер.

– А что? Заберете? Мы вам с удовольствием.

– Ну, не подумайте чего… – смущенно начал милиционер.

– Берите, берите, – заговорили все сразу. – Нам без надобности.

Портрет мигом содрали со стены, стали протирать пыльную раму.

– Как же я его понесу? – сокрушенно засуетился милиционер.

– Извольте-с.

В руках одного из гостей появилась ржавая опасная бритва. Раздался треск, и через секунду аккуратно вырезанный портрет был свернут трубочкой.

– Пожалте. Дома рамочку сколотите, натянете, и будет ажур.

Участковый степенно поблагодарил и, утерев пот со лба, вышел. На стене остался висеть светлый квадрат, увешанный, как аксельбантами, толстыми скатками тенет.

– Ну что? Нашей тете – репку?

Тут обормоты сварганили пиво и пошли его пить на завалинку. Там солнышко.

Глава 4. ФАНЗА (продолжение)

Поэты прочно подружились с полуподвалом. Иногда они спускались вниз и, просиживая с его обитателями за грудой бутылок красного вина долгие и темные вечера, вели беседы, ошеломляя всех своей дерзостью, лукавством и просто враньем. Потом они поднимались наверх, ведя под локти восторженных почитательниц их талантов, уже порядочно осоловевших. Девочки, учившиеся на фило-

софском факультете первый год, держали себя независимо и свободно. Сбросив рабские цепи родительского дома, они вкушали сразу все запретные плоды. О, этот искуситель, зеленый змий! Оскальзываясь впотьмах на крутых ступенях и прижимаясь мокрыми губами к бледным лицам кумиров, они шептали: «Ах, какая прелесть, мальчики! К-какая прелесть!». Мальчики, изгнанные из университета студиозусы, уверенно вели девочек в покои, еще немного пили, потом все парами разбредались по комнатам.

– Знаете, у нас есть собака, – важно и печально говорила миленькая чернушка, расстегивая лифчик. – Она такая умная! Мы ее прозвали Кантом. (Здесь нужно было тонко улыбнуться.)

В соседней комнате происходило то же самое, с разницей, что миленькая была рыжей, а собаку звали Гегелем.

Утром обожательницы, смущенно хмыкая, исчезали, а предметы обожания оставались дрыхнуть поперек кроватей. Потом предметы вставали, шатались по городу в поисках случайного заработка, пили пиво на случайную мятую трешку, а ежели заработок находился-таки, к вечеру пир стоял горой. Когда надоедало пить, предметы вспоминали о своей поэтической сущности и писали стихи, которые никогда нигде не печатались.

Лето катилось клубком – сумасшедшее лето, полное дождей, ветров, жары и долгих разговоров «за поэзию», «за литературу». Естественно, под бутылочку. Естественно, на завалинке.

А почему фанза? Это вы узнаете из следующей главы.

Глава 5. ГОЛУБЦОВ

Была весна. Была весна, и хотелось жить. Я открыл глаза и обалдел: посреди комнаты стоял огромный детина в нахальной рыжей кепке. Нет, это был не морок. Детина насмешливо осматривал стены и подергивал плечами, как бы примеривая новое пальто. Увидев, что я проснулся, он вздохнул и достал из кармана пиджака бутылку вина.

– Меня зовут Вахтисий, – сказал он и достал из другого кармана промасленный пакет. – Я буду здесь жить.

Заметив мое недоумение, он добавил:

– С хозяйкой я договорился.

Черт! Как он попал сюда? Дверь на крючке... Я посмотрел на открытое окно. Детина рассмеялся.

– Совершенно верно. Я влез в окно.

Он снял кепку и пустил ее по комнате, тряхнув своей соломенной башкой. Кепка шлепнулась на чайник, и чайник сразу стал похож на последнюю шпану.

– Пишешь? – с ухмылкой спросил детина и кивнул на ворох бумаг, лежащих на столе. Его широкое асимметричное лицо совсем перекосилось.

– Этого делать не надо, – сказал он. – Все уже написано.

Он стал ковыряться в пробке.

– Вставай. Петушок ужо пропел.

Да, я все еще лежал в постели, как обалдуй. Была весна, но жить уже хотелось меньше. Я встал и начал медленно одеваться. Кепка пылала нахальством, а чайник пыжился, ну как распоследняя шпана. Пробка отскочила, и вино брызнуло на чистую бумагу.

– Как зовут тебя? – кривя губы, надменно спросил детина. Только тут я заметил, что он был вдребезги пьян.

– Христофором, – отвечал я серьезно.

Он заржал.

– А я Вахтисий! Слышь! Вахтисий! Ах-ха-ха! Христофором!

Я аж задохнулся от бешенства.

– Меня зовут Христофором, – еле сдерживаясь, сказал я. – И если это кого-то веселит, то я смогу заставить проглотить его это веселье.

– Ну-у? – с невыносимой симпатией он посмотрел на меня. – Ну не сердись. Я думал, ты шутишь. Давай-ка, брат, выпьем за знакомство. Меня Серегой зовут.

Сопротивляться было бесполезно.

Голубцов учился в университете. Потом его выгнали. Он уехал на Дальний Восток и год работал в краевой газете. Он писал стихи – и хорошие. Он написал книгу стихов, которую никто не хотел издавать: стихи пугали

своими размерами и каким-то перекошенным (как и его лицо) виденьем мира. Они были то косноязычны, как язык пращуров, то жемчужно совершенны и просты. В стихах было напряжение океана. Сухая черная пыль поднималась столбом над землей и буравила небо, за которым была беспредельность космоса. На планете жили люди и звери. Из земли росли трава и деревья. Над планетой парили на перепончатых крыльях птеродактили, на железных – супербомбардировщики, на простых – птицы и ангелы, на прозрачных – люди. Где-то в царстве берестяной музыки жила любимая.

Он уволился из газеты и приехал восстанавливаться в университет. Вещей почти не было. Была огромная связка рукописей. Рукописи он небрежно бросил в угол. Он был графоманом самого высшего класса. Он мог писать о чем угодно, на чем угодно и когда угодно. Из него перли молодость и талант.

– Мы с тобой подружимся, Кристобаль, – говорил он заплетающимся языком. – Я зна-аю. Подружимся, натурально. Ты мне нравишься. А стихи ты пишешь плохие. Плохие стихиты. Изячные. Но ты не слушай меня. Ты все равно пиши. Мы их напечатаем – хочешь, в «Юности», хочешь, в «Молодости». Говоришь, нет такого? Значит, мы его оснуем… основаем. Тьфу, черт! Мы в этой фанзе знаешь как славно заживем? Где? В фанзе, натурально. Ну да, фанза. Даром что четырехскатная. Это четырехскатная фанза. А я в настоящей жил. У меня подружка была – китаянка. Эх! Еще по одной! Ап! Давай я тебе стихи почитаю. Новые. Вчера в поезде написал.

Глава 6. ИНОКЕНТЬЕВ

Он вошел, стуча копытами и позванивая железными рублями в кармане. Его голубые глаза светились, а волосы пенились. Это был молодой Пан. Серега восхищенно протянул ему руку.

– Шура, – с вызовом сказал Пан.

Он поскреб подбородок и осторожно принюхался. На кухне варилось мясо.

– Надо бы лаврушки кинуть, – сказал Пан. – И перцу, побольше перцу!

– Вот это да! – заржал Серега.

Пан крутнулся на одной ноге и исчез. Появился он через пять минут, громыхая полудюжиной «Каберне».

– Это очень хорошее вино, – объявил он. – Я знаю. Полезно для желудка.

Мы пили вино стаканами и молча терзали мясо. Потом взяли недопитое и пошли на завалинку. Пан угрюмо хмелел и глухим голосом читал Мандельштама.

Шура был физиком-теоретиком. Он учился в Ленинграде – призрачном городе. Он был хорошим мальчиком и учился на четыре и пять. Он не пил даже пиво и хотел получить Нобелевскую премию. Но однажды он зашел в букинистический магазин на Невском, и старый букинист влил ему в ухо яд. И Шура погиб. Через полгода он ушел из института. Он вернулся на Урал и оформил перевод в университет. Физику он знал, но не любил, точнее, не очень любил. Он до безумия любил литературу. Он знал наизусть «Божественную комедию» в переводе Лозинского и «Фауста» в переводе Холодковского. Пастернаковский перевод ему не нравился. Он знал наизусть «Соловьиный сад» Блока. И еще много чего он знал наизусть – память его была бесконечной. Был он резок, скор, во хмелю буен.

Мы сидели на завалинке и горевали по утерянной Нобелевской премии.

– Может, Государственная сойдет? А? – робко спросил Серега. Шура замотал кудлатой башкой и пустил длинную прозрачную слезу в стакан.

Глава 7. «В РАССУЖДЕНИИ ЧЕГО Б ПОКУШАТЬ»

Нас тошнило от голода. Оставались четыре картофелины и на два пальца подсолнечного масла в бутылке. Кончились пиры, кончилось золотое времечко, когда стол прогибался под тяжестью жирной и пряной еды, когда в широких толстых стаканах (из богемского стекла, господа, из богемского стекла!) розовой пеночкой вскипало

вино, когда в глубокой сковородке, шкворча, тяжело хлопала яичница из пятидесяти яиц, которая – о гурманы! – была посыпана тертым зеленоватым сыром, когда нежнейший воронежский окорок, украшенный петрушкой и кинзой, резался на ломти без счета. Кончился праздник, наступила полоса безденежья, призрак рыскал по двору, призрак голодной смерти, – он являлся то в виде облезлой собаки, то – невидимый – погромыхивал ночью пустыми банками из-под кильки в томатном соусе.

«В рассуждении чего б покушать» я решил снести несколько стихотворений в какой-нибудь журнал. В городе их было два или три. Я выбрал самый толстый в надежде, что там и гонорары толще. Стихи возьмут, думал я, должны взять, и я попрошу аванс (кажется, так это делается?) или в крайнем случае возьму в долг. Так думал я, неспешно идя в редакцию.

В отделе поэзии никого не было, и я сидел в холле, курил, независимо поплевывал и размышлял, куда дену такую прорву денег. Поэтам хорошо платят, думал я. Хорошо быть поэтом. Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать. Хорошо бы, взяли строк двести. Даже если по рублю за строчку – это будет… И тут я отчетливо услышал нежный шелест купюр и ясно увидел две аккуратные желтые пачки в банковских обвязках.

– Вы ко мне?

Передо мной стоял маленький человечек, однако с очень крупной головой. Волосы его были распахнуты, как крылья у птицы. Я узнал его. Это был повсеместно известный поэт. У него было пятнадцать поэтических сборников – и все с какими-то шикарными названиями: то ли «Меты», то ли «Засеки», то ли «Зарубки». Поэт смотрел на меня, и в глазах его была отеческая усталость.

– Я в отдел поэзии.

Он протянул руку к папке.

– Я вместо заведующего отделом поэзии.

Я не успел опомниться, как мои стихи были извлечены из папки, и – будто ветер влетел в окна – рукопись заклубилась, зашелестела. Поэт зарылся в стихи с головой, хищно покачивая крыльями волос. Через пять ми-

нут он сложил стихи стопочкой, достал папиросу, закурил и тускло посмотрел на меня. Мне чуть дурно не стало, но это от приступа голода, подумал я, наверное, поджелудочная барахлит.

– Видите ли… э-э… ваши стихи напоминают мне зарифмованные подстрочники зарубежной поэзии. Да, это так. Я вот недавно читал. Напоминает. Что-то такое вот английское. Или американское? Нет, я ничего этим не хочу сказать. Но факт. Вы, безусловно, э-э… талантливы, и писать вам, если хочется, то пишите. Ах, если бы вы нашли тему! Нашему журналу нужны темы! Ну хоть что-нибудь бытовое – только чтоб сочно! Ярко! Или, например, социальное, так сказать. Но чтоб не тривиально. Или вот производство. Сложнейшее, понимаете ли, дело. Крекинг там, гидролиз. Ведь, казалось бы, проза, а штришками эдакими легкими, штришками, флер эдакий легкий набросить – романтическое может стихотворение получиться! Или упруго, мощно: «В сиянье синих плавок встает Урал…» Это я цитирую. Хорошо? А? Это эпично! Или вот тут у вас про озеро, что оно обмелело, высохло, пропало… А вы напишите, что это завод во всем виноват! Да-да! Завод спускал в озеро отходы – и вот результат. Смотрите, как сразу заиграет стихотворение. Большая смысловая нагрузка появится. Экологично, проблематично! А то – пейзажик! Конечно, красиво, но это и плохо. Вам нужно избегать всяких красивостей. Вот у Пастернака есть… э-э… что-то там про зиму, что-то она там падает у него… э-э… как гипсовая статуя… так, кажется… это красиво. И вот впечатляет. У вас вот тут тоже зима… э-э… как тут у вас? Ага! Вот! Так, так, так! Ага! Ну, тут у вас слабовато. Тут у вас что-то есть, но не впечатляет! Нет! А вот если бы мы взяли… Ну, хотя бы… Вознесенского! Да! Самого, так сказать, современного – то у него, конечно, много неудач, но! Есть строки! Строки есть! Вот даже про зиму. Там у него все точно, и я бы даже сказал – изящно. Или возьмем Блока! А? Помните у него про зиму? Что-то там… «вихри снежные крутя». Что-то так, примерно. Вот как надо бы! Надо, чтоб точно, с мыслью, с остринкой. А вы пишите! Пишите! Приходите к нам еще! Будем рады вас видеть. Только не так сразу. Через год. Через два.

До свидания! Всего доброго! Всего наилучшего! Творческих вам успехов!

Ошалевший, я шел по улице. Какая-то дворняга привязалась ко мне, но я так на нее посмотрел и, видно, такое было в моих глазах, что она, поджав хвост, с жутким воем кинулась в переулок.

Возле газетного киоска я остановился, чтобы купить сигарет. Выгребая из кармана последние медяки, я вдруг увидел за стеклом маленькую книжицу моего сокрушителя. Книжица игриво называлась «Пень-пенек». Я вспомнил предыдущие названия его книг и подумал: «Несчастный! Он, наверное, раньше работал лесорубом или лесником, а сейчас вынужден – у него просто не было иного выхода! Большая семья! – работать в отделе поэзии самого толстого журнала нашего региона. Он сам понимает, что не на своем месте, потому-то у него и глаза такие тоскливые. Злодей редактор! Зачем, зачем ты мучаешь бедного лесовода?!» Я отдал за книжицу последние сорок копеек, на которые рассчитывал купить сигарет, прочитал ее, не отходя от киоска, бросил в урну, плюнул и с легким сердцем пошел «на фанзу», где дрыхли други мои, ополоумевшие от голода.

Глава 8. ПИСЬМО

В Абхазию, п. Конналинн,
Петеру Бахману

Здравствуй, брат Петер! Тысячу лет тебе не писал, господитыбожемой! С тех пор, как мы не виделись с тобой, жизнь моя пришла в совершенный беспорядок. С женой я наконец развелся, хотя и против был и уговаривал начать сначала, но увы! Она настояла на своем, и тут я чувствую руку своей дорогой тещи. Бывшей тещи. Последние дни нашего супружества были невыносимы: вся дрянь так и выплеснулась наружу. Не скажу, что я был тих и благороден – нервы не выдерживали эти каждодневные дрязги. И чего я только не наслушался: и что тунеядец я, и графоман, и люблю-то жить на всем готовеньком, и сосу кровь из своих родителей, и безответственный и бесхарактерный, и так далее, и так далее, и так далее. Теща со мной не разго-

варивала, но Светка капала на мозги постоянно. Светка славная, но глупенькая, я устал бороться за нее. Да и влияние матери оказалось сильнее. Ты знаешь, мне кажется, что я ее еще люблю. Хотя заметная прохлада в отношениях наступила уже давно. Беда в том, что нам негде и не на что жить. Мы полностью зависели от ее родителей, а родители против меня. Ну не нравлюсь я им, не могут они меня переварить, хотя желудки у них луженые. Им нужен зять видный: чтоб юристом был (или врачом, на худой конец), чтобы квартира была, чтобы денег много получал, чтобы любезничал с ними по субботам за бутылочкой. Ничего у меня такого нет. Они меня за шпану держали. Во всей этой истории мне больше всего жалко Кешку. Сейчас-то они его все любят, а как зудели, чтоб Светка аборт сделала. И ведь она согласилась! Но Кешку я отстоял. А сейчас остался в стороне. Ну да бог с ними. Я сейчас спокоен – перегорел. А было плохо, брат, ой как плохо! Только тебе в этом и могу признаться.

Да, из университета меня турнули (Касимова, кстати, тоже. А он ходит – рот до ушей, говорит, это хорошо, а то латынь совсем забодала – он ее четырнадцать раз сдавал, – я, говорит, в Литературный институт поступать буду, там латыни нет и спрашивают не по учебнику). Ты Сумкина помнишь? Он сейчас деканом стал, он и устроил этот разгон. А был-то? Тьфу! Гриб-сморчок! Сейчас бегает такой энергичный – все порядок устраивает и глазами так страшно крутит.

Компания у нас сложилась крепкая, живем вместе, один хлеб едим. Недавно выступали в консерватории, было человек сто, не больше, но аплодисмент сорвали бурный. Ужинали аплодисментами. Печатать нас – не печатают, вот так и ходим по «огонькам», по «вечерам» да по «утренникам». Выпендриваемся. Все смотрят с опаской: поэты. Пригласили выступать в ДРИ (на мероприятие!). Мы, конечно, согласные. Пришли, сидим. Никто не замечает. А народу! И все поэты! Заводские, клубные, институтские! Началось. Какое-то литобъединение – «Разбег» называется – на сцену выперлось. Все наглые. Начали читать. Инокентьев аж винтом завернулся, не можу, говорит, больше, айда в

буфет пиво пить, пока есть. Но сидим. Барды городские вышли – тут такое началось! Андрюша Борисов поет что-то сильно жалостливое, зал свистит, потом огрызок яблока – бац в рожу! Ушел с достоинством. Мы уже совсем офонарели, потихоньку линяем, к нам какой-то толстый – распорядитель, что ли, у него значенье на лице написано, – а вы куда? А кто такие? Из какого такого литобъединения? Кто руководитель? Голубцов ему: а мы и не поэты вовсе, мы вообще-то змееловы, а счас в отпуску. Пошли пиво пить.

Как ты там? Ах, хорошо бы сейчас к Понту Эвксинскому! Я все тот февраль вспоминаю, помнишь ли ты? Какая непогода была, шторм, дождь редкий, крупный, бамбук за окном шелестел, когда уходили по утрам на море, шли по крепкой чистой гальке, волны тяжелые хлопали в берег, пена клочьями, а горы в тумане – и не видно вовсе, только ощущаешь спиной. В такую погоду сидеть в теплом дому, слушать море, роман писать… Ах, черт возьми!

Обливаюсь слезами горючими, ничего не вернешь. А засим – прощай, брат Петер!

Твой Христофорус.

Глава 9. СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО

Дом – большой и светлый – стоял посреди города. В доме было восемь подъездов и девять этажей. И жили в доме две тысячи человек. Все они были друг другу не чужие, потому что работали на одном заводе. Завод был не простой, а… Ну, в общем, понятно, что это был не простой завод, и делали на нем, конечно, не солонки и перечницы, не ножи и вилки и прочие полезные в быту предметы. Потому что Урал – опорный край державы, как сказал поэт. А люди на этом заводе были самыми простыми, без заскоков и завихрений, потому что такое производство.

И жил в этом доме некто Сандалов – большой чудак и воображала. А жил он в чужой квартире, и было ему от этого не по себе. А в чужой квартире он жил потому, что никогда у него не было ни кола ни двора. И когда он женился, то поселился с тещей и тестем – у них квартира была трехкомнатная. Им с женой выделили комнату.

Сандалова теща не уважала, потому что он не понимал, в чем смысл жизни, и был студентом, разгильдяем, шпаной, дармоедом, но много о себе воображал. Кроме того, Сандалов много читал по ночам, а электроэнергия все-таки денег стоила. Потом еще Сандалов писал стихи, что было и вовсе неприлично. Когда появился маленький Сандалов, это было непонятно. Потом к маленькому привыкли, но к Сандалову никак. И еще: он хоть редко ел, но много. Ему намекнули, что, может быть, у него солитер? Нет, без обиды. Хорошо бы провериться. Вот Николай Сергеевич тоже раньше много ел, а потом оказалось, что у него солитер. Он его вывел и стал есть гораздо меньше. И совсем было возмутительно, что Сандалов иногда исчезал на два-три дня, а появлялся с опухшей рожей. И был он неразговорчивым и гордым. Но можно быть гордым, когда есть деньги, а когда денег нет, можно и поклониться.

Дочь родная – просто дура, что пошла за такого задрыгу. Есть мужики и получше. С квартирами. И с деньгами. И с профессией.

Николай Сергеевич на Сандалова бочку не катил. Ему было все до фени. Иногда перекинутся парой слов, Николай Сергеевич щелкнет упруго хвостом по линолеуму и катится к себе в комнату приемник паять, кастрюлю лудить.

Так скоротали зиму. А весной Сандалова выгнали. И так, слава богу, сколько терпели его. У Сандалова от огорчения кровь носом пошла. Он даже застрелиться хотел, но где револьвер взять? Из авторучки не застрелишься. Перетерпел Сандалов. Нашел себе комнату, перевез книжки, стал жить дальше. Стихи у него пошли светлые, легкие. А тут и Голубцов с Инокентьевым объявились. Завертелось лето каруселью. Ко всему привыкает человек, и Сандалов привык к новой жизни.

Глава 10. ХАНДРА

Голубцов впал в хандру. Он угрюмо лежал на неприбранной постели и оловянными глазами глядел в потолок. Иногда вставал, искал чистый листок бумаги и что-

то торопливо на нем чиркал прозрачной шариковой ручкой. Ручка была почти пустая, и крохотный запас траурной пасты становился все меньше и меньше. Если чистого листа не находилось, то он брал какой-нибудь исписанный и писал на обратной стороне.

Он перестал мыться и не брился уже несколько недель. Грязная клочковатая борода торчала во все стороны. Над бородой тускло светились безумные глаза. По ночам он кряхтел, ворочался, потом вставал, искал бумагу, не находя ее и чертыхаясь сквозь зубы, брал «Литературную газету» и писал на ней при свете луны аршинными буквами. Похоже, что он сходил с ума.

Когда мы с Шурой варили какой-нибудь дрянной супчик, он делал вид, что это его не касается. Мы звали его за стол, он виновато улыбался, тихо садился, шумно жрал. Потом он опять ложился хандрить. Мы с Шурой выходили на завалинку покурить и горестно молчали, поглядывая на треснувшее окно, за которым моталась грязная борода. Фанза была в запустении, мусор лежал терриконами, книги куда-то исчезли.

Начиналась осень. Северный ветер рвал пожухлую листву, моросил нудно дождь, в душе было холодно и пусто. Стихи кончились. В комнате в шкафу на пыльной полке лежала тонкая синяя папка. Книга стихов «Дом во все времена». Трезвой бритвой по горлу была мне эта осень.

На этом рукопись, повествующая о горестной жизни Сандалова и его друзей в странноприимном доме, обрывается, но остается надежда, что остальная часть повести отыщется когда-нибудь, а если нет, то, очевидно, придется, подобно палеонтологам, восстанавливающим по одной косточке весь скелет, предположить дальнейшую судьбу героя. Кто-то видел Сандалова в Москве, но слышал я также, что Сандалов вернулся в городок, откуда он родом, чтобы наконец засесть за капитальный труд о времени и о реке.

Е. К.

1983

РАССКАЗЫ

СТАРУХА

БОЛЬНИЧНЫЙ САД

НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ

ВЕТЕРАН

ПОСЛЕДНИЕ ПОСЕТИТЕЛИ

КОНФЕТКИ-БАРАНОЧКИ

КАКТУС ПО ИМЕНИ КОЛЯ

ВРЕМЯ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Святочный рассказ

КАЗИНО ДОКТОРА БРАУНА

СТАРУХА

Старуха каждый день собирает чемоданы. Она встает часов в десять, когда все уже давно на работе, и начинает собирать вещи в тяжелые фибровые чемоданы.

– Охо-хо, – бормочет старуха, – без четверти девять уже.

Приглаживая космы желтыми ладошками, она идет на кухню пить чай. Пусть заварка скверная и хлеб черствый – чай она пьет долго, со вкусом. Она макает корочки в бледно-лимонный кипяток, аккуратно ест, беспрестанно смахивая со стола крошки себе в ладонь. Потом она моет посуду. Посуды много – осталась после вчерашнего дня. Старуха моет плохо, оставляя жирные пятна на тарелках. Ее опять за это будут бранить, но она об этом пока не знает. Ну вот, слава богу, посуда вымыта – старуха идет в большую комнату.

– Охо-хо, – шепчет она, – без четверти девять уже...

Большие настенные часы в деревянном корпусе встали пять лет назад, но старуха этого не заметила.

Старуха медленно и старательно одевается. Старательность вообще в ее привычке: если начнет, например, пол мести, то своими жесткими пальцами из ковра каждую соринку вытащит. Она напяливает одну кофту, другую, одергивает их, одергивает. Кофты буро-зеленого цвета, локти продраны. Старуха надевает тяжелое зимнее пальто, валенки, повязывает на голову обремканный кашемировый платок и, забыв про чемоданы, выходит из квартиры. Она уже дошла до лифта, но забыла, зачем вышла, – тогда она возвращается, но беда! беда! – забыла номер квартиры. Тогда она пробует наугад.

Звонок не работает.

В другой квартире никого нет.

Из третьей высунулась лохматая голова и заматерилась. Старуха пугается и семенит прочь. Она спускается этажом ниже и тычет корявым пальцем в звонки, и снова пугается, и скользит бесполой тенью дальше, и, совсем обессилев от непонятного страха, садится на бетонные ступеньки и пригорюнивается. Так она сидит – может,

час, может, два, – потихоньку дремлет, иногда вздрагивая от стукотни дверей, от лязга лифта, от протяжных порывов ветра за ровно сияющим окном лестничной площадки. Тут ее находят сын и сноха, пришедшие на обед.

– Что? Опять?

Ее ведут домой, раздевают и кормят обедом.

– Ты ела? – спрашивают ее.

– Ничегошеньки я не ела и не пила.

Ест она долго, тщательно пережевывая. Съев тарелку борща, она вынимает вставную челюсть и украдкой обсасывает ее.

– У-у! Противная! – говорит сноха.

Старуха, тонко постанывая от удовольствия и ничего не слыша, идет в большую комнату и там садится в кресло с высокой спинкой. Так она сидит, дремлет, пока не наступят сумерки.

Короток зимний день. Старуха медленно встает, покряхтывает, зевает, подходит к окну, откидывает тюль, долго смотрит на улицу, где закипает легкая метель. Потом идет к часам.

– Без четверти девять, – говорит старуха с удовлетворением. – Нет, у нас так темно не бывает.

Старуха идет на кухню пить чай.

Старуха тоскует по сладкому. Она берет сахарницу и сыплет через край сахар в рот. Крутит губами, чмокает.

Что-то скрипнуло в глубине квартиры, и на старуху нападает страх. Она осторожно ходит по комнатам, пугливо ежится, заглядывает в ванную, в уборную, опять в ванную, в спальню, во все кладовки, во все закоулки. Поняла, что одна, успокаивается, но какая-то темная сила толкает ее – ей страшно! Она опять ходит и ходит по квартире. Двери поскрипывают, постукивают.

Приходит с работы ее сын. Это ее младший сын.

– Федя! – ласково встречает его старуха.

– Совсем сдурела, старая, – ворчит сын.

Его зовут Александр. А Федор – это брат старухи. Он иногда заходит проведать сестру. Все остальные братья и сестры давно умерли, но старуха забыла это и часто говорит о них как о живых.

– Сколько, сколько время? – спрашивает она, волнуясь. – Ах, поезд уйдет, – бормочет она.

– Какой поезд? – кричит сын. – Куда? Куда?

– Домой, домой, – говорит старуха в беспамятстве.

Приходит с работы жена Александра.

Ей в свое время досталось от старухи. Когда-то старуха была властной и вредной, сноху свою прижимала к ногтю, а та была сиротой, воспитывалась в детском доме – тихоня тихоней. Но уж сейчас-то она старухе спуску не давала – придиралась к ней, потихоньку куражилась.

Старуха стоит у окна.

– Нет, у нас так темно не бывает, – говорит она.

– Где это «у нас»? – иронично спрашивает сноха.

– У нас, в Свердловске.

– А сейчас-то ты где? – еще ироничнее спрашивает сноха.

– В гостях, у брата. У брата… Иоиля.

– Дура ты, дура старая! Иоиль помер давно! – сноха ну просто покатывается со смеху.

– Нет, не помер, – неожиданно твердо говорит старуха. Она гордо выпрямляется, и в глазах ее мелькает что-то осмысленное. Но через секунду она уже смешалась, забыла, о чем речь, и вдруг – лезет целовать сноху. Дескать, голубушка… Это у старухи бывает.

Сноха змеей вывернулась и, воровато оглянувшись, бьет старуху по лбу костяшками пальцев.

– Ой-ей! – плачет старуха. Она садится в кресло и противно всхлипывает. Она хочет, чтобы ее оставили в покое.

– Ты грязная, вонючая обезьяна, – с наслаждением говорит ей сноха.

Приходит с работы старшая дочь Александра. Она работает учительницей в музыкальной школе. Она очень устала и хочет спать. Только она укладывается в своей комнате, как входит старуха. Старуха не может признать ее.

– Спасите, – шепотом говорит старуха и оглядывается – за ней по пятам идет сноха.

– Бабушка, поди вон, – уже сонно говорит внучка.

– Ну чего тебе тут надо? – кричит сноха и тащит старуху за рукав на кухню. Рукав трещит, старуха ойкает.

– Чисти картошку, – говорит сноха.

Старуха рада, что ее оставили в покое. Она не спеша чистит картошку и что-то мурлыкает себе под нос.

У Александра есть вторая дочь. Она уже давно не живет с родителями, она живет с мужем и сыном Борькой в соседнем районе. Иногда они чинно приходят в гости – пьют самогонку, закусывают беляшами и разговаривают о политике. Борька, этот маленький негодяй, чистосердечно травит старуху. Кто она ему? Прабабка? Совсем чужая…

Однажды он стянул у нее из-под подушки вставную челюсть и спрятал ее, а потом целый день ходил за бабкой и украдкой посмеивался, глядя, как она шарилась по углам, как получала за это подзатыльники, как жевала деснами обед. Старуха думала, что Борька – это ее сын. Или внук. Имя его она забывала редко.

Мать Борьки к старухе была совершенно равнодушна. Она не ругалась с ней, не оскорбляла ее – только смотрела на нее холодно и презрительно.

В декабре старухе исполнилось девяносто три года. Все ждали, что она вот-вот умрет, но старуха все не умирала, и все уже отчаялись. А старуха просиживала свои смутные дни в кресле подле батареи отопления, беззубо жевала тайный хлеб, смотрела по-рыбьи перед собой, и кровь медленной холодной волной омывала ее гнилой мозг, и резко и отчетливо вставали перед ней какие-то картины прошлого, может быть, ее, а может быть, чужого, вычитанного из толстых романов с продолжением. То какие-то люди играли в лото или в подкидного за цветным столом, жарко горела керосиновая лампа, а за дряхлым маленьким окном выла вьюга, железная вьюга рвала странные красные флаги, железная метель мела по екатеринбургским улицам, заплеванным серыми солдатскими окурками, прооранным насквозь хрипатыми голосами; то цокот копыт пробивался сквозь дрему, подмигивал молоденький офицерик, луч солнца сиял на его погоне, а офицерик улыбался и кончиком языка все трогал реденькие нежные усы; то звонко и страшно бил по окнам винтовочный залп; и постоянно какое-то жужжание – оно просто с ума сводило!

Сноха хотела пристроить старуху в дом престарелых, но, во-первых, туда попасть очень трудно – большая очередь, а во-вторых, Александр воспротивился – что люди скажут? Другие сыновья аккуратно присылали денежные переводы, но брать к себе мать не хотели.

Однажды старуху посадили на поезд и дали телеграмму старшему брату – встречай! Была еще надежда, что старуха где-нибудь затеряется, пропадет где-нибудь... Старуха вернулась через два дня и с тех пор каждый день собирает чемоданы.

Если сноха уж чересчур тиранила старуху, та, всплакнув, призывала ее к совести: как тебе, дескать, не стыдно, я старый человек, а ты изгиляешься... Что? – вскипала сноха. А кто тебя вытащил из грязи, когда даже соседи не хотели присмотреть за тобой? А кто стирает твои засранные простыни? А за что? За что мне такое наказание? Ты дрянь! Дрянь! Всю жизнь, всю жизнь палец о палец не ударила, а сейчас упрекаешь?

Она протягивала свои растопыренные пальцы с обломанными ногтями к самому лицу старухи и плакала от бессилия.

Старуха чистит картошку. Входит старшая дочь Александра – какой, к черту, сон: в голове одни гаммы!

– Бабушка! – кричит она. – Ты опять мои тапочки надела! Бестолочь!

Старуху разувают, и она, клацая нестриженными желтыми ногтями по линолеуму, идет искать свои туфли. Долго ищет, поправляя обувь в прихожей, потом открывает шкафы, комод...

– Ну чего шаришься? – кричит сноха. – Чего шаришься?

Старухе дают подзатыльник, кидают ей под ноги старые валенки. И хотя валенки стирают в кровь икры – старуха рада.

Потом старухе делают выговор за посуду. А тут и ужин готов. Все садятся за стол. Старухе наваливают полную тарелку картошки.

– Ешь, – говорит сноха. – А то все жалуешься, что голодная, что не кормят тебя. Вот и ешь. Пока не съешь, из-за стола не вылезешь.

– Что? Картошка? Не буду...– бормочет старуха. – Что я – свинья?

Все дружно ахают:

– Смотрите-ка, барыня! Не хочет! Поглядите-ка! Не будет!

Сноха говорит:

– Значит, не голодная.

Старуха молча ест картошку. Поглядывает в чужие тарелки.

Наконец, спать. Старухе ставят раскладушку.

– Где постель? – спрашивает старуха.

– Там же, где и всегда, – отвечает сноха.

Старуха открывает комод, шкаф...

– Чего шаришься?! – кричит сноха. – Сказано: где всегда была, там и сегодня ищи.

Стоит, наблюдает.

– Дак я же не знаю, я же первый день здесь...

Старуха совсем теряется.

– Дак! Дак! – кричит сноха. Она вываливает на пол груду белья.

Постель готова. Со старухи сдирают платье, укладывают ее спать.

Свет еще долго горит в комнате. Сноха вяжет, зорко поглядывая за старухой.

Ночью сноха плачет. Ей жалко себя, свою жизнь, исковерканную, загаженную старухой. В душе нет сострадания – она пуста и холодна, как выжженное дупло. Сноха чувствует, что умрет раньше старухи, и оттого ей тоскливо и горько. Всю жизнь на это чудовище положить! За что? За что?

И старуха встает в дверном проеме, как привидение. На ней застиранная мужская майка и громадные панталоны грязно-фиолетового цвета.

– Спасите, – шепчет она.

Господи, думает сноха, ну за что мне такое наказание? И идет укладывать старуху.

1977

БОЛЬНИЧНЫЙ САД

Больничный сад был светел от падающего снега, и только в самых далеких углах его было темно и мрачно. Иногда глухо и ровно катился вдоль больничной ограды гром трамваев, но было уже поздно, трамваи ходили редко, и сад надолго замирал, исполненный легкого, почти невесомого покоя. За садом, за трамвайной линией, был завод. Каждую ночь там горел прожектор. И сегодня широкое лезвие его луча вертикально стояло над сумрачной окраиной, постепенно расширяясь и слабея наверху, совершенно исчезая в глубоком мутном небе.

Семенов заглянул в темное окно, потоптался, глубоко задвинул руки в карманы пальто и опять пошел к подъезду с высоким крыльцом, над которым под сильной белой лампой висела голубая, вся в мелких серебряных трещинах табличка «Инфекционное отделение». У крыльца он постоял, прислушиваясь, не щелкнет ли замок, и пошел обратно к окну. Вдруг ему послышался звук поворачиваемого ключа, и он побежал к крыльцу и долго там стоял, ожидая, что вот сейчас приоткроется дверь, но дверь не открылась, и за дверью было тихо, и он сокрушенно побрел к полуразрушенной скамейке, потянув за собой густую цепочку следов. Не вынимая рук из карманов, он присел на скамейку и, втянув голову в плечи, чтобы не падал снег за поднятый воротник, напряженно замер, поглядывая в темное окно.

Снег все сыпал и сыпал, и следы затягивало прямо на глазах. Новый год какой-то, усмехнулся Семенов. И это в ноябре. А в прошлый ноябрь… В прошлый ноябрь была дикая слякоть. Ветер. И дождь, дождь беспросветный. Где они тогда были? На даче у Шульмана. Точно. На даче были. Удрали из университета и целую неделю жили у Шульмана на даче.

Была какая-то холодная гулкая радость в груди, когда они ехали в ночной электричке – насквозь мокрые и продрогшие. Он дышал в ее ладошки, сложенные ковшиком, и все веселил ее, и что-то вдохновенно врал. Она, округлив глаза, восторженно смеялась – совсем как дев-

чонка. А были они ровесниками. Хотя и училась она на четвертом, а он только поступил. Для нее этот побег в промозглую ночь с в общем-то неизвестным ей парнем был как побег на другую планету. Я совсем голову потеряла, несколько раз повторяла она тогда, как-то по-особенному прислушиваясь к себе.

Потом они шли с электрички по совершенно невидимой дороге, раскисшей так, что даже по обочине было трудно идти. Он хотел подхватить ее на руки, и они чуть не упали, и она потом все подшучивала, какой он неловкий да какой он неуклюжий, а он, подыгрывая ей, старательно смущался.

Он вдруг отчетливо вспомнил сухие теплые стены комнаты, где они жили, давно не беленную печку в углу, которую они раскалили докрасна, и как ночью лежали в темноте, успокоенные и обессиленные от тяжелой страсти, и смотрели на остывающую медленно печь, как потихоньку гаснет малиновое пятно на плите, как оно становится все меньше и меньше – и вдруг исчезло совсем, и стало холодно и темно. И сразу, как будто увеличили громкость, стало слышно, как резко и четко бьет в окно дождь.

Следующие дни были полны тихой радости. По утрам он растапливал печь, и когда комната нагревалась, она вставала – помятая и смущенная, просила его отвернуться, пока она оденется, а он просто выходил за дверь и стоял на крыльце, смотрел на синюю кромку леса вдали, размытую утренним мелким дождем.

Потом они готовили простой завтрак – или жарили картошку, или открывали консервы, которые нашли в кладовой. Грабанем Шульмана, при этом весело говорил он, ему полезно на диэте посидеть. И она смеялась тому, как он смешно упирал на «э» и как начинал крутиться и вертеться, ахать и вздыхать, изображая совсем похудевшего Шульмана, вдруг обнаружившего, что у него исчезли все запасы.

Весь день они читали – он лениво какой-то детектив, она с каким-то напряжением «Красное и черное», то и дело замирая и украдкой наблюдая за ним. Да, она ему потом призналась, что впервые ощутила тревогу именно тогда.

Ей нравилось чувствовать себя хозяйкой и женой, и она хлопотала по дому: мыла посуду, перетирала безделушки, готовила ужин.

Семенов с тоской вспоминал желтые стены этой комнаты, на которых от тепла выступали янтарные капельки смолы, тяжелую закопченную печь, большую соломенную циновку на полу, маленький столик, покрытый клеенкой в маковых цветах, и ярко-голубой подоконник, на котором стояла герань в помятой банке из-под зеленого горошка. И ее – заколовшую высоко длинные волосы, освещенную неровным осенним светом…

Он опять заходил по кругу. Вдруг окно осветилось изнутри, опять погасло. За стеклом мелькнуло лицо, появилось опять и застыло, освещенное снежным светом. Он махнул рукой, лицо дрогнуло, узкая светлая ладошка слабо закачалась в ответ – маленькая лодочка на поверхности темного омута окна.

– Как он там? – крикнул он. Потом подумал, что за двойными рамами она не услышит, подошел вплотную, взялся за железный карниз уже задубевшими пальцами. Лицо ее было смутным, и улыбка какая-то напряженная. Она что-то сказала. Он не понял. Она опять заговорила, медленно и твердо округляя рот, чтоб он догадался по артикуляции. Он все равно ничего не понял. Замотал головой. Как он там? – совсем уж тоскливо и жалостливо подумалось ему. Хотел опять крикнуть, но подумал, как это нелепо – стоять и кричать в пустом саду ночью. И все равно она не услышит. Рот ее беззвучно открывался и закрывался, потом она замолчала, покачала руками воображаемого ребенка, показала, что он спит. Потом подняла большой палец вверх.

Земля тихонько дрогнула, за каменным забором сада прогремел трамвай, поскрипывая натужно на повороте. Она ему что-то писала на стекле, Семенов смотрел на ее маленький острый пальчик и чему-то своему, внутреннему, с наслаждением улыбался.

1979

НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ

Памяти Володи Ежова

Помнишь, помнишь, какое было лето?

Электричка, прогудев свое, ушла дальше, и Семенов легко сошел с бетонной площадки и зашагал по проселку, пыля высокими негнущимися ботинками. Рюкзак оттягивал плечи.

Он не понимал, почему его потянуло туда.

Мельчайшая пыль тяжело лежала в колее, ботинки тонули в ней, и рюкзак становился все неудобней, а уже пекло так, что воздух над полями напрягся, стал мутным, слоистым, и дальний гребешок леса зыбко подрагивал и уже был не синим, не зеленым, но бурым.

Он вспомнил тяжелое блюдо озера, утреннюю протяжную сырость, и сердце чуть сильнее толкнулось в груди.

Он просыпался от свежих и острых запахов травы. Легкое, еще прохладное солнце висело над кромкой гор, и заросли малины светились в росе и паутине. Он сооружал маленький костер и слушал, как нагревается чайник, как он начинал натужно сипеть, потом ворчать. Вдруг – стук весла, бряк цепи от лодки, и вот негромкие голоса поднимаются снизу, от воды, вот уже идут, тащат линей, щук, золотых карасей… Рыбу, источающую слабый запах озера, небрежно, грудой – на листья папоротника, а сами, скрипя резиной, к костру, а костер все жарче, чайник уже клокочет, и солнце совсем высоко… Обжигаясь, ели печенную в золе рыбу, пили чай с дикой малиной, отдувая ягоды, пили теплую водку, и оттаивало в груди после армейских серых дней.

Семенов шел по дороге и вспоминал прошлое лето, которое, может, и в самом деле было таким, как он его себе представлял.

Послышался шум мотора, и скоро его нагнал маленький деревенский автобус. Семенов неловко влез на подножку, автобус дернуло. Стуча башмаками и задевая чьи-то головы рюкзаком, он стал пробираться на свободное место. Бабки-башкирки в белых с синими крапинками платках, широко распущенных сзади, сидели прямо, при-

жимая к животам узлы, брезентовые сумки, бидончики, о чем-то своем разговаривали по-птичьи. У всех были резкие морщинистые лица, обожженные солнцем.

– Что? На рыбалку? – тягуче и насмешливо раздалось над ухом.

Он оглянулся. Сзади притаились два хмельных мужичка в телогрейках. Они остро, но с улыбками смотрели на него.

– На рыбалку, – ответил Семенов и скинул с плеч лямки рюкзака.

– А рыбы-то и нет, – сказал один мужичок в натянутой по самые уши солдатской пилотке с вырванной звездочкой, и они хмельно и дружелюбно засмеялись.

– Как это – нет? – спросил он и повернулся к ним.

– А нет – и все. Ныне летом сети ставили – так всю подчистую выловили. А что? Рыбки захотелось? – мужички опять засмеялись.

Семенов отвернулся.

– Ты, слышь, – его тронули за плечо. – Дальше проедешь, там деревня будет – Погудино. Там сойдешь и просись на лесовоз, там лесовозы ходят на Алакуль. Там еще маленько рыбы осталось. А здесь нету. Сетями всю выловили. А там богатое озеро. Езжай туда.

– Спасибо, – сказал он.

Какая-то растерянность охватила его. Давно уже проехали поворот, где они тогда сходили. Автобус, полный пыли, солнца и щебета башкирок, катил дальше по мягкой дороге, а растерянность и беспокойство все росли в душе. Он подхватил рюкзак за лямки и пошел к выходу.

– Слышь, дальше ехать надо, – закричали ему вслед.

Семенов обернулся.

– Спасибо. Я здесь сначала попробую.

И виновато улыбнулся.

– Ну смотри, – мужички обидчиво замолчали. – Зря только.

Семенов не стал возвращаться по дороге, а пошел к озеру через лес. Он шел неторопливо, жалея, что не сошел раньше. Не потому, что тяжело было нести рюкзак, – просто ему хотелось пройти знакомой дорогой.

Лес был то сосновый, то березовый, но не гулкий – тишина была мягкая. Солнце уже садилось, и красноватые куски света застревали мимолетно в вершинах сосен.

Озеро открылось сразу – большое и светлое. Остров! Вот он, его остров!

Семенов пошел вдоль берега к деревне. Пахло тиной и подгнившим камышом. Солнца уже не было видно, и свет на горизонте быстро убывал. Горы за озером стали синими, а вода бледно-сиреневой. По дальнему краю озера пролегла узкая серебристая полоса.

Он нащупал в кармане ключи от лодки. Они ее купили прошлым летом. Весла брали в деревне. Когда уезжали, затопили лодку, приковав ее к колоде.

Озеро сильно обмелело. Лодка лежала рассохшаяся, на дне ее белел алюминиевый ковш без ручки. Семенов пошел дальше. Возле деревенских лодок возился мальчишка.

– Эй, пацан, отвези на остров, – попросил Семенов.

Мальчишка исподлобья посмотрел на него.

– Я тебе три рубля дам.

– Садись, – мальчишка придержал веслом черную плоскодонку.

– Давай я на веслах, – сказал Семенов.

Он греб к острову и следил, чтобы старый ориентир – красная железная крыша лесничего – не уходил влево. Берег, лес, деревня узнавались с трудом. Как будто краски не те, как будто все сдвинулось со своих мест.

Поднялась рябь. Стало темнеть. Он чувствовал, как встает за спиной остров, и боялся оглянуться.

– Ты можешь завтра утром забрать меня отсюда?

Мальчишка молчал.

Подгребая, он оглянулся несколько раз мельком. Лодка ткнулась в берег. Он выскочил легко, держа рюкзак на весу.

– Часов в девять. Ладно?

– Ладно, – буркнул мальчишка и ударил веслами по воде.

Он поднимался на вершину. Стоянка была с другой стороны острова. Лысые осины и березы еле сыпали последние клочья сгоревшей листвы. Он хрустел башма-

ками по легкому праху листьев и ощущал, как внутри все растет и растет гулкая пустота. Серое озеро мертвенно светилось из-за сухих сучьев и голых стволов. Слишком жаркое лето, подумал он. Ему больше никуда не хотелось идти. Он сошел с тропы, скинул рюкзак и прилег.

Когда Семенов проснулся, желтый тяжелый кусок луны висел над озером. Он поднялся на вершину острова и спустился к стоянке. Лагуна сплошь заросла камышом. Сосны были спилены. Пни, пни сияли под сломанной луной. Сухой камыш ломался и крошился под напором большого ветра.

Семенов нашел кострище. Камни вокруг него куда-то исчезли. Он подумал, что не нужно было никуда ехать, и поежился от холода.

Он сидел на берегу, встречая рассвет. По озеру стлался туман. Семенов вытащил из кармана ключи от лодки и зашвырнул их далеко в озеро. И оно не ответило ему плеском. А может быть, он его просто не услышал.

1979

ВЕТЕРАН

Сегодня к нам в гости пришел дядя Сережа. Его давно у нас не было, он куда-то уезжал, и папа был очень рад, что он вернулся. Мамы дома не было, и мы ужинали без мамы.

Папа спросил, почему дядя Сережа так долго не приезжал. Дядя Сережа сказал, что сильно болел и что лежал в госпитале. При этом он осторожно потрогал свою грудь. Папа сказал, что дядя Сережа был танкистом и был ранен. Он воевал два года, и ему дали орден за это и еще медаль «За боевые заслуги». Митька спросил, с кем он воевал, с немцами? Дядя Сережа засмеялся и сказал, может быть, и с немцами тоже. Потом папа достал бутылку водки и сказал, что орден надо обмыть, и они вылили водку в ковшик, бросили туда орден и пили по очереди. А нас отправили в большую комнату, потому что на кухне было сильно накурено. Мне очень хотелось послушать про войну, но нужно было укладывать Митьку спать.

Пришла мама, и они все сидели на кухне втроем, а я сидел с Митькой, и мне было слышно, о чем они говорят.

Папа сказал, что дяде Сереже повезло, что он живой и целый. А некоторые вообще не вернулись. А дядя Сережа сказал, что повезло как утопленнику, что у него вся грудь дырявая. Папа сказал, зато живой. Тут мама заплакала – у нее старого школьного друга убило. Дядя Сережа сказал, что больше на минах рвутся. Лежит фонарик или, там, авторучка, их тронут – а это мины. Папа спросил, с кем труднее воевать? Дядя Сережа сказал, с наемниками, потому что они хорошо обучены и у них первоклассное оружие. И еще у них большой боевой опыт, а у нас только «учебка». И рассказал, как наши десантники выбивали их из *кишлака*, а те положили наших и два часа не давали головы поднять. И если бы не наши танки, то пришлось бы совсем плохо. А когда подошли танки, две машины сожгли из гранатометов, и у дяди Сережи в том бою погиб приятель. Когда подошли танки, те, кто отбивался, сразу ушли к границе. У них хорошая разведка, и они знают все тропы. Дядя Сережа сказал, что они – профессионалы. Потом они с папой заспорили, чье оружие лучше. У них, конечно, разное, а наши новые автоматы – отличная штука. А подсумки лучше трофейные: они надеваются на грудь и рассчитаны на шесть магазинов – по три с каждой стороны. А наши – всего на три. Хорошо тому, кто достанет магазины от ручного пулемета, в них входит по сорок патронов. Их связывают попарно, и когда отстреляют один, то просто переворачивают и вставляют другой. А противотанковой гранатой очень трудно убить. Лучше осколочной, хотя можно и самому гробануться. У них поражение на двести метров. И бронежилет не поможет. Дрянь эти бронежилеты. Их автоматная пуля запросто пробивает. Правда, сейчас привезли новые – их и в упор не берет. Но они тяжелые – все двадцать килограмм. А с полной выкладкой это будет все шестьдесят, потому что еще с собой несешь четыре мины и два мешка патронов по девятьсот штук в каждом. Тяжело. Папа сказал, что воевать вообще тяжело.

Пришла мама и сказала, чтобы я ложился спать. Я пошел на кухню посмотреть. Свет горел очень яркий, я стоял за стеклянной дверью и видел, как трудно повернулся дядя Сережа и посмотрел на меня. Папа сказал, на черта мы туда вообще полезли, а дядя Сережа сказал, что если бы не мы, то американцы. Конечно, наемники воюют за деньги, но у американцев и китайцев там свой интерес. И воевать придется долго. Я подумал, как это – воевать за деньги? Папа сказал, что дядя Сережа теперь ветеран и как ветеран имеет льготы при поступлении в институт. Я подумал, почему ветеран? У нас деда Леня ветеран, он воевал с японцами. А дядя Сережа – какой ветеран? Ветераны все старые. Они приходят девятого мая к деду и празднуют День Победы. И мы с мамой, папой и Митькой тоже приходим.

Я пошел раздеваться. Мама стояла у окна и смотрела, как идет дождь. Дождь вдруг пошел очень сильный, вдалеке он был беззвучный, но очень сильно гремел на балконе о Митькину железную ванночку. Да еще было слышно, как тяжело дышат деревья во дворе, глубоко внизу.

1983

ПОСЛЕДНИЕ ПОСЕТИТЕЛИ

К вечеру Валя устала. Она нехотя отсчитывала сдачу, глядя злыми глазами на сомлевших от еды и вина грузных мужиков в застиранных рубахах. Днем Валя кормила райкомовских комсомольцев, спортсменов и разную шушеру из облсовпрофа. Навару с них никакого, только требуют. Чтобы и быстро им, и вкусно, и чтобы скатерти чистые. Заказ у них берешь, а они и сидят, и как будто сверху на тебя смотрят. Жлобье. Вечером приходили потертые мужички, которые за пять рублей хотят все удовольствия справить. Поедят эскалопов, попьют портвейну – и начинают куражиться, а у самих хрен с маком в кармане. Конечно, если у тебя тонна в кармане, можно и наглым быть, а чего наглеть-то, если ты карманы выворачиваешь, мелочь ищешь, когда рассчитываешься. Да подавитесь вы этими вонючими эскалопами! В «Центральном» мальчики хоть и хамы, зато у них бабки есть. И грузины

всегда там сидят, которые на базаре торгуют. Меньше полсотни никак не выходило. Но Валю из «Центрального» турнули. На обсчете попалась. Можно, конечно, было замять, но нужно было дать завзалом. И Валя ушла в это кафе, где если червонец выходил за вечер, то слава богу.

Ноги у Вали гудели. Фартучек засалился, от кухонного чада разболелась голова. Валя хлопнула стаканчик и пошла убирать посуду.

Уже в первом зале погасили свет, из второго потянулись к выходу хмельные мужички в кургузых пиджаках. В углу за служебным столиком дремал местный писатель. Валя его книг не читала, но твердо знала, что писатель он известный и даже какой-то лауреат. К нему она относилась с какой-то робостью и уважением. Пил писатель только коньяк и всегда давал на чай. Иногда писатель шутил, что бросит все и увезет Валю на Север, построит своими руками дом, и там они будут жить и рожать детей. Он будет ходить на медведей с рогатиной, а писать бросит, потому что писать – это хуже, чем продаваться на панели. А Валя будет готовить медвежьи лапы в собственном соку и нянчить детей. Валя смеялась, когда писатель нес околесицу. Она понимала, что если за книжки платят такие бабки, то фиг он бросит свою писанину. Вале нравился писатель как мужчина, но уж больно он был старенький для нее. И пил много… Когда только успевал писать? Как-то она спросила его об этом. Он загрустил и сказал, что пишет левой ногой, а левой ногой можно писать и с похмелья.

Как появились эти двое, Валя и не заметила. Они сидели за чистым столиком и тихо разговаривали. Мокрые плащи висели на спинках стульев. Все еще дождь, подумала Валя. Женщина нежно засмеялась. Валя подошла и сразу с напором:

– Не обслуживается. Все-все-все. Закрываемся.

Мужчина посмотрел на часы. До закрытия оставалось чуть меньше часа. Он повернулся к Вале и спросил:

– А можно, мы посидим немного?

– Как это? – Валя остановилась.

– А посидим немного, согреемся – и все.

Валя пожала плечами.

– Сидите. Мне что.

Она ушла недовольная. Чего сидеть-то? Мимоходом глянула на писателя. Тот набухал себе целый фужер коньяку и сидел, тупо глядя на него.

Опять надрался, подумала Валя.

Она встала к буфетной стойке, почиркала в блокнотике. Тьфу! Даром работаю, зло подумала она. Выглянула в зал. Сидят. Руками сцепились, смотрят друг на дружку и улыбаются. Ей лет тридцать пять. Ему не больше. Нет, пожалуй, она постарше будет. Ничего мужичок. Кольцо на пальце. Жена его, что ли? Не жена! – поразилась вдруг Валя. Ишь ты! Покрутила головой, усмехаясь. Пойти некуда, догадалась она.

Валя одернула фартучек, подошла к столику и как можно равнодушнее сказала:

– Немножко вермуту осталось. Венгерского. Принести?

Мужчина и женщина оживились, заулыбались вовсю.

Валя смахнула крошки со стола и сказала мужчине:

– Оригинальная у вас дама.

Тот непонимающе посмотрел на нее.

– Сама светленькая, а глаза черные, – пояснила она и пошла в буфет.

– Катя, налей вермуту пол-литра. Вон в этот, с красной полосочкой.

– Ты чего это? – удивилась буфетчица, но вино в графинчик налила. – Все. Я кассу сняла.

– И буженины две дай, – сказала Валя.

– Ты чего это? – опять удивилась буфетчица.

Валя наклонилась к ней и зашептала.

– Да-а? – засмеялась буфетчица. Перегнувшись через стойку, она с любопытством посмотрела в зал.

В это время писатель проснулся и рявкнул:

– Камо грядеши?

– О! Этот уже готов! – сказала буфетчица. – Домой не дойдет.

– Дойде-ет – сказала Валя. – Не первый раз.

Она унесла вино и закуску.

Накрывая на стол, Валя вдруг заметила, что лицо женщины все в мелких морщинках и кусочках просыхаю-

щей пудры. Старуха, подумала Валя жалостливо. Писатель в углу заворчал, зарычал и опять возопил:

– Камо грядеши?

Валя побежала к нему.

– Ну что вы, Владимир Иванович! Домой-домой! Вот так!

Писатель выбрался из-за стола, порылся в карманах, бросил на стол четвертной.

– Все, Валюша. Пошел. Купи там себе… – он напряженно покрутил головой, – пироженку.

Валя захихикала. Она быстро пересчитала ножи и вилки, потом пошла в буфет, и там они с Катей хлопнули по стаканчику. Посидели немного, вяло закусывая пожухлым сыром, поболтали о том о сем.

– Я вот, знаешь, что подумала сейчас, – лениво сказала Валя. – Вот только сейчас мне в голову пришло. Вот ты видела этих? Видела? Женщина – она как сирень! Вот только сейчас придумала! Как сирень! Да! Ее обломают, оборвут, обворуют, а она – все расцветет весной! Расцветет!

Она вдруг мучительно замерла, и в глазах ее заметался огонек.

Катя встала, поглядела в зал. Дождь за окнами лил, в кафе было сумрачно, и витражи горели от света уличных фонарей. Было слышно, как переругиваются на кухне повара. За самым дальним столиком сидели мужчина и женщина, он что-то увлеченно говорил, она с нежностью смотрела на него. И над ними одиноко горела стоваттная лампочка в красно-белом плафоне.

1985

КОНФЕТКИ-БАРАНОЧКИ

Оленька ехала в Москву. В купе спального вагона она была одна, и это ей ужасно нравилось. Она сходила к проводнице за кипятком, заварила себе чаю в мельхиоровом заварничке, устроила уютную постельку и до обеда читала «Темные аллеи», иногда только отрываясь от книги, чтобы заглянуть в черные еловые леса за окном. Скоро леса кончились, и потянулись белые поля, изъеденные

бурыми и желтыми оврагами. Сыпал мелкий снег, свивая мутную пелену в широком пространстве, и Оленька нежилась, кутаясь в толстую шерстяную кофту, и завороженно смотрела сквозь летучий косой заоконный снег.

Как только начались зимние каникулы, Оленька взяла отпуск без содержания на пять дней и поехала. Директрисе наврала про больную сестру. У нее действительно жила в Москве сестра – пусть проверяют. Оленька обычно врала легко и беззаботно, потому что врала по мелочам и не считала, что это такой уж большой грех.

Муж заворчал, но она щелкнула его по носу: не рыпайся, дорогой, ты же ездишь в свои командировки – и я ничего. Я устала, понимаешь, ус-та-ла! Муж забегал по кухне, ядовито усмехаясь. От чего это ты устала? От всего! От школы, от детей, от тебя устала. Ах, от меня устала?! Да! И от тебя тоже. Что, есть еще от кого устать? Пошляк! М-м! Как ты мне надоел со своими глупостями! Надоел? Значит… я надоел? Ну ладно. Ладно. Давай-давай! Езжай! Мети хвостом! У-у… Муж поорал, побегал, постучал себя кулаком по лбу, успокоился и даже подскребся напоследок.

Оленька никогда не ездила в спальных вагонах. А вдруг подселят мужика, подумала она. И мелькнуло чье-то лицо из давних времен и легкая щекотливая борода. Она аж голову набок от неожиданности уронила.

Вагон был почти пуст. В самом дальнем купе ехал какой-то ветеран, он выходил поинтересоваться у проводницы, какая станция, и опять отправлялся к себе пить чай, который приносила ему проводница.

Еще ехала молодая пара – они тоже почти не показывались, и дверь у них была всегда закрыта.

И чем это они там занимаются? – вдруг со смертельной скукой подумалось Оленьке. Она зевнула, ушла к себе, опять взялась за книжку, но не читалось. Нет, как-то все не так. Не так ей представлялась поездка. Думала, что будет весело, шумно. А тут… Попрятались, как тараканы. Лахудра, вдруг подумала она про соседку и поняла, что парочка-то того, любовники. Лет на десять старше его будет, подумала она и криво усмехнулась. Оленька

вспомнила соломенные волосы соседки, неаккуратно подведенные глаза, старую шею. Выбрал же, лениво подумала она. А сам ничего. Смазливый. Она потянулась, встала, покрутилась перед зеркалом своим тонким напряженным телом, вдруг сделала неприличное движение бедрами, спохватилась, покраснела. Ну дура!

Она села, стала смотреть в окно. Окно было чистым, с нарядными занавесками. Небо было белесым, иногда появлялось – после натужных скрипящих поворотов – вмерзшее в небо солнце.

Что-то в коридоре звякнуло, раздался крик:

– Кефир! Булки! Бутерброты с сыром! Бутерброты с колбасой!

Оленька щелкнула замком, осторожно выглянула. По коридору катил блестящую тележку, полную пакетов и сверточков, молодой черноусый парень в белой, чуть замызганной спецовочке. Он увидел ее и развязно-вежливо закричал:

– Конфетки шоколадные! Шоколад сливочный! Бабаевский!

Поравнявшись с дверью, он воровато стрельнул глазами в купе, напряженным взглядом пошарил по диванам, по столику и, вдруг поняв, что Оленька едет одна в этом шикарном вагоне в купе люкс, откровенно блудливо уставился на нее.

Оленька взяла плитку шоколада и подала двадцатипятирублевую бумажку.

– О! Нет сдачи! О! Я зайду! Я потом зайду!

Он покатил дальше свою никелированную тележку, крича про конфеты и пастилу, и все оглядывался через плечо. Оленька хлопнула дверью. Дурик, подумала она. Бутерброты!

Она лениво жевала шоколад, бесцельно смотрела в окно, вспоминая этого усатого наглого типа. Припрется, подумала она, и вдруг ей стало немного жутко. Она встала, подняла на двери стопор.

К вечеру Оленьку сморило. Она сладко поспала и, проснувшись, но не открывая глаз, лежала и чувствовала, что кто-то на нее смотрит. Она повернулась к двери.

Дверь была чуть-чуть сдвинута, в щели стоял черный глаз и гладкий ус. Глаз вдруг мигнул и исчез. Что-то прошелестело еле слышно за дверью.

Оленька еще долго лежала, размышляя, чем бы заняться, – книжку читать не хотелось, а за окном становилось все темнее. Вдруг наверху щелкнуло, купе залил яркий нарядный свет.

В коридоре раздались мягкие шаги, женский смех, голоса.

Оленька плыла. Коньяк оглушительно подействовал на нее: сначала было необыкновенно легко и весело, потом еще рюмка – и голоса стали глуше, лица новых знакомых – красивы и загадочны, и все жесты, все слова сейчас казались ей значительными, исполненными большого смысла. Она даже толком не поняла, как попала за этот шумный веселый стол в купе соседнего вагона, ее пригласили какие-то тетки отпраздновать день рожденья, Оленька немножко поупиралась, но одиночество ей уже надоело, захотелось каких-то легких знакомств, легких разговоров, и тетки были такие милые, славные, и она согласилась. Сначала сидели вчетвером. Смущения не было – обычное поездное знакомство, когда можешь говорить о чем угодно, открывая даже самые сокровенные уголки души. Откроешься, распахнешься, а через день или через ночь – разбежались по перрону, может быть, даже обменявшись адресами, но, как правило, навсегда потерявшись друг для друга в этой жизни.

Купе постепенно заполнялось. Появились какие-то веселые ребята, – в одном из них Оленька вдруг узнала того усатого, что ездил по вагону с тележкой. Он был очень приветливый, и Оленька напропалую с ним кокетничала. Ольга, говорил он, выходи за меня замуж. Мы уедем с тобой в Махачкалу, у меня в Махачкале квартира трехкомнатная, есть стенка финская, гарнитур кухонный польский, телевизор – знаешь какой? Японский, плоский, тысячу рублей стоит! Оленька хохотала и спрашивала, а какая у него спальня? Спальня! У меня знаешь какая спальня! У меня кровать трехспальная!

Появилась гитара. Гитарист завел что-то жалобное про березу, про дуб, но его заставили петь «Конфетки-бараночки», и припев пели хором, и Оленька пела вместе со всеми. И было ей хорошо в этой компании. «Москва златоглавая!» – любовно, бархатно говорил гитарист, и открывался пестрый кустодиевский пейзаж. «Арромат пиррогов!» – рокотал гитарист и делал картинно паузу… «Кон-фет-ки-ба-ра-ночки…» – издалека, вкрадчиво начинали распаренные тетки, и потом во всю ширину неслось: «Словно лебеди – саночки! Ой вы, кони залетные…» И Оленька чувствовала себя той самой румяной гимназисточкой – беззаботной и пьяной то ли от мороза, то ли от дагестанского коньяка. И она летела над белокаменным, золотым городом, и сияли ее глаза.

Заполночь стали расходиться. Исчезали незаметно – все больше парами. Иногда возвращались. Оленька вдруг поняла, что устала. Я тоже пойду, сказала она и хотела встать. И вдруг разом что-то изменилось, как будто свет в купе стал глуше и тусклее, и милые добрые лица вдруг сделались напряженными, готовыми вскипеть каким-то неясным раздражением. Куда? Эй! Ты куда? Никуда не пойдешь! Ты же обещала! Чего я обещала? Ты же – моя! С чего ты взял? Ты сама говорила! Я говорила? Ничего я не говорила. Ну хватит. У меня голова болит. Э-э! Так не делается! Динамо крутишь?

Сначала все сидели с тупым любопытством. Потом началась какая-то толкотня. Чуть ли не драка. Толстая Нина, у которой и был этот день рожденья, вытолкнула Оленьку из купе и тихо ей сказала: «Ну ты и дура. Давай-ка, быстренько иди, пока его ребята подержат. Иди-иди!» В купе мелькали перекошенные лица и слышался треск разрываемой ткани. Оленька быстро пошла по вагону. Ее качало. Когда она переходила в свой вагон – ее обдало морозом и гарью.

У себя в купе она, съежившись, сидела с ногами на диване и со страхом прислушивалась к тишине в вагоне. Когда тяжело хлопала дверь в тамбур, она напряженно замирала и, не дыша, смотрела на ручку двери.

Поезд медленно втягивался в Москву. За окном тянулись унылые пакгаузы, серые бетонные заборы, на которых иногда метровыми буквами было написано: «ЦСКА – кони!», а иногда: «Спартак – мясо!». Утро было серым и мутным. Перрон враз заполнился людьми, все сосредоточенно пошли к Казанскому вокзалу. Носильщики в ватничках и фартуках лениво и недобро посматривали на толпу. Оленька шла, боясь поднять глаза и встретить кого-нибудь из знакомых попутчиков. Влажный воздух пронизывал насквозь, она замороженно думала о долгом, с пересадками подземном маршруте и чувствовала, как где-то глубоко внутри нее тяжело наливается холодной полудой нежное кровеносное деревце.

2002

КАКТУС ПО ИМЕНИ КОЛЯ

– Ты знаешь, – сказал Сабуров, – я, наверно, скоро умру.

Жена усмехнулась и промолчала.

– Я это чувствую,– настаивал Сабуров.

– Ну с чего ты это взял, – сказала жена и устало погладила его по щеке.

Щека была колючей.

– Ты что, опять бороду решил отпустить? – спросила жена.

Сабуров молчал, тупо глядя в потолок. Он вдруг обнаружил, что ему нравится это оцепенение, овладевшее им в последние недели. Сначала очень сильно болело в груди – не сердце, нет, а просто поселилась в груди тяжелая боль, от которой слабели руки и ноги, от которой мешались мысли в голове и наступало полное беспрерывное отупение.

Жена призналась ему, что была неверна. Не просто изменила, а была неверна очень долгое время: год-полтора. Тому уж пять лет, все забыто, все перегорело, и она, конечно, никогда бы не призналась Сабурову в своем грехе, но тот приставал с вопросами почти каждый день. Я, говорил, чувствую, что у тебя что-то было. Кто он? Ты

только скажи – было или не было, я тебе ни слова не скажу. Мы же с тобой новую жизнь начали, и я должен быть уверен, что между нами нет лжи. Ты ведь про меня все знаешь. Я не такая, говорила жена, почему ты меня со всеми равняешь, это не обязательно случается. Да нет же, раздражался Сабуров, я знаю, я чувствую, что-то не так!

И все это занудство тянулось, тянулось, пока жена не выдержала, не брякнула ножи и вилки в мойку и не сказала: «Ну хорошо – было».

Сабуров как-то обмяк, нехорошая слабость разлилась по всему телу. Он отодвинул тарелку с жареной треской и спросил робко: «Было? Кто он?» «Ты его не знаешь», – сказала жена и опять начала возить ножами и вилками в мойке. «Кто он?» – растерянно спрашивал Сабуров, чувствуя, что ему сейчас станет совсем плохо. «Соломон Моисеевич Финкельштейн, – вдруг ясно и четко сказала жена. – Мы с ним встречались, но это было давно, это же было пять лет назад, я уже все забыла, и не будем об этом говорить, ты же слово дал!» «Подожди, – сказал Сабуров. – Он... так это... подожди... он же старый! Ему же...» «Ну и что? – сказала жена. – Пятьдесят лет – это для мужчины не возраст». «И часто вы встречались?» – тупо спросил он и вдруг с ужасом обнаружил, что этот разговор если и приносит ему страдание, то все-таки какое-то тягостно-сладкое страдание, какое бывает от немыслимого зуда, который не дает тебе покоя и заставляет расчесывать до крови зудящее место. «Ну, раз в месяц, два, – устало сказала жена. – Что еще?» «И ты... И вы...» «Ну хватит! – резко оборвала она. – Это совсем неинтересно». «Да я не из интереса спрашиваю, – бубнил Сабуров. – Я...» Он растерялся. Он заплакал. Он закричал. Он начал бить посуду всю подряд и свалился в судорогах под стол.

Потом он еще долго плакал по ночам, потом он еще не раз бил посуду, пропадал в истерике и все пытал и пытал вопросами свою бедную и несчастную жену. «Ну что ты под кожу лезешь? – спрашивала она. – Может, хватит? Чего бередить рану? Я забыла все, забыла». «Как? Ты же говорила, что он хороший человек, – мучил он ее, делая

упор на слове “хороший”. – Хорошее не забывается. А я плохой. Плохой, да? А он хороший. Тебе с ним было хорошо?» «Да! – в ярости кричала жена. – Мне с ним было очень хорошо!» Потом, обессилев, валилась ему в ноги, просила прощенья, иногда рыдала в голос, а иногда с интересом наблюдала за ним.

А Сабуров как-то потихоньку перестал есть, перестал ходить на работу, сказавшись больным, перестал бриться, лежал, безучастно глядя в потолок. Боль потихоньку уходила, и равнодушие и покой постепенно овладели им.

Жена его не беспокоила, иногда звала ужинать, он тихо отказывался, испытывая какое-то мстительное чувство. Иногда ему страстно хотелось, чтобы она его умоляла, просила о чем-нибудь – все равно о чем, – но она была как-то спокойна, и он оглох к своим чувствам.

Жена вдруг заметила, что зеленые глаза Сабурова стали мутными и тяжелыми, и тогда она встревожилась. Но Сабуров уже был безмятежен – он уже понял, что умирает. И вот тогда они объяснились.

– Я, наверно, скоро умру, – сказал он.

Жена улыбнулась.

– У меня сил больше нет, – сказал он.

– Ты хочешь, чтобы я тебя пожалела? – непривычно нежно спросила она.

Сабуров поморщился.

– Прости меня, – сказал он тихо.

– Это ты прости меня, – сказала она и тихо заплакала.

– Я тебе сейчас скажу… только ты обещай мне, что сделаешь… Обещаешь?

Она кивнула и сквозь слезы с нежностью посмотрела на него.

Сабуров начал говорить ровным глуховатым голосом, и жена, плохо понимая, что он говорит, вдруг увидела, что глаза его стали светло-зелеными, как весенняя трава.

– Когда я умру, – сказал Сабуров, – скажи, чтобы меня не брили и не подкрашивали румянами. Пусть обмоют – и все. Никаких похорон. Только кремировать. Когда получишь урну с пеплом, пересади кактус в большой глиняный горшок – этот уже ему мал, – землю смешай с

пеплом. И тогда я останусь с тобой. А кактусы даже цветут. Редко, но цветут.

Жена рассердилась:

– Я с тобой серьезно, а ты…

Она ушла, а Сабуров легко и беззаботно забылся.

Два дня жена даже не подходила к нему, спала на диванчике, была тихой и сосредоточенной. Сначала ее что-то тревожило, а потом эта неясная тревога рассеялась, и она успокоилась. В среду, нет, в четверг она рано освободилась с работы, и ноги ее понесли прямо к дому. Она не стала дожидаться лифта и побежала на седьмой этаж по заплеванным лестницам. Она выла в голос и трясла его за плечи. Потом она упала и, когда пришла в себя, стала куда-то звонить.

Она все сделала, как он просил. Большой колючий шар кактуса прижился в новом горшке, на новой почве. Она иногда разговаривала с ним, называла его Колей, только ей очень хотелось его погладить. Уколовшись о его иглы, она сердилась. А года через три кактус зацвел большим бежевым цветком.

1993, 2000

ВРЕМЯ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Святочный рассказ

Бомж Гуторов кормился у дикой яблоньки, не обращая внимания на двух толстых снегирей, недовольно ворчавших на соседнем деревце, где мелкие плоды были уже ободраны. Примерзший снежок на яблочках холодил воспаленный рот. Хотел было Гуторов с утра наведаться на свою помойку, но ее уже оккупировал бомж Онтонов с алюминиевой лыжной палкой. Он тыкал в баки палкой и зорко поглядывал по сторонам. Мог бы в ярости и в лицо ткнуть. И хотя считались Гуторов и Онтонов закадыками и ночевали часто в одном подъезде, и последнюю заплесневелую корочку делили промеж собой, но вот сейчас сторонились друг друга, и каждый решил пропитание добывать себе сам.

Прежде чем набрести на яблоньку, Гуторову пришлось

пробраться через мутное зимнее утро. Снег обжигал сквозь истертые валенки. Сильно болел бок – Гуторов отлежал его на бетонных ступенях подъезда двенадцатиэтажного дома. Подъезд на этот раз попался гнусный, и от этого было гнусно на душе. Весь подъездный сор, окурки, тонкие шприцы с испачканными кровью иголками, непонятные надписи на стенах – вся эта дрянь покоилась сейчас на тонкой поверхности гуторовской души и мешала сосредоточиться.

Подъезды бывают разные: иной подъезд как квартира – сияет чистыми стеклами и большими лампами. И полы в таких подъездах моют часто, и стены в них не исписаны всякой пакостью, и тепло в них, и перед каждой дверью цветной коврик лежит. И Гуторов, уважая жителей таких подъездов, коврики по утру разносил, запоминая, где какой лежал.

От холодных кислых яблочек Гуторову стало лучше, весь подъездный ночной сор утонул в душе, и поверхность ее опять подернулась радужными разводами денатурата, который вчера так славно они с Онтоновым распили в уютном подвальчике. А потом подрались из-за пустяка, и Онтонов, вооружившись своей алюминиевой палкой, выгнал бедного Гуторова в холодную ночь, и пришлось ему мыкаться в неуютном подъезде.

Мельком заметил Гуторов тень согбенную и, оборотившись к ней, ощерился уже было – не трожь деревце! моя добыча! – но вдруг обнаружил, что рядом стоит старичок на вид невзрачный, но с глазами ясными, и не захватчиком он чужого добра выглядел, а кротким и покорным просителем. И аж прослезился Гуторов от нахлынувшего чувства. Вот ведь – сам-то он неимущий, а к нему с просьбой! А чем помочь старичку? Разве что яблочками угостить, да у него и зубов-то поди нет разгрызть крепкие морозные плоды…

Была у Гуторова заначена ассигнация, через которую у них с Онтоновым и вышла вчерашняя ссора: подозрительный Онтонов справедливо предположил, что у дружбана его небольшая денюжка есть, что поллитровку политуры, которую они распили, брали на его, онтоновские,

кровные – в жестоких битвах у мусорных баков заработанные, и теперь черед Гуторова угощать товарища своего любезного. А есть местечко одно – Онтонов давно заприметил, – киосочек круглосуточный, где можно хорошей выпивки купить – средство для мойки окон. Цвет у него, конечно, поганый, но выпивка забористая и не очень ядовитая. Но Гуторов денюжку зажилил, за что был стремительно бит и справедливо изгнан из подвальчика.

И вот сейчас Гуторов встрепенулся от возмутивших цветную поверхность его души чувств. Оттого ли, что есть, оказывается, на свете еще более, чем он, несчастный, оттого ли, что обида на Онтонова была сильна и хотелось его как-то ущучить: пропить, прогулять заначку с первым встречным и тем самым нанести моральный ущерб Онтонову и самому укрепиться в самости своей, – только в глазах у Гуторова заблестели истерические слезы, и обратился он к старичку невзрачному:

– Что, дед, худо? А пойдем-ка по рюмке водки выпьем!

И пошли они в рюмочную «Посошок», что сияла морозными новогодними стеклами на углу улиц Покровской и Солдатской. Гуторов шел чуть впереди, предвкушая, как он сейчас поразит старичка своей щедростью, и украдкой утирал уголки глаз.

В рюмочной было чисто и светло. Еще не загаженный каменный пол источал влажный запах, синие пластиковые столы были вымыты – и на каждом стоял стаканчик с воздушными салфетками и пластиковыми цветами. И никого. Гуторов взял два по сто в граненых стаканах и два бутерброда с сыром. Сели в уголок. Гуторов расстегнулся, дедко сел ровно и прямо – и вдруг показался Гуторову знакомым. Пригляделся – нет, поблазнилось.

– Давай, дед, выпей маленько, – сказал Гуторов и махнул свою водку разом.

Старичок, однако, водку пить отказался, но бутерброд с сыром взял и, сняв шапочку, перекрестился и стал медленно и аккуратно есть. Зубы у него были белые и чистые, и сам он весь оказался не такой уж обтрепанный, каким показался Гуторову вначале. Высокий лоб, ясные глаза и плавность в жестах смутили Гуторова, и он вдруг

подумал, что ошибся, что дед этот не такой уж и убогий, каким он его увидел под мерзлой яблонькой. Где-то я его видел, подумал Гуторов.

– Ты выпей, выпей, дед! – засуетился он, испытывая какую-то робость перед старичком. – Догоняйся!

– Спасибо тебе, добрый человек, – сказал старик. – Только я вина не пью.

Гуторов растерялся.

– Ну так я ее тогда… того… оприходую? – и, помявшись, он цепко взял второй стакан.

Второй стакан пошел лучше некуда. И отмяк Гуторов, и захотелось ему поговорить красиво с этим странным старичком. И найдя в замусоренном кармане окурок сигареты «Винстон», и запалив этот здоровенный окурок – свезло вчера с «бычками»! – заговорил он, пуская дым в потолок.

– Вот ты, дед, смотришь на меня и думаешь, наверно, вот совсем истраченный человек и цена ему копейка! А я скажу тебе: были и другие времена. И пил я не какой-то «сучок» паленый, а настоящую «Смирновскую»! Коньяк дербентский! Джин пил – и не в жестяных баночках который, а самый настоящий – английский! В квадратных бутылках. И закусывал суджуком и мягким сыром сулугуни. И селедочкой домашнего посола!

Тут Гуторов совсем воодушевился.

– Берешь в магазине селедочку свежую, натираешь ее солью, сухой горчицей, перекладываешь лаврушкой, перчиком – два дня должна полежать в комнате, сок пустить… Потом ее заворачиваешь в бумагу – и в холодильник. Через неделю селедочка – цимус! А мясо я готовил… Баранину брал, не поверишь, – тушами! Приедешь на рынок, а тебе: вам сколько баранинки? Кило? Два? А ты ему: что там мелочиться, давай тушку! А готовил я ее так…

И тут Гуторова совсем развезло на воспоминания. И прошлая жизнь его пошла перед ним разматываться, как бразильский сериал в триста серий, и каждая серия была как глава из поваренной книги. Старик молча слушал, доедая свой хлеб.

А Гуторова несло. Он вдохновенно вспоминал, что он пил и что он ел в своей маленькой жизни, и жизнь пред-

ставлялась ему не такой уж и маленькой. Рассказывая о способах приготовления пищи, о превращении бесчисленных тушек, вырезок, окороков, филеев в роскошные яства, он расщеплял их, разжижал желудочным соком своего воображения – и совсем разгорячился, покраснел весь, и стал похож на маленького полупьяного то ли тролля, то ли гнома, который похваляется давно разбазаренными сокровищами, фантастическим образом обратившимися в гигантские пустые коричневые отвалы, в спекшиеся шлаковые массы.

– Послушай, добрый человек, – сказал старик, – а что есть, по-твоему, счастье?

Гуторов ошалело замер, разгоряченный своей речью, и даже как-будто не понял вопроса, но, покрутив головой, хитро улыбнулся.

– Счастье? – начал он как бы издалека, щурясь и жмурясь от охватившего его волнения. – Это… когда вот… ну, вечером… выпьешь сильно… а утром… проснешься с бодуна… башка трещит… а ты, не вставая, понимаешь, руку протянешь – и берешь бутылочку пива! И… не всю – нет! А половинку! А потом! Сигареткой переложишь… И уже потом только вторую половинку! Из горлышка! Чтоб колючками горло продрало! Вот что такое счастье, дед.

Закончил Гуторов спокойно и горько. И пошел он к стойке, и взял еще водки, а когда вернулся – никого за столиком не было. И ладно, насупился Гуторов. И стал пить. Пил, духарился маленько, пропил все деньги, какие были, и был бит – сначала прилюдно, нестрашно, а потом тайно и сильно за рюмочной. Но как закончился день – начисто отрезало.

Очнулся он в знакомом грязном подъезде. Было темно. В голове мутилось. Гуторов протянул затекшую руку, стал слабо шевелить пальцами – и вдруг пальцы наткнулись на бутылку. Гуторов осторожно взял бутылку, ощутил ее тяжесть, прохладу, нежно погладил, привычно определяя фасон. «Чебурашка!» – с замиранием прошептал он, лежа крокодилом под батареей парового отопления.

Пробка легко поддалась, и пиво хлынуло, обдирая горло, в утробу. Через пять минут Гуторов охмелел и легко

и безмятежно уснул. И снился ему старик с высоким лбом, с ясными синими глазами и в красном диковинном одеянии – с крестами на плечах.

2002

КАЗИНО ДОКТОРА БРАУНА

Ледяной городок искрился и сиял. Толпа сосредоточенно гуляла. Из-за прозрачной стены через равные промежутки времени выносились закуржавевшие, пышущие белыми клубами лошади, тащившие легкие сани, из которых раздавался сдавленный женский смех и тяжелый мужской гогот. Гигантская елка – вся в огнях и гирляндах, с мигающей орвелловской цифирью – была увенчана красной пятиконечной звездой.

Я смотрел на ледяной городок и никак не мог избавиться от ощущения, что на меня тоже кто-то смотрит. И смотрит не из толпы, блуждающей между ледяных глыб, а откуда-то сверху. Я обернулся и задрал голову. Под золоченым шпилем горсовета холодно мерцали городские часы. Подсвеченные снизу, мрачно стояли гипсовые рабочие и колхозницы с символически мощными шеями и руками. Техническая интеллигенция с чудовищно развитыми мышцами напряженно держала в пудовых кулаках свои циркули, тубусы и книги по сопромату, но стояла эта интеллигенция как-то нерадостно. Кое-где гипс отвалился, и из окаменевшей плоти бесстыдно торчали ржавые кривые железяки.

В темном мутном небе иногда проносились длинные снежные вихри. Из металлических репродукторов гремела музыка.

И тут бы самое время появиться Альфреду Хичкоку. Но не Хичкок явился мне, а с лошадиным лицом изможденный мужик в черном новеньком бушлате и с сидором за спиной. Он улыбался железными зубами и нежно смотрел на сверкающую огнями елку.

– Красота! – прошептал мужик и осторожно двинулся в толпу, растопырив свои руки-грабли.

Скрипнула, заскрежетала, пошла натужно карусель,

стала раскручиваться, все убыстряя и убыстряя свой бег, и вот уже взлетели деревянные кони над островерхими ледяными теремами, унося седоков в морозную темень, но тут же вернулись из тьмы, пронеслись мимо и опять канули во тьму, чтобы обреченно из тьмы вернуться.

Я вздохнул и совсем уж собрался покинуть гульбище, как вдруг из толпы вышел какой-то странный тип с коробом на шее. На плече у него был пристроен здоровенный попугай из папье-маше. Попугай был как живой, но тип – то ли от холода, то ли от водки – был мертвенно бледный, как восковая персона, изображавшая некрасовского коммивояжера. Из-под треуха торчала русая пакля. Окостеневшие губы коробейника вдруг медленно разлепились, и он заговорил невнятным голосом автомата:

– Мы предлагаем вам участие в праздничной лотерее. Фантастический выигрыш. Минимальный риск. Испытайте судьбу. За одну секунду вы можете стать обладателем целого состояния. Не отказывайтесь – удача сама идет вам в руки. Цена билета – десять рублей. Всего десять рублей – и вы участник грандиозной лотереи.

Коробейник глядел куда-то в сторону остекленевшими глазами, что-то бубнил себе под нос, и вроде бы как собрался уже уходить, и уже повернулся ко мне спиной и побрел обратно в толпу, как я вдруг обреченно понял, что плакали мои денежки.

Только что я выручил красный хрустящий червонец, отдав букинистам, вечно толкущимся на Вайнера, томик Багрицкого. Отличного Багрицкого из «Библиотеки поэта». Уже полчаса я чувствовал себя настоящим богачом. И я знал, как потратить эти деньги! Сначала – в «Аметист». До семи надо успеть. Мельхиоровый браслетик для Ленки – три пятьдесят. Потом в наш магазин. Значит, так: бутылка болгарского вина «Мелник» – рубль восемьдесят, чекушка водки – два рубля четырнадцать копеек, курица потянет рубля на три… Может, нашу, рефтинскую? Дешевле выйдет. Нет, лучше венгерскую – в упаковке. Венгерский же зеленый горошек – сорок копеек, три килограмма картошки – пятьдесят четыре копейки, круглый алтайский хлеб – двадцать восемь копеек,

пачка сигарет «Стюардесса» – тридцать пять копеек… Нет, не получается. Ладно, бог с ней, с чекушкой… И так вот шел я и размышлял о приятном, как – на тебе! И откуда этот черт только вывернулся?!

В мутном небе что-то заворочалось, щелкнуло, зажужжало, и над площадью прокатился гулкий железный звук. Начали бить часы на городской ратуше.

– Стой! – завопил я, и коробейник немедленно развернулся и встал передо мной, как лист перед травой.

Он зубами стянул с правой руки шубенку, покопался в коробе и ловко развернул веером перед самым моим носом радужные билеты. Тут я и сам не понял, как червонец из внутреннего кармана моего пальто был извлечен моею же рукой и отдан запросто за глянцевый бумажный прямоугольник.

Коробейник немедленно сгинул, а я остался стоять дурак дураком.

На билете был изображен портрет какого-то старика в пышной овальной раме, увенчанной вензелем «Э. Б.», слева – серия, справа – номер. Ажур. По краю билет был прострочен серебряной нитью. На обратной стороне было вязью написано: «Д-р Браун приглашает» и внизу, помельче, прямым шрифтом – адрес: переулок Химиков, 3*а*. Я вдруг понял, что это совсем рядом, буквально за углом.

Дверь была старая, изъеденная древоточцем, а хромированная замысловатая ручка – совершенно новая. Я осторожно потянул дверь на себя. Увы-увы! Впрочем, этого следовало ожидать. Я уже собирался пуститься в обратный путь из этого чертового переулка, заставленного строительными лесами и бочками, как негромко щелкнула пружина замка и дверь распахнулась. Молодой человек с короткой стрижкой и неулыбающимся лицом забрал мой билет, мельком глянул на него и кивнул головой. И я вошел.

Что я ожидал здесь найти? Никакой рулетки, никаких ломберных столов с зеленым сукном, исписанным мелом. Это было обыкновенное затрапезное кафе с пустой гардеробной, с нечистым полом и пластиковыми столика-

ми, за которыми никто не сидел. На окнах висели тяжелые серые шторы. Зеркальный буфет в глубине зала отражался в противоположной зеркальной стене, и мутное пространство кафе увеличивалось многократно в обе стороны, множа и мою унылую фигуру. Здесь можно раздеться, вежливо сказал молодой человек. Вдруг остро захотелось уйти, но я почему-то покорно стянул с себя пальто, а шапку и шарф судорожно запихнул в рукав. В обмен на свое добро я получил латунный жетон, который, не глядя, сунул в карман брюк. Молодой человек немедленно растворился в темном углу, а я сел за столик.

Подошла бесплотная официантка. Будете что-нибудь заказывать? Я как-то смутился. За счет заведения, сказала официантка, совершенно верно истолковав мое смущение. Портвейн, нагло ответил я. Хорошо, бесстрастно сказала официантка. Три семерки? А что, как можно холоднее спросил я, у вас порто есть? Сандеманн? У нас и кокбурн найдется, неожиданно улыбнулась официантка и ушла. Я разозлился. Что за игра, черт подери! Желание немедленно встать и уйти из этой забегаловки уже просто распирало мою грудь. Серое мое пальто сиротливо висело в гардеробе. Наверно, так же в чуланах сумрачного ада томятся всеми забытые души, висящие на уходящих в бесконечность вешалках. Бесшумно, как суккуб, появилась и, звякнув стеклом, тут же исчезла официантка. Однако парочка, поежился я.

Вино было в графинчике из тонкого стекла, очень напоминавшем колбу из какой-нибудь алхимической лаборатории монаха-францисканца, колдующего над винным спиритусом. Я сделал глоток и чуть не поперхнулся – это было отличное вино! Такое вино никак не могли подавать в этой забегаловке! Такое вино могли попивать разве что м-р Холмс и м-р Ватсон, посиживая у камина на Бейкер-стрит промозглым вечером. Я сделал еще несколько добрых глотков, и полумрак в зальчике рассеялся, и зеркала засветились теплым серебряным светом. Что-то затрещало, промелькнул слюдяной оранжевый вертолетик, и на горлышко графина села стрекоза. Я осторожно протянул руку, но пальцы мои ухватили пустоту.

– Я попрошу вас пройти за мной, – прозвучал надо мной бесцветный вежливый голос. Молодой человек, открывавший мне давеча дверь, почтительно замер в полупоклоне. Глаза его не улыбались, но губы предупредительно были растянуты. Я залпом допил вино и с какой-то судорожной готовностью встал. Мы пошли в глубину кафе, и в зеркалах отразилось мое довольно глупое лицо.

Меркурий открывал двери, предупредительно их придерживая, дверей было множество, мы все время неожиданно сворачивали в какие-то коридорчики, поднимались по коротким лестницам, и через несколько минут холодок пробил меня до самого сердца: я понял, что ни за что не найду дорогу обратно.

– Э-э… Простите! – решительно сказал я, но спутник мой приложил палец к губам. Мы остановились перед высокой дверью, которая тут же и открылась. Я сделал шаг и оказался в небольшом кабинете.

На стене висел портрет седовласого джентльмена с совершенно безумными глазами. Под картиной в высоком кожаном кресле, за большим письменным столом сидел… Ей-богу, я его узнал! Это был тот самый тип с площади, только без своего дурацкого парика и без кафтана. Одет он был в черный смокинг, на носу его посверкивали очки без оправы, набриолиненная голова сияла косым пробором, а на среднем пальце правой руки сыпал радужные искорки перстень. И был он очень живым – эдакий господинчик.

На столе стояла высокая настольная лампа под зеленым стеклянным плафоном, лежали какие-то бумаги, шкатулки, открытая деревянная коробка, в которой, как боезапас в снарядном ящике, лежали толстые черные сигары. На краю стола примостились небольшой плоский телевизор светло-серого цвета и странная кривая доска с клавишами. Рубиновым цветом горела какая-то пластиковая штучка, похожая на большого жука. На экране телевизора колыхались водоросли и плавали тропические рыбки. По правую руку от сидящего высилось диковинное сооруженьице – что-то наподобие макета индуистского храма.

Господинчик, крутнувшись вместе с креслом, встал, ловко обежал стол и энергично протянул мне руку.

– Поздравляю! – пропел он.

Мы обменялись рукопожатием, потом я был усажен на жесткий тяжелый стул, а хозяин опять воцарился за столом.

– Вам не просто повезло, – улыбаясь, сказал господинчик и потер ладошки, сверкнув перстнем. – Вам неслыханно повезло! Вы вытащили свой выигрышный билет! Свою золотую фишку!

Я открыл рот, но мой визави сложил умоляюще руки на груди:

– Молчите! Молчите! У вас, наверно, голова идет кругом? Это портвейн! Это просто отличный портвейн двадцатилетней выдержки будоражит вашу кровь. Может быть, сигару? Отличные бразильские сигары! Черный табак! Нет? Предпочитаете кубинские? Понимаю. Ну ладно. Перейдем к делу.

В руках его появился билет, который и привел меня сюда. Он внимательно осмотрел его, изучил с двух сторон, зачем-то понюхал, отложил в сторону, что-то пробормотав себе под нос, накрыл ладошкой рубинового жука и стал елозить им по столу, хищно вперившись в телевизор. Экран вспыхнул ярким зеленым светом, озарив его лицо. Господинчик на секунду замер, медленно поднял обе руки, обнажив белоснежные манжеты, и вдруг обрушился всеми пальцами на клавиатуру, как будто вознамерился сыграть на этой маленькой трескучей доске «Аппассионату». При этом он все время внимательно смотрел на экран телевизора. Он явно напоминал музыканта, который зорко читает ноты, лежащие перед ним на пюпитре. К сожалению, мне не было видно, что происходит на экране, но я дорого бы дал, чтобы хоть одним глазком поглядеть в этот телевизор. Что это за штука такая? М-м-да. Попал я в переплет.

Закончив свои странные манипуляции, господинчик достал из стола черную бархатную коробочку, в каких обычно продают ювелирные украшения.

– Это ваше, – он выложил на стол желтый металлический кружок и мягко двинул его ко мне.

– Что это такое? Памятная медаль? Или что? Что-то я должен сделать? – усмехнулся я. – Подписать кровью договор? И будет мне счастье. Не так ли, доктор Браун?

– Вы шутник! – рассмеялся господинчик. – Во-первых, я не доктор Браун. Моя фамилия Савояж. Доктор Савояж, если угодно. А доктор Браун – это наш патрон.

Он вывернул голову и посмотрел на портрет.

– Эммет Браун! Феноменальный ум! Гений! Вы с ним скоро познакомитесь. Во-вторых, оставьте вы всю эту средневековую чепуху. Эк вас развезло, однако! Это обыкновенная лотерея. И вам выпала необыкновенная удача. Воспользуйтесь ею. А смысл всего происходящего вы поймете позже. Гораздо позже. Вы никогда не были в Диснейленде? – И тут этот самый доктор понес уже совсем какую-то околесицу. – В студии «Юниверсал»? Или «Метро Голдвин Майер»? В Эпкот-парке? О! Это настоящая история цивилизации!

Эге, подумал я, да тебя, доктор, самого лечить надо. Я мельком глянул на кружок и обнаружил, что на нем изображен тот самый человек, что красовался на портрете. Доктор Браун. Безумный доктор Браун. Ага, кажется, он же был изображен и на счастливом, если верить словам господина Господинчика, билете.

– Нет, – сказал, – я никогда не был в Диснейленде, как, впрочем, и в других перечисленных вами заведениях. Меня разыгрывают? Что здесь происходит, господин… Саквояж?

– Савояж. Моя фамилия Са-во-яж.

– Простите, – смутился я.

У самого моего лица прошуршал слюдяной вертолетик. Синяя стрекозка села на коробку с сигарами. Крылышки ее подрагивали. Внезапно раздался скрипучий звук. По стене метнулась тень. Огромная черная бабочка шумно зависла над столом. Савояж протянул руку, и бабочка рухнула ему на ладонь. Он внимательно стал рассматривать ее подрагивающее тельце, а я вдруг с ужасом увидел, что на спинке бабочки явственно проступает желтый человеческий череп! Савояж посмотрел на меня и усмехнулся:

– Что вы, право. Обыкновенный бражник. Тривиальное название «мертвая голова».

Он сжал пальцы, но я не услышал хруста ломаемых крыльцев. Мелькнула тень.

– Голография. Программа «Бабочки и стрекозы». Однако продолжим. Вас ожидает настоящее приключение! – Доктор Савояж чмокнул губами. – И я вам сейчас объясню, что вы должны делать. Вы возьмете эту золотую фишку – берите, берите! – и пойдете в комнату, где играют в рулетку. Вы можете поставить три раза. В любом случае вы ничего не проиграете.

Он неожиданно тепло улыбнулся.

– Это аттракцион! Это просто аттракцион! Но он великолепен!

– А если я откажусь?

Доктор Савояж нахмурился.

– Согласно нашим правилам если вы отказываетесь от игры, вы получаете денежную компенсацию, – сказал он официальным тоном. – Да, денежную компенсацию в размере... пяти тысяч рублей.

Пот прошиб меня. Пять тысяч рублей!

– Деньги большие, – продолжал он довольно сухо, – вы можете на них купить трехкомнатную квартиру. Или автомобиль марки «жигули». Но, уверяю вас, потеряете гораздо больше, если откажетесь играть.

– И что, если я откажусь, вы сейчас же выдадите мне всю сумму?

– Можете не сомневаться.

В его руках появилась сигара, доктор Савояж откусил кончик, брезгливо его отплюнул в сторону и щелкнул большой блестящей зажигалкой. Синий дым поплыл по кабинету.

Пять тысяч рублей! Нет, этого не может быть! Это какой-то мираж, сгинь, нечистая сила, чур меня, но – пять тысяч рублей!.. Если с доплатой обменять мою однокомнатную квартиру на трехкомнатную – то это обойдется всего в половину суммы! На пятьсот рублей купить необходимую мебель – лучше подержанную. Остается две тысячи. На две тысячи можно спокойно жить полтора

года. Ну, если не гулеванить. А за полтора года можно закончить наконец книжку, которая складывалась в голове и рукопись которой – листа примерно в три – не дает мне покоя всю эту зиму.

Дело в том, что я считал себя в некотором роде писателем, хотя, конечно, никаким писателем я вовсе не был. Настоящие писатели пишут толстые романы, печатают их в толстых журналах, а толстые критики пишут про них статьи (впрочем, критики могут быть и худыми). Я же учился заочно в Литературном институте имени Горького, что-то писал морозными ночами в пустой гулкой школе, где подрабатывал сторожем, но, как вы понимаете, этого будет достаточно, только чтобы *прослыть* писателем.

Меня чрезвычайно занимал феномен прошлого. Я догадывался, что оно неправдоподобно. Я понимал, что его невозможно воссоздать в абсолютной реальности, во всех немыслимых подробностях. Настоящее громоздилось на дворе гигантской ледяной глыбой, похоронив в себе это самое прошлое. Сквозь мглистый непрозрачный лед то там, то сям только угадывались диковинные артефакты или искаженные мукой лица. А что там было вморожено в глубине? О, если этот айсберг когда-нибудь разморозится, то, пожалуй, и потоп случится, думалось мне. Как бы то ни было, а все это можно было отнести к явлениям сугубо природным. Но однажды мне показалось, что я нашел формулу, открывающую настоящее, – нет, конечно, не всеобщее настоящее, которое непременно с большой буквы пишется, а индивидуальное, личное, которое опирается на память и интуицию. Размышляя о прошлом и настоящем, я невольно задумался о будущем, о парадоксах времени и пространства и еще о многих интересных вещах, таких, например, как *забвение* и *бессмертие*. Перелопатив груду книг известных физиков, философов, историков, я понял, что они не только не прояснили моего сознания, но, напротив, еще более замутнили его. Я купил бутылку крымского вина и через своего приятеля напросился в гости к одному страшно умному человеку, который немцев читал в подлиннике,

знал японский, латинский, был герменевтиком, феноменологом и еще, кажется, йогом. Вино он пить отказался, внимательно выслушал мои соображения, вежливо прочитал мне целую лекцию по истории философии и в завершение снисходительно назвал меня наивным бергсонианцем. Я был в отчаянье!

Метельной ночью я возвращался домой через парк Павлика Морозова и вдруг остановился пораженный. На черном косом столбе висел фонарь под широкой жестяной шляпкой. Свет стоял куполом. Мелкие снежные вихри влетали в освещенное пространство и крутились там, вспыхивая оранжевыми искрами. Наметенные сугробы под фонарем отливали слабым нежно-зеленым цветом. Может быть, это было что-то сродни дальтонизму, только это настолько потрясло меня, что дальше я шел, бормоча какие-то несуразные строчки, которые вспыхивали в моем мозгу, как фотовспышки.

Нет, научный трактат написать я был не в состоянии, ибо не хватало слов, понятий, системного образования, наконец. Прав был сердитый философ. Но я вдруг догадался, что изложить смутные свои идеи можно совсем другими средствами. Правда, нужно было найти очень точную форму. Ну или максимально приблизиться к ней. А это требовало особого состояния, сосредоточенности, но отнюдь не времени. Исполненного мужества Мартина Идена с великолепными рассказами «Котел» и «Вино жизни» заслонил чахоточный Бриссенден с магической рукописью в кармане длинного черного пальто.

Я с тоской вспомнил редакцию университетской многотиражки, куда вынужден был ходить на службу за сто девять рублей в месяц, где приходилось вести нескончаемые политесные разговоры с главным редактором, в общем-то милой женщиной, править бездарные статьи в общем-то даровитых журналистов, а по вечерам пить в пустой редакции мерзкое вино со старым другом, ассистентом кафедры современного русского языка, и читать ему свои стихи с плохими рифмами. А тут махом решаются все проблемы! Это ведь даже не деньги – это деньжищи! А как я их отсюда вынесу? А как я их понесу

домой? По темному переулку? Нет-нет, это какая-то ловушка…

– Мне понятно ваше смятение. Не волнуйтесь, у нас есть автомобиль, который доставит вас до самого подъезда.

Савояж помолчал, пыхнул сигарой.

– Итак, решайтесь! – вдруг рявкнул он.

И я потянулся за желтым кружком, который нестерпимо сиял в свете настольной лампы. Савояж удовлетворенно кивнул.

– Не забудьте, вы можете поставить только три раза. У Пушкина, помните?

– Что у Пушкина? – в полуобморочном состоянии прошептал я.

– В «Пиковой даме».

– Э-э… Там, кажется, Германн сошел с ума.

– Не бойтесь. Вам это не грозит. Но все-таки играйте осторожно.

Савояж хлопнул рукой по странному сооруженьицу, оказавшемуся обыкновенным звонком, и властно обратился к колыхнувшимся портьерам:

– Проводите клиента, Роберт. И побудьте при нем, вдруг понадобится ваша помощь. Да, и дайте ему галстук!

Выпучив глаза, он затянулся сигарой и стал медленно цедить дым сквозь тонкие губы, окутывая себя сизыми клубами, пока не исчез вовсе за легким слоистым занавесом.

Интересно, что он обратился к неведомому Роберту по-английски, но самым интересным было то, что я легко понял смысл сказанного. Я, честно говоря, думал, что мой английский значительно хуже.

– Follow me, – услышал я негромкий голос и покорно пошел за невесть откуда взявшимся распорядителем, повязывая на ходу невесть откуда взявшийся галстук.

Нам опять пришлось проделать путь по лабиринту, но это был совсем другой лабиринт! Это были не холодные загаженные коридорчики и лестницы внутриутробного общепита, отделанные линолеумом с алюминиевыми угол-

ками, где воняет прогорклым маслом, жареным луком, гнилой картошкой и еще черт знает чем, что, вероятно, и есть-то нельзя, но, однако же, подается в столовых как суточные щи и рубленые бифштексы, – мы шли по вощеному паркету через полутемные большие комнаты, в которых стояла антикварная мебель, а стены были обиты узорчатыми тканями. Высокие белые двери с пружинными ручками из красной меди бесшумно распахивались, являя роскошное старорежимное благолепие. В обширной зале, устланной пестрыми коврами и заставленной колоссальными книжными шкафами, я притормозил. За стеклами золотом блестели корешки книг. На специальных подставках, задрапированных грубым серым холстом, стояли мраморные головы и бюсты. В мощных темных рамах висели писанные маслом портреты каких-то важных людей в сюртуках, фраках, мундирах, а иногда в старомодных пиджаках. Небольшие гравированные портреты в бежевых паспарту были обрамлены легким серебряным багетом. Ба! Да это же Пушкин! Добрый вечер, Александр Сергеевич! Не ожидал... Ну разумеется, Николай Васильевич Гоголь... Михаил Юрьевич Лермонтов... А это кто? С таким шикарным галстухом? Гм! Никак Владимир Федорович Одоевский? Предположим. Тогда вот этот важный человек, возможно, барон Брамбеус. Логично, но дальше должен следовать, например, Антоний Погорельский... Или Сомов. И какой-нибудь господин Загоскин-с! Да-да, тот самый.

Над деревянной конторкой, испачканной фиолетовыми чернилами, в несколько рядов висели превосходного качества дагеротипы и старинные фотографии, наклеенные на картоны. Там были типичные французы, еще несколько джентльменов – похоже, англичан, какие-то немцы и один явный поляк. Над широким письменным столом, на котором громоздился чудовищный ундервуд, канцелярской кнопкой был пришпилен вырезанный из какого-то журнала портрет Эйнштейна с высунутым языком, а ниже – цветные фотоснимки совсем непонятных господ новейшей выделки. Может, американы? У меня возникло ощущение, что все они люди известные. И не

будь так темно, я бы пригляделся к ним более внимательно. На одном снимке старик в темной клетчатой рубахе склонился с авторучкой над листом бумаги. На переднем плане лежали в беспорядке книги в лиловых обложках. Он был очень похож на моего водителя по странноприимному дому. Только лет на двадцать старше. Лицо его было изборождено морщинами. Я оглянулся. Почтительно стоявший за моей спиной Роберт с недоумением поднял брови, пожал плечами и улыбнулся. Да нет же, человек на фотографии не может быть старше самого себя и всегда выглядит моложе. Но очень похож.

Я остановился перед мраморной головой восточного мудреца. Длинная заостренная борода, тюрбан... Нет, скорее маг, а не философ.

– Пифагор, – объявил мой спутник по-английски. – Этот экземпляр – из Мемфиса.

Рядом стоял небольшой бюст еще одного мудреца. Портрет был великолепен! На цилиндрическом цоколе было высечено по-гречески «Аристотель».

– Из коллекции Фульвия Урсина, – сообщил Роберт.

– А это, – он кивнул на мрачного бородача, – Платон. Работа Силаниона.

– Отличные копии! – восхитился я, старательно выговаривая английские слова.

– Это оригиналы, – улыбнулся Роберт.

Я обалдело уставился на него.

– То есть как это? – пробормотал я по-русски.

– Надо перекурить, – сказал Роберт тоже вполне по-русски, и в руке его появилась пачка «Мальборо».

Он широким жестом пригласил меня присесть за низкий столик, на котором стояла массивная хрустальная пепельница.

– Из местного буфета? – сдержанно поинтересовался я, закуривая.

– Что? – рассеянно переспросил Роберт. – А! Нет, это из моих запасов.

Он с наслаждением затянулся. Синий дым заклубился над нами. Роберт усмехнулся:

– Абсолютное оружие!

– Хорошо. Я не спрашиваю вас, что это за заведение. Хотя вопросов много. Я не буду спрашивать, что это за лотерея такая – сам пришел к вам. Но ответьте, ради бога, что значит «оригиналы»? Я ведь не какой-нибудь невежда. Я античную литературу сдавал Станиславу Бемовичу Джимбинову. Ходил на лекции Азы Алибековны Тахо-Годи. Латинские тексты со словарем худо-бедно разбираю. Как, впрочем, и немецкие.

Роберт с интересом смотрел на меня, попыхивая сигаретой. А я распалялся:

– Так вот. Герман Хафнер в своей книге, изданной три года назад издательством «Экон Верлаг», утверждает, что статуя Пифагора в Мемфисе – без головы! А великолепный бюст Аристотеля из коллекции Фульвио Урсино бесследно исчез давным-давно, и нам известен только по рисунку Теодора Галле, хранящемуся сейчас в Ватикане.

– Пожалуй что так, – кивнул головой Роберт. – Кстати, где вы достали Хафнера? Я помню это дюссельдорфское издание.

– На книжной толкучке. В «Яме». На Шувакише.

Видя, что он совершенно не понимает нашу географию, объяснил ему, what is Шувакиш.

– Шу-ва-киш? – Он засмеялся. – Чудесно!

– Да, это все чудесно. Но, однако же, давайте объяснимся.

– Ну что вы, право, зачем же все объяснять? А тайна? Без тайны никак нельзя. Вы сами все скоро поймете.

Он загасил окурок в пепельнице.

– Нам пора.

И больше мы нигде не останавливались.

Наконец мы оказались перед дверью, украшенной затейливой резьбой. И на каждой створке – косматые головы львов с разверстыми пастями, из которых торчали нешуточные клыки.

Я шагнул за дверь, путаясь в портьерах, и встал, пораженный: это было настоящее казино! В полумраке горели желтые абажуры, ловкие белые руки сновали над зелеными столами, раскидывая пестрые карты, слышались приглушенные голоса, и все было чинно-благород-

но, как в каком-нибудь французском кино про роскошную жизнь.

Народу было немного. Лампы висели очень низко над столами, и лица были неразличимы. Но одно мне показалось знакомым… Нет, этого не может быть! За игорным столом сидел… Адриано Челентано! Он был в белом смокинге. Перед ним возвышалась гора фишек. Рядом на узкой тележке с резиновыми колесиками стояла большая тарелка с какой-то невиданной едой. Челентано метнул пригоршню фишек в центр ломберного стола, наклонился к тарелке и, не сводя глаз с банкомёта, стал есть. Еду он брал прямо рукой, сложив пальцы в щепоть, и глотал ее практически не жуя. Через минуту тарелка была пустой. Из кармана брюк он достал большой мятый платок, вытер им жирный рот, руки и начал собирать фишки в столбик своими тонкими пальцами. Возникло ощущение, что вот сейчас он высоко закинет голову, выпрямит горло и отправит все эти фишки в рот. На десерт, так сказать. Но синьор Челентано, подняв руку, картинно высыпал их в центр стола. Что за дьявольщина! Я пригляделся. Челентано был очень похож на писателя Александра Верникова, которого друзья зовут запросто – Кельт. Может, это все-таки Кельт и есть? Зашел, как говорится, сорвать банчок. Тогда не буду ему мешать. Игра – дело серьезное. Особенно если это карточная игра.

Я подошел к столу, где крутилась рулетка. Немногочисленные игроки в смокингах и нарядных платьях делали небольшие ставки, крупье бросал шарик, и шарик, подпрыгивая, с треском бежал по пестрому колесу. Крупье объявлял, что ставки сделаны и что ставок больше нет. Колесо бесшумно вращалось. Крупье глухо объявлял выпавшую цифру и лопаточкой на длинной ручке ловко двигал фишки по столу – в основном греб к себе.

Я вдруг понял, что совсем не умею делать ставки и что вообще первый раз стою за игровым столом.

– Э-э… Давненько я не играл в рулетку, – ухмыльнулся я. – Честно говоря, даже не знаю правил. Помогите мне, Роберт… Простите, как вас по отчеству?

– Хм! Допустим, Иванович.

– Итак, Роберт… Иванович…

– Слушаю вас, – учтиво склонил тот голову.

Я вспомнил нехитрые правила Булгакова.

– Поставьте на «красное», – сказал я и протянул ему свою фишку.

Мне показалось, что его бесстрастное лицо исказилось в усмешке. Нет, почудилось. Роберт Иванович положил на стол золотой кружок, и вдруг наступила абсолютная тишина. И хотя лица были скрыты в тени абажура – я понял, что все смотрят на меня.

– Ставки сделаны, ставок больше нет, – тускло сказал крупье. Все замерли.

– Вы откуда, Роберт… Иванович? – прошептал я.

– Из Портсмута, – так же шепотом ответил он. – Только не из британского. Из американского. А по-русски уже здесь… насобачился.

И как будто бы зазвучала музыка, нет, это была не музыка, это была просто груда хрустальных звуков, которые ссыпались в большую стеклянную воронку.

Я не услышал, что объявил крупье, но Роберт Иванович, склонившись ко мне, тихо сказал:

– «Красное» выиграло.

И вот тут-то действительно грянула музыка, но, похоже, услышал ее только я один.

Магнитофон орал как оглашенный. Узкая коричневая лента с левой бобины тихонько вползала ему в нутро, и звуки, скрученные в рулончик, таинственным образом преобразовывались в музыку. Музыка была польская. Но по звучанию – вполне английская.

Жиденькая елка стояла в углу комнаты. Вместо игрушек на ней висели оранжевые морковки, малиновые свеколки и большие светлые яблоки.

Я – незримый – сидел за столом, и мутная белая брага стояла передо мной в жестяной кружке. Горели стеариновые свечи. Лица людей, сидящих вкруг стола, были неясными. Но люди разговаривали знакомыми до боли голосами. И говорили и спорили о вещах столь умных и странных, что можно было подумать, что я попал на какой-нибудь диспут, проводимый обществом «Знание».

Я прислушался.

– Планета – это саморегулирующая система. Она сама обеспечит людей и топливом, и едой, и водой. И не будет никакого перенаселения.

– Э-э! Ребята! Хорош! Новый год скоро!

– Нет, подожди! Это, знаешь ли, очень оптимистический взгляд на цивилизацию. Но вот все истребительные войны двадцатого века, все эпидемии – никак не привели к уменьшению популяции хомо сапиенса. Наоборот, население планеты увеличилось в несколько раз. И заметь, как оно активно осваивает Землю. А недра истощаются! Рано или поздно мы вычерпаем все! И что? Будем бессмысленно сидеть под безнадежно закопченным небом? И ждать каких-нибудь инопланетян? С какой-нибудь... альфы Центавра? И чтобы они тут нам все обустроили. А если это будут не добрые пришельцы, а зловреды какие?

– Во-во! Инопланетяне! «На Тау Ките условья не те...»

– Нет, мысль про зловредов мне нравится. Вернее, совсем не нравится.

– Э-э, вы, братья, фантастики начитались. Вы бы лучше переписку Сталина с Рузвельтом и Черчиллем почитали. Особенно интересно про ленд-лиз...

– Да не будет нам больше никакого ленд-лиза!

– Ладно, ладно. Ты только рубашку на себе не рви. Так я не понял, ты что, против прогресса?

– Да не против я прогресса! Я – за! За полную механизацию. Боюсь только, это нам не поможет, а, наоборот, приблизит конец. Наизобретаем машин, роботов и, думаю, сами сможем – предположим, разумно – обустроить Землю. Но не об этом речь. Ну обустроили. А потом-то что? Сидеть в палисаднике, пить пиво и играть в шахматы? Покрываться мхом, лишайниками и плесенью?

– Из плесени, между прочим, пенициллин делают.

– Вот-вот! И будут какие-нибудь таукитяне из нас пенициллин делать.

– Слышь, братья, что я вам расскажу! Мы с Хиппой в пятницу коровник разбирали, ну, спорим, как обычно. Старик Язепс ходит кругами, молчит, только глазами зыркает. Сели перекурить. Опять заспорили. Хиппа вдруг как

заблажит с латышским акцентом: «Поспорил старенький аутомобил, что пробегит он четыреста мил...» Вскочил – и гран-батман кидает! Старик Язепс буркалы свои свинцовые выкатил, в Хиппу пальцем ткнул и говорит: «Ты – Солженицын!» И глаза у него были, скажу я вам, как у героического пулеметчика. Валерка, кто такой Солженицын?

– Хиппа – Солженицын? Ой, умереть не встать! Это старый хрен, наверно, Би-би-си наслушался. Или «Крокодила» начитался.

– Дваволоди говорили, что старик Язепс из латышских стрелков.

– Суровый дед.

Я сосредоточился и стал наводить резкость. Голоса стали более внятными. Тени стали четче, лица прояснились. Вкруг стола сидели молодые кудлатые волки, и в их глазах горели зеленые огоньки.

– Значит, мир обречен? Значит, мир катится к черту?

И молодые волки задумались и приуныли. Они были молоды и отважны, и они не боялись изможденного будущего, и не пугали их ни каменные пустыни, ни каменные джунгли.

Они бежали в Америку.

После девятого класса все пошли подработать в геофизической экспедиции. На исходе лета как-то вдруг стало ясно, что в школу они не вернутся. Они вытащили свой звездный билет.

Были они дерзкие и красивые в свои шестнадцать лет, и им нравилось самим управлять своей жизнью. Электрическая мысль была прямая, как железнодорожная магистраль: они договорились доехать до ближайшего морского порта, пробраться на торговое судно, спрятаться где-нибудь в трюме и в первом же иностранном порту смыться на берег. А уже там – в Америку! Через континент, понятно, на «пульманах с боковым затвором» или автостопом. «Ветер мчится – хо-хо-хью! Прямо в Калифорнию!» Встречай нас, город Сан-Франциско! Они готовы были рискнуть – и пройти тропою ложных солнц, и раствориться в белом безмолвии.

Хиппа продал на рынке за полцены свой двухскоростной мопед «Верховина-3», Боб продал только что купленный к десятому классу костюм, Валерка взял сто рублей в серванте. Команча только подпоясался. Денег хватило до Риги, хотя экономили страшно: в столовых брали один чай, ели запасенные черный хлеб с копченым венгерским салом. Уже в дороге они перестали говорить об Америке. Но им страшно нравилось таинственное, магическое путешествие.

Они побродили по улицам иностранного города Рига, доели хлеб с салом и на малиновом поезде уехали в Сигулду. Валерка все повторял: «Сигулда вся в сирени, как в зеркала уронена: зеленое на серебряном, серебряное на зеленом».

Сигулда и окрестности – все было затянуто туманом. Сквозь белесую пелену проступали гигантские черные ели и жухлые дубы, облитые тонким мхом. В глухой тишине горели красные ягоды «волчьего лыка». Влажный запах прели тревожил ноздри. В открытых садах светились яблоки. Иногда они беззвучно срывались с ветвей и скатывались к краю дороги. Из тумана выходили молчаливые люди и бесстрастно глядели на мальчишек, медленно поворачивая им вслед плоские лица.

Жутко хотелось есть, но отчаянья не было.

Они начали выживать. Батрачили за бобовую похлебку на зажиточных латышей, которые передавали их из рук в руки, пока буфетчица Парсла из харчевни «Рябая собака» не подсказала, что делать. И они чин-чинарем устроились в научно-опытном хозяйстве на заготовку дров. Дали им две комнаты на хуторе Вецкренис, и они зажили как трудолюбивые гномы.

Из соседнего хутора Мулдас наезжали на мотоцикле неразлучные, как сиамские близнецы, Дваволоди – привозили самогонку, подкрашенную жженым сахаром, слушали грустно гитару. Приходил юноша Юзек – приносил магнитофон с польскими скальдами, хвастался свежим маникюром. Иногда Белоснежкой приходила Парсла, приносила яблочную водку и кислое цесисское пиво.

Потом выпал большой снег. Декабрь стремительно

убывал. Стали прибавлять дни, но мальчишки этого не замечали. Елку срубили в лесу, а украшения добыли в соседских мешках, безмятежно стоящих в коридоре.

– Есть выход! – вдруг завопил один из доморощенных футурологов. Он вскочил, опрокинув тяжеленный табурет с дыркой в форме сердечка, рванул на улицу. И вслед за ним потянулись другие. Они столпились на крыльце и с интересом наблюдали, как их товарищ, взрыхляя легкий снег, стремительно выбежал на середину двора и завопил: «Есть выход!» И яростно вонзил руку в темное небо, на котором слабо проклюнулись гирлянды созвездий. И все задрали головы и увидели, как истончается воздушная броня планеты и открываются черные дали, в которых маяками загорались крупные белые звезды. «Космос! Космос спасет человечество! – кричал, как сумасшедший, молодой волк посреди двора. – Мы уйдем в небо!» Он задыхался: «Караваны ракет... От звезды – до звезды!» И всех вдруг охватило волнение, какое, наверно, испытывали моряки Колумба, услыхавшие крик: «Вижу землю!» Они стояли на открытом крыльце дома под красной черепицей и смотрели завороженно в глубокое небо, ощущая колкий морозный озноб.

Я стоял возле игорного стола, и серебряным ознобом был охвачен мой позвоночник. Крупье лопаточкой трогал разноцветные фишки и вдруг, сделав ловкое движение, сгреб их в дыру в столе.

– Удача улыбнулась вам, – шепнул Роберт Иванович. – Где вы побывали? В какие провалились бездны?

Я, совершенно обалдевший, только и выдавил:

– Что за фокус? Гипноз?

– Делайте ваши ставки, господа, – провозгласил крупье.

И опять завертелось колесо.

– Если вы не угадаете, – снова зашептал мой спутник, – игра закончится в тот же момент.

– Что же мы будем делать, Роберт Иванович?

– Я бы вам рекомендовал число тринадцать.

– Нет. На тринадцать мы ставить не будем, – твердо сказал я.

– Вы суеверны?

– Да, я суеверен. Я верю в зайцев, в разбитые зеркала, в число тринадцать и во многое другое. Можете считать это предрассудком. Но ничего не могу с собой поделать. Я не верю, пожалуй что, всяким магам, таинственным консультантам и советчикам. Извините за дерзость. Если играть наверняка, то, мне кажется, нужна другая технология. Скажем, выпадет три раза кряду на «красное», и мы тут же ставим на «черное». Большая вероятность, что «черное» и выпадет.

Игра захватила меня. Колесо крутилось, шарик, подскакивая, бежал по кругу.

– Мне почему-то кажется, что должно выиграть число тринадцать, – спокойно сказал Роберт Иванович.

– Ну хорошо, ставьте на тринадцать! – с отчаяньем прошептал я.

– Ставки сделаны, ставок больше нет, – бесстрастно произнес крупье.

Через несколько секунд он объявил выигрышное число, и это, разумеется, было число тринадцать.

Эге, подумал я, и посмотрел прямо в глаза Роберту Ивановичу. Или как там его. Он пожал плечами.

Зашелестели аплодисменты. И снова грянула музыка.

Серая лента шоссе летела навстречу. Автомобильный приемник был настроен на романтическую волну. Голос был нежен, песня – смуглая и бархатистая. Кажется, это был Хулио Иглесиас. За рулем скалил зубы черноволосый парень. И кажется, его тоже звали Хулио. Рядом величественно сидела Гранд Мама. Впрочем, я так называл ее только мысленно. Хулио (тот, который был за рулем) беспрестанно балаболил. Настроение у него было, несмотря на раннее утро, что надо. Он разговаривал с Гранд Мамой, иногда оборачивался к нам, и глаза его плутовато блестели. Гранд Мама выборочно переводила туда и обратно.

– Я из Чили, – гордо сказал шофер.

– Мне нравится Пабло Неруда, – сказал я. – Но мне не нравится генерал Пиночет.

– А мне нравятся генералы, – весело сказал шофер. –

Мне нравится ваш генерал Лебедь. Жаль, что он не стал президентом.

– Лебедь – хороший генерал, – сказал я. – Я знаком с Лебедем.

Шофер захохотал.

– А я знаком с генералом Пиночетом!

Промелькнул предупреждающий знак, на котором был изображен крокодил.

– О! – сказал я. – Крокодайл!

– Но крокодайл, – сказал Хулио. – Аллигэйтор.

На дорожном указателе было начертано CANAVERAL. Черт подери, подумал я, попасть бы на стартовую площадку.

Гранд Мама обернулась.

– Здесь ненадолго. Смотрим, снимаем, завтракаем и в двенадцать выезжаем. Вечером надо быть в Майами-бич. Я зарезервировала отель «Дезерленд». Утром выезжаем в Ки-Уэст. Кстати, здесь можно спросить космический завтрак. Настоящий. За двадцать долларов. Э-э... Летающий паровоз сняли?

– Йес, мэм! И паровоз, и машину времени. И биллборд с Майклом Джей Фоксом. Док не получился – там аттракцион со стереофильмом. И трясло сильно.

– Какой док?

– Док! Доктор Браун!

– А! Самашедчий? Наплевать! Ты говорил, у тебя лазерная копия есть? Выдернем оттуда и смонтируем.

Мы въехали на парковку. Там и сям торчали ракеты. Как на ВДНХ.

Мишка возился с камерой, а я подумал, что аэропорт в Майами – это скорее космопорт недалекого будущего. В здании аэровокзала уже сейчас можно снимать фильмы про космические путешествия. «Спейс-шаттл МАЙАМИ – АРМСТРОНГ приглашает пассажиров на посадку. Регистрация у девятой стойки». Но русских туристов и колумбийских крестьян больше всего поражают стульчаки в клозетах – нажмет кнопку какой-нибудь обалдуй, и тут же на унитаз ложится чистейшее белоснежное кольцо. Каждый раз – новое. Колумбийцы смот-

рят на эту гигиеническую чепуху презрительно, русские же наслаждаются забавой, вводя в легкую панику обслуживающий персонал. Колумбийцы злобно смотрят на развязных русских, которых они принимают за гринго.

– Миша, сейчас делаем стендап возле «Аполло», потом поснимаешь планы, и встретимся в павильоне – хочу скафандр надеть. Остальные аппараты снимай в одном формате – потом нарезку сделаем.

Космический челнок штурмовали школьники. Завтра они будут штурмовать Марс. Память скользнула по американским горкам и вдруг ухнула в черный провал.

Они сидели за обеденными столиками, и воспитательница Галина Захаровна читала вслух «Волшебника Изумрудного города». В залу вошла заведующая Марина Пална. Она была порывиста, и глаза ее сверкали. Галина Захаровна тревожно посмотрела на нее и отложила книжку. Дети, сказала Марина Пална, и вдруг покраснела, выпучила блестящие от слез глаза и как-то неестественно выпрямилась. Галина Захаровна растерянно встала. Дети, сказала Марина Пална, сегодня произошло знаменательное событие. Она вдруг напряженно застыла и торжественно произнесла: «Сегодня первый советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле “Восток-1” поднялся в космос, облетел вокруг Земли и благополучно приземлился!» «Ура!» – закричал Боб и пнул под столиком Валерку. Остальные сидели молча, только Надька Сапожникова вдруг заревела баском.

По серенькой дорожке я шел к мемориальному сооружению. Накрапывал дождь. Сильно пахло травой. Вот тебе и январь. Да… И кто бы мог подумать. Путешествие длиною в двадцать шесть лет. В семидесятом мы бежали из дома. В Америку. Взбаламутил тогда всех Валерка. Или Хиппа? Начитались, черти. А ведь читали-то разное. Каждый – свое. Кто Аксенова, кто Генриха Боровика, а кто-то и Джека Лондона. И поехали с орехами. С прорехами. Авантюристы. Искатели приключений. Сигулдские сидельцы.

Двухэтажный островерхий дом с красной черепицей стоял на опушке черного леса. К дому вела желтая песча-

ная дорога. Потом выпал снег. По ночам к дому стали выходить зайцы и лоси, а днем на белых полянах появлялись робкие рыжие лани. Молодые волки по утрам хищно осматривали следы на снегу. За два вечера они смастерили копье, большой лук и длинную стрелу с наконечником, сделанным из обломка ножа. По воскресеньям стали уходить в лес выслеживать добычу. Маленький Команча говорил, что ему для верности надо подобраться метров на тридцать. Когда Боб усомнился в его меткости, Команча попросил его снять пальто. Хорошее немецкое пальто серого драпа. Пальто было подвешено на сучок. Команча отсчитал пятьдесят шагов и, почти не целясь, выстрелил. Тяжелая стрела пробила пальто насквозь и завязла в плотной немецкой ткани. Но к ланям близко подойти не удавалось. Возвращались голодные волки затемно, ели фасоль со свиным смальцем и сырую красную свеклу, в которую, похохатывая, впивались своими крепкими зубами. Вы только представьте, братья, что это свежее мясо, говорил Хиппа. Великая штука – воображение! И все весело соглашались с ним, лишь Команча угрюмо уводил Валерку на кухню и там шептал ему, все, не могу больше, надоела животная жизнь, слышь, сагамор, поехали в Набережные Челны, там завод начинают строить, объявили Всесоюзную стройку, а здесь завязли мы, как в болоте, поехали, сагамор, не могу уже… И через три недели уехали. А Боб остался.

Я вспоминал своих друзей, сгоревших в мутной алкогольной жизни, и было мне самому как-то горько и смутно. У каждого свой «Челленджер», подумал я. Per aspera ad astra. И кто-то остается в терновнике. Кто-то – в звезды врезываясь. Вдруг как-то опустошенно подумалось о фильме. Не то. Все не то. Надо не о том и не так.

Дождь перестал. Небо стало бледным и пастозным. На черных плитах были высечены имена погибших астронавтов. Конкистадоры космоса. Свободного места на плитах было еще много. Я долго вглядывался в этот черный полированный камень и вдруг увидел, что в глубине его возникло слабое мерцание. И тьма объяла меня. Я вздрогнул и задохнулся от космического холода. Звезды смотрели на меня из каменной тьмы. Миллионы звезд.

Я стоял перед игорным столом, крутилась рулетка, постукивал шарик, крупье продолжал свою работу. Я стряхнул с себя морок и оглянулся. Роберт Иванович был здесь. Он чуть заметно улыбался. Я внимательно осмотрел публику. Никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Я опять посмотрел на него. Он был невозмутим. Я поднял брови. Он кивнул.

Перед крупье поднималась гора фишек. Джомолунгма! Золотой кружок, нестерпимо сияя, лежал рядом со мной. Он притягивал мой взгляд. Я наклонился к нему, и вдруг мне показалось, что изображение на фишке шевельнулось. Или это была игра света? Нет, лицо доктора Брауна было как живое! И он пронзительно смотрел на меня! Я отшатнулся, нечаянно толкнув Роберта Ивановича.

– Все в порядке? – участливо спросил он.

– Да, – вымученно сказал я. – Все в порядке. Все в полном порядке. Кажется, я съездил в незнаемое. На тринадцать лет вперед. Однако Германну в третий раз очень не повезло.

Он, кажется, не понял меня. Или сделал вид, что не понял.

– Что вы посоветуете на сей раз? – спросил я.

– На сей раз выбор за вами, – спокойно ответил он.

– Тогда я поставлю на «зеро». Мою волшебную фишку, – так же спокойно сказал я, хотя сердце мое ходило ходуном.

Он не пошевелился, но в глазах его мелькнуло любопытство.

– Так, значит, «зеро»?

Самое поразительное, что публика никак не отреагировала. Я-то думал, что вот сейчас объявлю «зеро», и все, пораженные моей удалью, обступят стол и будут внимательно следить за игрой.

– Вероятность выпадения «зеро» такая же, как и любого другого числа, – заметил Роберт Иванович. – Выигрыш – один к тридцати пяти.

– Да? Мне почему-то казалось, что это абсолютный выигрыш.

– Скорее, это абсолютный проигрыш: крупье забирает все, кроме вашего выигрыша, разумеется.

– Мне нравится «зеро», – объявил я. – Мне нравится это число. Оно похоже на колесо. Это точка отсчета. Это начало. Это колесо может покатиться в ту или иную сторону. Это хорошее число. Метафизическое.

– Тогда я бы на вашем месте поставил на восьмерку, – с грустью сказал Роберт Иванович. – Она похожа на знак бесконечности.

– Ну это было бы наглостью с моей стороны, – пробормотал я, но Роберт Иванович, кажется, услышал.

– Выбор за вами, – бесстрастно сказал он.

– Это вряд ли, – возразил я. – В том смысле, что я, конечно, могу поставить на любое число, проявив тем самым волю. Но выигрыш не зависит от нас, увы. Надо угадать. Впрочем, это вопрос сложный. Итак, ставим на «зеро»?

Роберт Иванович пожал плечами.

Уже когда ставки были сделаны и шарик, постепенно слабея, летел по кругу, приближаясь к точке своего успокоения, я краем глаза заметил странные перемены, происходившие в игорном зале. Как-то поблекло и слиняло все золото, публика, толпившаяся у стола, куда-то исчезла, пропали и столы, за которыми степенно играли в благородный покер благородные дамы и господа, а стол, за которым играли мы, медленно таял прямо на глазах, и только колесо рулетки как будто увеличилось в размерах и, бешено вращаясь, становилось все больше и больше, наступая на меня. Свет померк. Откуда-то издалека донесся голос крупье:

– «Зеро», господа!

Я оглянулся и поразился изменениям, произошедшим с Робертом Ивановичем. Теперь он был одет не в смокинг, а в коричневую кожаную куртку и голубые джинсы. На носу у него были большие очки в роговой оправе. Он стоял и слегка улыбался, засунув руки в карманы куртки.

Над рулеточным колесом стала формироваться вихревая воронка, в которую потихоньку втягивались пред-

меты. Вот пролетели настольная лампа с зеленым абажуром, серебряная пепельница, металлическая ручка «паркер», скомкались и вовлеклись в хоровод тяжелые портьеры, картины в резных рамах… Бесшумно пролетело пестрое рулеточное колесо и сгинуло без следа.

Роберт Иванович достал сигарету, прикурил и хитро подмигнул мне.

– Абсолютное оружие! – сказал он, прорезав рукой табачный дым, узкой синей лентой втягивающийся в воронку, в которую уже были втянуты все мелкие и крупные предметы из игорного зала.

Свет стал распадаться на куски и быстро исчезать в вихре – через мгновенье нас окутала угольная чернота. Я слепо махнул рукой, и плотная непроницаемая пелена рассеклась, как если бы бритвой полоснули по занавесу, и в разверзшейся бездне сверкнули звезды. И тут как будто бы ветер дунул: черное пространство напряглось, дыра выгнулась, поползла, и открылся дивный блистающий мир…

Я стоял на площади. Передо мной громоздился ледяной городок, сквозь мутные полупрозрачные стены которого просвечивала густая толпа. Серый каменный Ленин с картинно простертой рукой стоял в распахнутом пальто со снежным шалевым воротником, как Дед Мороз из черно-белого мультфильма. По елке бежали вверх по спирали разноцветные огни, сияла рубиновая звезда, вспыхивали и гасли гигантские цифры, складываясь в новогоднее число – 1984.

В неровном пестром свете я увидел удалявшуюся спину коробейника. Над ним возвышался дурацкий муляж попугая. Неторопливо били городские часы, железные круглые звуки падали с башни на площадь и катились дальше по заснеженным улицам, опережая обледенелые трамваи, которые медленно и бесшумно скользили сквозь жидкий уличный мрак.

2006

ЗАПИСКИ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА. 2004

ДЕЖА ВЮ

«БОН СУАР, МЕСЬЕ KASIMOFF!»

РУССКИЕ ИДУТ!

НОЧНОЙ ПОЛЕТ

ПРИСНИВШЕЕСЯ СТИХОТВОРЕНИЕ (вместо эпилога)

ДЕЖА ВЮ

И была осень. И было виденье: по бульвару Клиши шел Христос. Он был бос, в хламиде, на голове его был прилажен хайратник с вышитым «Jesus». Христос был сосредоточен. Он тяжело посмотрел на сверкающую витрину кафе «Ривьера», в которой отражались красная мельница, поток цветных автомобилей и он сам – худой, в серой домотканой хламиде, и где с другой стороны стекла сидели мы с художницей Женей Акуловой и пили горячий шоколад. Лё шоколя. У светофора остановилась девушка, похожая на Катю Бушуеву. Я ухмыльнулся. Толстый бармен ржанул и помахал рукой Иисусу. Тот мрачно отвернулся и пошел в сторону площади Пигаль.

Женя пришла меня провожать в аэропорт и притащила коробку устриц в подарок. Две дюжины устриц были засыпаны колотым льдом и упакованы в пластикатовые мешки. Только вы их сегодня же и съешьте, сказала Женя.

В церкви Св. Анны у Жени была выставка. Вчера Женя удачно продала несколько картин залетным американцам. Сегодня она радовалась и делала подарки.

В парижских храмах не только устраивают выставки, но и проводят концерты. На этой неделе в Сен-Жюльен давали Шопена. И люди идут как на службу. А в Сен-Сюльпис идут, начитавшись Дэна Брауна. Держа перед собой, как путеводитель, «Код да Винчи», ищут медный меридиан в храме, ищут тайник, где злодей Сайлос искал Святой Грааль. Кюре был вынужден выступить по телевидению и объяснить, что события, описанные в романе, есть чистейший вымысел автора, а все совпадения случайны. И призвал легкомысленных туристов и литературоведов не смущать прихожан. Я внял мольбам кюре и, притворившись католиком, посетил Сен-Сюльпис, где ненавязчиво все и осмотрел – и в первую очередь вделанный в пол медный меридиан, ведущий к тайнику с Граалем.

Христос возвращался. И был Он рассержен. Толстый бармен оживился. Он замахал руками, как мельница, и

что-то весело закричал официантам. Один из них – худой, с роскошными усами – рванулся к дверям и встал в них подбоченясь. Когда Христос поравнялся с ним, он соорудил из длинных пальцев какую-то замысловатую фигу и, сунув ее под усы, свистнул. Сын человеческий глянул через плечо, не останавливаясь, перечеркнул широким андреевским крестом и гарсона, и бармена, и все кафе «Ривьера» – и ушел на бульвар Клиши.

До самолета оставалось три часа.

Когда мне сообщили в агентстве, что я буду жить в отеле «Royal Mansart», пришлось себя утешать, что мансарды – это, конечно, чердак, но в моем случае все-таки королевский. Все оказалось проще пареной репы: отель стоял на рю Мансар – улице имени Мансара, того самого архитектора, который удачно приспосабливал чердаки под жилье. Комната была вовсе даже не чердачной, но оказалась столь маленькой, что Раскольников бы, поселись он в 307-м номере нашего отеля, рыдал бы горючими слезами, вспоминая свою комнатку, похожую на гроб. И кто знает, каких бы он дел натворил, выйдя на улицы Парижа после бессонной ночи в трапециевидной комнате. Вспомнилась страшная история про тюремную камеру «стаканчик», которую мне рассказывал старый вор, простоявший в узком каменном пенале трое суток и откуда его выволокли беспамятного, но не побежденного. Однако ж отель мне нравился.

По утрам – после чашки кофе с непременным круассаном – я выходил на улицу покурить. Возле кафе-театра «Moloko» толклись пара-тройка помятых молодых людей. Из булочной напротив доносился запах свежего хлеба. Мимо бежали парижане с длинными багетами под мышкой, по пути отламывая хрустящие корочки. Наверху гулили голуби, блуждающие по карнизам. Из окна второго этажа высовывался мужик в белой майке и поливал из голубой лейки цветы, растущие на крохотном балкончике. Мужик тоже гулил себе под нос и голубей не шугал. Цветы повторяли наклон Пизанской башни, что, впрочем, заметил не я.

Портье ритуально говорил мне каждое утро «Са ва?», растягивая гласные, как жевательную резинку. К вечеру он начинал прикладываться к заветной фляжечке, к ночи он набирался по самые брови. Притаившись, сидел себе за стойкой, дремал, пока я не тревожил его одним и тем же воплем: «Эй, Сава! Открывай! Медведь пришел!» Тогда приводился в действие какой-то тайный механизм, и большая стеклянная дверь с шелестом отъезжала. Портье опять же ритуально спрашивал, как мне город, и, услышав неизменное «Бель Пари!», нежно улыбался, выдавая мне ключ от номера.

По Парижу, понятно, можно бродить и без всякой цели. О, вы не представляете, сколь много интересного обнаруживается в этих греческих, китайских, американских, наконец, французских ресторанчиках, на этих улицах, легкомысленно разбегающихся в разные стороны! Вот хорошо одетый француз разговаривает сам с собой. Он громко и убедительно что-то говорит самому себе, потом себе же и возражает, но уже как-то мягко и жалобно. То есть его большой монолог раздваивается на два – и уже выглядит как вполне приличный диалог. Большой артист. Очевидно, репетировал беседу с банковским клерком о предоставлении кредита.

На авеню Опера встретил писателя Александра Кабакова. Он шел под ручку с девушкой и мило с ней беседовал. Писатель был в шикарной клетчатой куртке болотного цвета, в сереньком в рубчик кепи, на шее болталось длинное кашне. Через полчаса на улице Риволи я снова встретил Александра Кабакова – он был один, задумчив, если не сказать грустен, и, что самое поразительное, был одет в светлый редингот! И был вовсе без головного убора.

То там, то сям лежат клошары. Парижане к ним относятся снисходительно. Или просто не замечают их. Парижские власти говорят, что бездомных в городе не меньше шести тысяч. Но клошары – это не просто бездомные, не просто нищие – это доблестная гвардия сирых и убогих. Сами же они вовсе не выглядят ни сирыми, ни убогими. Их узнаешь сразу, как узнаешь по запаху сыр камамбер.

«Merde!» – вот их вечный девиз. Они вальяжно полеживают на вентиляционных решетках, откуда дует теплый воздух, и попивают дешевое французское винцо. На некоторых белые носки, явно похищенные с распродажи, которую проводит магазин «Тати». Мочатся прямо на улице, как бы говоря: «А вот вам всем! А положили мы на вас на всех с прибором! На вас на всех и на вашу паршивую цивилизацию!» Напоминают наших постмодернистов.

Президент Миттеран был большим поклонником современного искусства. При нем двор Лувра украсила Пирамида. При нем на бульварах и в парках Парижа появилось очень много памятников. Некоторые находят их весьма уродливыми. В парке Тюильри какие-то черти соседствуют с псевдоклассикой. Все это предназначено для обывателя: одно – раздражает глаз, другое – ласкает. Миттеран, наверно, боялся прослыть окостеневшим старичком, не понимающим и не принимающим новое. Эдакий мышиный жеребчик. Случись, не дай бог, еще одна революция в Париже, все эти памятники скорее всего утопят в Сене. А потом через пять-десять лет восстановят. Так было практически со всеми парижскими истуканами: Шарлемань, Анри IV, все эти Людовики – все были разрушены, все были истреблены героическим народом. Но восстановили же!

Недалеко от Лувра, на Площади Пирамид, есть небольшое кафе, куда и заглянул усталый путник, изнемогающий от жажды и голода. Суп, сказал я. Луковый супчик, есть? Есть, сэр! Официант с первого взгляда мне показался прохиндеем. Значица, будем ись луковый супчик. А что еще? Антрекот, зарычал официант и напрягся, как Розовая Пантера. О'кей! Давай антрекот! Большой антрекот. Самый большой. Королевский! За стеклом маячила золотая Жанна на коне с хоругвью в правой руке. Орлеанскую деву не порушили. Ее поставили уже после всех революций. А в шестьдесят восьмом, наверно, просто не успели свалить. Мимо окон по направлению к площади Карузель прошел главный редактор Издательства Уральского университета Федор Еремеев. Он уткнулся носом в какую-то книжку.

Был медлителен и сосредоточен. Эге, подумал я, но тут официант принес суп. О! Этот горшочек с супом был уже сам по себе полный обед. Суп был плотно запечатан куском хлеба и залит расплавленным сыром. Чтобы хлебнуть заветной коричневой жижицы, пришлось осторожно пробиваться сквозь корочку толщиной в два пальца. Не успел доесть – уже несут антрекот. На деревянной доске лежал здоровенный кусок жареного мяса, рядом – гора картошки. По краю доски вырезана канавка. Я вонзил нож в антрекот – брызнул фонтан крови! Я остервенело терзал острым клинком мясо, кровь постепенно заполняла канавку по краям доски. Запахло Варфоломеевской ночью, которая, к слову сказать, совершалась в этих самых местах. Видно, со стороны я был похож на великана Кокоонасса, и сидевшая за соседним столиком пожилая американская чета с опаской поглядывала на меня. Лукавый подавальщик иногда являлся перед моим замутненным взором и о чем-то участливо спрашивал. Я же только утробно урчал, насадив кровоточащий кусок мяса на вилку и ворочая его в горчичном соусе. Американцы посматривали на меня как на прямую и явную угрозу.

Настало время расчета. И вот тут-то официант и выказал себя настоящим прохиндеем! У меня не было мелких купюр, и я выдал ему пятьдесят евро. Он долго копался в своем переднике, выуживая мелкие монеты. Сначала он положил на столик несколько центов и посмотрел на меня. Потом нехотя выложил несколько евромонет. Заглянул мне в глаза. Постоял. Зевнул. И ушел. Я посмотрел на чек, пересчитал сдачу. Не хватало десяти евро. Наверно, взяли за вид на площадь, подумал я. Ведь есть в Париже кафе, окна которых выходят просто на улицу, по которой идут простые люди. А здесь в окне торчит золотой памятник Освободительнице. Десять евро – за погляд!

На следующий день художница Женя Акулова все объяснила мне. Тебя развели как лоха, сказала она. Они такие! У них глаз наметанный. Надо было потребовать объяснений! Надо было устроить скандал! Мы сидели в скверике рядом с площадью Вогезов. Женя рассказывала о премуд-

ростях парижской жизни. Накрапывал легкий дождик. В сквере появилась пара – женщина в легком плаще и рядом… Федор Еремеев! Он заботливо держал зонтик над спутницей. Женя, осторожно спросил я, может быть, я того… Типа болен? Может, меня настигла неведомая французская болезнь? Что-то типа дежа вю? Я все время встречаю на улицах Парижа знакомых. Сегодня, например, видел Мишу Симакова из «Апрельского марша» – на правом берегу Сены на книжном развале он приценивался к битловским виниловым дискам. На Монмартре встретил писателя Германа Дробиза – только он не покупал, а, наоборот, продавал картину с видом Парижа. Вполне сносная картина маслом, надо сказать. Правда, меня немного смутило, что Герман Федорович был довольно сильно смугл. Если не сказать – черен. Что со мной происходит? И Женя успокоила меня. С ней поначалу происходило то же самое: в метро, в кафе, на улицах ей встречались друзья, приятели или просто знакомые. Она к этому быстро привыкла и поэтому однажды глазам своим не поверила, когда встретила на улице Сент-Оноре художницу Лиду Чупрякову. Но Лида оказалась настоящей и очень обиделась на Женю, не обратившую на нее никакого внимания. Лида не верила объяснениям Жени до тех пор, пока не встретила в Люксембургском саду свою сестру-близняшку Марину.

И было теплое октябрьское утро. Я шел по бульвару Генриха IV (Анри!) от площади Бастилии. Я почему-то знал, куда идти. По мосту, минуя остров Сен-Луи, я вышел на левый берег Сены и медленно пошел в сторону собора Парижской Богоматери. Как чудовищная рыбакит, выплывал из сиреневого утра Нотр-Дам. Я спустился к самой воде. Вот! Вот это самое место! Я улыбался. Все сошлось.

Однажды мне приснился Париж. И я увидел остров Ситэ и диковинное сооружение со шпилем-антенной и мощными ребрами. Тогда, во сне, я не узнал Нотр-Дам. Ракурс был неожиданным, странным. Была светлая лиловая осень, и я проснулся от запаха жареных каштанов. Это было восемь лет назад.

«БОН СУАР, МЕСЬЕ KASIMOFF!»

Скажу вам просто: я в Париже!
К. Н. Батюшков, 1814

С глухим резиновым стуком подкатил поезд метро. Скрипка в вагоне нежно выводила «А по ночам так мучила меня». Но душа моя вовсе была не расположена к цыганщине и вообще к музыке, и я пошел в соседний вагон. Однако не тут-то было: там обосновалась целая группа с контрабасом, саксофоном, гитарой и компактным музыкальным аппаратом. Вот поезд тронулся, веселый гитарист погукал в микрофон, прикрепленный к его кудрявой башке, пощелкал языком, саданул по струнам, крикнул что-то вроде «шуба-дуба» – и тут началось! Музыканты выводили вполне приличный рок-н-ролл, народ же мигом организовался и пустился в пляс. Впрочем, плясали спокойно, деловито, лишь один тип – на вид англичанин, явный персонаж Гая Ричи – начал подпрыгивать козлом, махать руками, а когда подъезжали к станции, дал такого дрозда, что веселый певец чуть не подавился микрофоном. Англичанин вышел на платформу – и сразу превратился в пристойного гражданина. Он спокойно двинулся по своим делам, а бременские музыканты продолжили дискотеку. Играли, конечно, за деньги, но и явно для души. Но что-то я не заметил, чтобы им охотно и много давали денег.

На площади перед Нотр-Дам де Пари стоял деревянный крест. Крест был огромен. Вокруг толпились какие-то баптисты-адвентисты, улыбчиво, без надсада агитировали за свою веру. Стайками бродили молодчики, явно забежавшие из Хэллувина. Они приставали ко всем подряд, говорили хором, лукаво блестели глазами, гордо воздев поролоновые рожки. Пристали и ко мне, и приставания их были назойливыми. Я попытался пройти, но не тут-то было: они окружили меня и дружно стали убеждать в чем-то на своем собачьем языке. И я возопил: «Сгиньте!» – но ничего не произошло, и я почувствовал себя несчастным Хомой Брутом в окружении вертлявых

бесов. И тогда я, щедро улыбнувшись, осенил тихонечко из-под полы молодчиков православным крестом. Они взвизгнули и немедленно сгинули, оставив после себя слабый запах серы. А вы говорите!

Под Шарлеманем жду Ксюшу, которая почище Годо будет. Ксюша, дочь моей приятельницы, работает в Париже моделькой. За два года исходила все подиумы Европы, в Милане снялась для пяти модных журналов, уехала в Японию, где на показе высокой моды на нее положил глаз Леонардо Ди Каприо – целовал в щечку, мурлыкал что-то на ухо, в общем, строил куры, да так и отвалил не солоно хлебавши: Ксюша у нас девушка строгих правил, студентка искусствоведческого факультета УрГУ, на котором она каким-то образом учится на одни пятерки, при том, что сегодня она здесь, а завтра будет в Осло.

Осмотрев со всех сторон памятник Шарлеманю, которого мы называем Карлом Великим, потому что он, при всей своей косматости, оказался вполне христианским королем и объединил дикие народы под пылающей орифламмой, я достал из рюкзачка бинокль и стал глазеть на Нотр-Дам. Так. Химеры и горгульи. Адам и Ева. Цари иудейские. Мадонна с младенцем. Христос. Апостолы. Страшный суд. Пороки и Добродетели. В этот момент сыпанул крупный дождь, изображение мгновенно расплылось, и пришлось прервать невинный акт вуайеризма. Вокруг захлопали зонтики. Тяжелые стада туристов, посверкивая фальшивыми алмазами на джинсах, ломанулись с площади, оглашая сырой воздух русской ненормативной лексикой. Я же пошел под осенние дерева, еще прочно державшие желтую листву. Тяжелые капли пробивали кроны и вдребезги разбивались о скамейки.

«Я в Париже!» Эта мысль производит в душе моей какое-то особливое, быстрое, неизъяснимое, приятное движение… В 1790 году путешествующий Карамзин так же *с отменным любопытством* смотрел по сторонам: *на домы, на кареты, на людей.* Посещал дворцы и соборы, гулял по бульварам, сидел в кофейнях, что, собственно,

сейчас делаю и я. Правда, ежедневно в театры, как Николай Михайлович, не хожу, в чем вижу большую проруху своего путешествия. *Кто был в Париже, говорят французы, и не видел Большой оперы, подобен тому, кто был в Риме и не видел папы.* Я в Риме был, и папы не видел. Не случилось. А в театр какой сходить бы надо. В Гранд-опера с легкой русской руки сейчас только балет показывают. Оперы же поют в «Бастилии» – гигантском театре, расположенном напротив невидимой тюрьмы, со взятия которой началась новая французская история. Да и не только французская, наверно. Тюрьму, как известно, разнесли в пух и прах, о ней напоминает только натуральный план, выложенный цветным камнем на краю площади. И размеры этого чертежа говорят о малости сего сооружения, падение которого стало грандиозным символом. Гауптвахта автомобильного батальона, куда я однажды был заключен перед самым дембелем, была, как мне кажется, куда как больше и шире. Хотя и мельче. Одноэтажной – как и все *зоны* в России. Бастилия же была тюрьмой вертикальной – с глубокими подвалами, высокими стенами, поэтому и падение ее наделало столько шума. При сильном воображении или в изрядном подпитии и сейчас можно увидеть ее, стоящую бесплотным миражем, окруженную ватным пороховым дымом и крохотными человечками, штурмующими ненавистную твердыню. Вот так же с непостижимой яростью, спустя двести с небольшим лет, штурмовали небоскребы Близнецы в Нью-Йорке.

В театр «Бастилию» билетов не достать. В «Мулен-Руж» давно ходят одни приезжие старички, предварительно выстаивая томительную очередь в кассы, напоминающую очередь в райсобес после введения очередной льготы (или после ее «монетизации»). А хочется несуетно восхититься «Раулем, Синей Бородой», «Дамой с камелиями», «Федрой», наконец. Или «Служанками». Хотя последних советуют смотреть у Виктюка. Ладно, отложим театр на потом, осмотримся.

Проруха, однако ж, настигает нас в самых неожиданных местах: вот сентиментальный русский путешествен-

ник посетил *славного африканского путешественника* Вальяна, но дома того не застал и беседовал с г-жой Вальян, женщиной *говорливой*, которая с гордым видом объявила, *что в последние пятнадцать лет французская литература произвела только две книги для бессмертия: «Анахарсиса» и путешествие мужа ее.* Что касается автора «Анахарсиса», почтенного Жан-Жака Бартелеми, то Карамзин с ним таки встретился в Академии надписей и словесности и имел непродолжительную беседу с новым Вольтером, представившись новым *скифом*. Мне, похоже, подобной удачи не светит, ибо давно уже в «Проворном Кролике» не собираются художники и поэты, в кафе «Вашетт» даже официанты не знают, что здесь любил бывать Поль Верлен, и «Селект», и «Куполь» стали обыкновенными ресторанами, и в «Клозери де Лиля» обедают японские туристы, и в «Кафе де Флор» сидит публика, не подозревающая о существовании экзистенциализма, – поэтому остается бродить по парижским улочкам в полном осознании своей старой кипчакской сущности и наблюдать, как новые варвары, отнюдь не просвещенные, но давно уже ставшие европейцами, нагло и весело поглядывают на город, который они рано или поздно подожгут с четырех сторон.

Однажды ночью, возвращаясь в отель по безлюдным улицам где-то неподалеку от Биржи, я стал свидетелем странной метаморфозы, происшедшей с чистым и дружелюбным пространством улицы: тьма в каком-то закоулке ворохнулась, напряглась – и поволоклась вдоль стены спящего дома. И будь я романтиком, то непременно написал бы, что в сей же момент волосы зашевелились у меня на голове и кровь заледенела в жилах – но это было бы слишком красочно и не совсем точно. Невозможно передать тот мгновенный опустошающий ужас, который охватил меня, когда я скорее не увидел, а почувствовал, как разверзлась бездна и неведомый земляной гость из преисподней явился произвести рекогносцировку перед неизбежным вторжением. Эта шевелящаяся мусорная тьма двигалась абсолютно бесшумно, и вдруг раздался звук – будто лопнула бутылка из закопченного стекла, и тьма

материализовалась и явилась на свет в виде пьяного до невозможности негра, который, ощупывая шершавую стену дома, беззвучно перемещался в какое-то тайное свое убежище. До этого случая я столь пьяных людей на улицах Парижа не видал.

Во всех книжных лавках – на самом видном месте полки с бестселлерами. Первые по продажам – похождения президента Билла Клинтона, написанные им самим. Очевидно, людей привлекает гонорар, который он получил за книгу. Три миллиона долларов – хорошая морковка для ослов, участвующих в гламурных гонках. За несколько лет до этого роскошного мемуара выпустила свои воспоминания Моника Левински – и тоже издатели заплатили ей какие-то неслыханные деньги. Издатели знают, что затраты их окупятся с лихвой. Народу ведь интересно, как это все у них там было. Когда случился скандал, я был в Америке, и что любопытно: американцы как-то вяло интересовались этим делом, а многие даже и не знали вовсе о шалостях своего президента. Но когда я вернулся в Россию, то первое, что я увидел на длинных столах возле метро, на которых, как в кошмарном сне, в небывалом изобилии лежат наши свободные газеты, – это сдобное глуповатое лицо президентской пассии с жирными комментариями ее игры на клинтоновском саксофоне (пикколо, господа, пикколо!). Это было похоже на демонстрацию товара в каком-нибудь занюханном квартале Красных фонарей, на улице Сен-Дени или, прости господи, Репербане. Телеканалы тоже не отставали: во всех новостях подробно обсуждались пятна на платье стажерки, которое испачкал ретивый Билл, которое она потом долго хранила в шкафу, которое потом было похищено и обнародовано ее подругой и которое, наверно, скоро выставят на каком-нибудь аукционе.

Еще в Париже читают Дэна Брауна – да что в Париже! Все сбрендили. И меня не миновало умопомрачение: с собой я захватил книжку, в которой меня, правда, больше интересовала топография Парижа, нежели интрига, которую мы с главным редактором Издательства Ураль-

ского университета Федором Еремеевым подробно обсудили лет за десять до всеобщего помешательства. Федора очень интересовала история еврейской диаспоры, и в своих блужданиях по темным тропам средневековой истории он набрел на книжку Майкла Бейджента, Ричарда Лея и Генри Линкольна «Святая кровь и Святой Грааль». И восхитился! Федор – марксист, левак (не без некоторого буржуазного шика), и его часто прельщают экстравагантные идеи, которые он любит обсуждать со мной за бутылочкой демократичной крымской мадеры. Понятно, что англичане все это придумали, но Федор поразился красоте гипотезы, а кроме того, он убежден, что подобная ересь сильно стимулирует научную мысль, не дает ей чахнуть. Поэтому у него на полке среди энциклопедий и справочников стоят и Морозов, и Дугин, и Носовский с Фоменко, и даже страшно сказать, кто. Конечно, Дэн Браун – это чистая попса, и, как всякая попса, книга не только вторична, но просто дурно исполнена. Однако ж как читают! Сегодня успешность писателя зачастую зависит от маркетинга, а маркетологи оперируют понятиями: «стратегия», «проект», «пиар», «реклама», «медиавирус»... И нынешняя культура вполне укладывается в триаду: бестселлер, блокбастер, гамбургер.

Художница Женя Акулова рассказывала, что летом она с дочкой ездила отдыхать в Ниццу и там, прогуливаясь вдоль моря, видела фантастическую картину: разноплеменные тетки, загорая на лежаках, предлагали вашему вниманию узкие белые пятки, бритые ноги, гладкие животики, нежные грудки, ухоженные коготки и... обложки «Кода да Винчи», как минимум на двадцати пяти языках, включая столь экзотические, начертанные какими-то закорюками, что только по портрету Джоконды можно было догадаться о содержании книги. Если идти вдоль моря, то складывается эдакая портретная галерея, своеобразная инсталляция. Да-с, бестселлер! Газеты взахлеб сообщают о баснословных деньгах, которые получил и продолжает получать щелкопер. Сумма перевалила за вторую сотню миллионов. То-то Стивену Кингу горько! Из венка чемпиона он грустно отщипывает лавровые лис-

точки и приправляет ими свое густое голливудское варево. А ведь, если по гамбургскому счету, Стивен Кинг – настоящий писатель. Его «Мизери», его рассказ о наемном убийце, изничтоженном игрушечными солдатами из Вьетнама, – это вещи таинственные и увлекательные, как романы нашего Пелевина. Дэн Браун супротив Стивена Кинга все равно что плотник супротив столяра. Однако сегодня плотники зарабатывают много больше краснодеревщиков, поэтому у нас развелось так много криворуких ремесленников.

Ничего не хочу говорить про Дарью Донцову, хотя бы потому, что не читал ее и читать не собираюсь, но любопытно ее высказывание, что, дескать, она пишет «утешительную» литературу, производящую некий терапевтический эффект, что в хосписе никто не будет читать Достоевского, а будут читать именно ее, Дарью Донцову… Судя по ее многомиллионным тиражам, у нас вся страна – хоспис.

Дождь перестал, и площадь перед собором опять стала многолюдной. Туристы возвращались (иногда они возвращаются!). Гиды начинали свой рассказ как эпические сказители, и некоторые из них были весьма виртуозны и артистичны, но толпа, на минуту оторвавшаяся от бесконечного шопинга, наэлектризованная постоянным движением, лишь на миг замирала, внимая слегка осипшим бардам, и уже – марш! марш! – готова была бежать дальше, дальше, глотая – на манер Робина-Бобина – соборы, дворцы, памятники, дома, улицы, площади, магазины… Не страдая, впрочем, по вечерам в своих скромных апартаментах ни запором, ни несварением желудка. Галерея Лафайет – вот цель нашего путешествия! Однако гиды не сдаются и, честно отрабатывая свой длинный батон, ведут почтенную публику на Монмартр, на площадь Эмиля Гудо – председателя Общества гидронавтов, который известен только тем, что пил да барагозил, *гудел*, так сказать, с поистине русским размахом, – где стоит дом «Бато Лавуар», знаменитый «Корабль-прачечная», монмартрская обитель Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека. Система коридорная. На тридцать восемь комнат… Ну,

и так далее. Но почтенная публика скучала и оживлялась только на смотровой площадке, откуда Париж открывается во всю ширину, но не роскошный вид Парижа приводил ее в восторг, а сообщение, что именно здесь весной 1814 года стояли русские пушки, угрожавшие всему этому великолепию. Приободрялись мужички, дескать, давали французику прикурить! «Бородино» цитировали. Гид же, по-заговорщицки подмигнув, отзывал их в сторонку и цитировал пушкинский ответ г-ну Беранжеру. Это производило прямотаки поразительный эффект: мужички, хохотнув, приосанивались и гордо, по-петушиному, начинали поглядывать по сторонам, выискивая в толпе француженок.

Туристы, вернувшись из Парижа с пудовыми полосатыми сумками, высокомерно сообщают, что парижанки некрасивы. Наши типа лучше. Беда, наверно, в том, что в тех местах, где обычно бывают русские вояжеры, толпятся те же туристы или пришельцы из других стран, а парижанок действительно встретишь редко. Зато узнаешь их мгновенно: какая-то особенная стать, выражение лица, а главное – глаза! Смешливая Амели выглянет из авто – и тут же исчезнет, как мимолетное виденье. Для того чтобы увидеть настоящих парижан, надо пойти – ну хоть в Люксембургский сад – и поглазеть на игру в шары, или рано утром, когда только-только откроется дешевая кофейня на углу, зайти туда и, заказав себе большую чашку кофе, погрузиться в тростниковое кресло у широкого окна, дышать прокуренным донельзя воздухом и наблюдать за утренними посетительницами – некоторые помятые, спросонья, некоторые свежие, как только что срезанные цветы, – весело болтающими с небритым барменом, жадно глотающими голубоватый сигаретный дым.

Да где же Ксюша, едрёна мать?! Ксюша, кстати, вполне может сойти за местную барышню. Есть в ней какой-то шарм, который легкой печатью лежит на всех парижских девушках (хотя подбородок у нее явно голливудский). Федор Еремеев, однажды встретив Ксению на весеннем Главном проспекте в Екатеринбурге, так и плелся тайно за ней от университета имени Горького до площади 1905

года – плотоядный, как Гумберт Гумберт, – тихо радуясь белому носочку, приспущенному на правой ножке. Потом звонил, изможденный вожделением, восхищался поэтически. Мне же остается грустно наблюдать за Эйфелевой башней, макушка которой была съедена облаками.

С Эйфелевой башни город напоминает здоровенный ореховый торт. Отдаляется Париж настолько, что рассматривать его с этакой верхотуры все равно что елозить взглядом по глянцевой карте города. Настоящее потрясение я испытал в музее д'Орсэ на верхней галерее, выходящей окнами на север. Неожиданно открылся Монмартр, освещенный пожухлым солнцем, и на тяжелом фоне грозового неба – сияющий купол Сакре-Кёр, выбеленный ветром. И если бы я не был добропорядочным христианином, то тут же и уверовал бы, облившись слезами и уронив на грудь свою окаянную головушку. И, выйдя из храма искусств, рухнул бы на колени и пополз бы по кривым улицам парижским к храму божьему и потом, кто знает, и дальше, дальше – тропой святого Дионисия.

Вдруг что-то произошло. Мир встал, как будто пленка застряла в кинопроекторе. Застыли энергичные вергилии и бояны, замерли в изумлении туристы и зеваки, химеры на соборе выпучили до невозможности и без того выпученные глаза, остановили свой бег авто, повисли в рыхлом мглистом воздухе светлые капли, сорвавшиеся с набрякших листьев, японский дедушко на скамейке, зевнув, так и остался с открытым ртом, демонстрируя безукоризненные зубы, и сам я стоял как соляной столб… И единственным движущимся объектом в этой картине была стройная девушка с острыми коленками, с распущенными волосами, помахивающая сумкой и улыбающаяся… Мне? Господи, да это же Ксюша! И застрекотал аппарат, и опять мир пришел в движение. М-да, понимаю Федора Гумберта. И Леонардо Ди Каприо тоже.

Ксюша, строго сказал я, ты почему так легко одета? Она беспечно пожала плечами и поцеловала меня на современный манер, то есть и не поцеловала вовсе, а просто

коснулась своей щекой моей щеки, чмокнув голливудскими губами прохладный воздух. Как дела, деловито спросила она, и я уныло пробурчал, что *как бы дела у меня хорошо*, что *все просто супер*, что все *классно*, и даже, я бы сказал, *нереально классно*, и что *вопщем нет проблем*. Она внимательно посмотрела на меня. Прости, Ксюша, сказал я, гламурная жизнь одолевает. А вообще-то я очень рад ее видеть, мама по ней ужасно скучает, брат ждет подарок на день рожденья, в Екатеринбурге холод собачий и грязь свинячья, а здесь, конечно, красота – Писсарро да Сислей, – но я голоден, как зверь дикий, и намереваюсь пригласить ее, Ксюшу, на ужин в «Ротонду», где мы сможем вольно посидеть и поговорить. Пойдем, легко согласилась она. И мы пошли к мосту, ведущему в Латинский квартал.

Ксюша, спросил я, ты, наверно, хорошо знаешь Париж? Совсем плохо, сказала она, много работы, очень устаю, а если выдается выходной и хорошая погода – еду в Булонский лес. В Булонский лес? Я задохнулся от изумления. Там же… Там же капище разврата! Туда опасно ходить! Ксюша засмеялась. Дэна Брауна начитался? Я что-то ничего страшного там не замечала. Обыкновенный парк. В пруду черепахи плавают. У нас в парке Маяковского пострашней будет. Эй, куда же ты? Это старинная парижская улица, важно объявил я, улица Котарыболова. И мы нырнули в мрачную щель между домами. Эта короткая средневековая уличка была пустынна, вполне зловонна и заставляла насторожиться и лишний раз проверить наличие кошелька. Сквозь единственное мутное окно сочился грязно-желтый свет, брякала посуда, пиликали какие-то невиданные музыкальные инструменты. Мы глянули в окно и обомлели: разбойники пили вино и жарили мясо. На столе – среди груды еды – стояла, обнажив ногу в чулке и подняв над гордо закинутой головой руку, маленькая тетка лет сорока пяти в красном платье с длинным разрезом, с неслыханно развитыми молочными железами. Тетка готовилась врезать каблуками по массивной столешнице, и рыла, воздетые в восторге над столом, замерли в предвкушении аттракциона.

Ксюша хохотнула и вытолкнула меня на свет божий. Да не тут-то было!

На улице Ошет зазывалы с постными лицами кричали в толпу, распахнув двери таверн, в витринах крутились на вертелах подрумяненные поросята, пахло жирной и пряной едой. Из ресторанного чада вдруг выскочил какой-то грек со стопкой белых тарелок, яростно закричал и с размаху разбил одну тарелку о брусчатку. Победно оглядев остолбеневших прохожих, он галантно пригласил парочку туристов отобедать, но, увидев, что парочка собирается улизнуть, опять закричал, завращал бешено глазами и стал с размаху колотить тарелки о мостовую. На третьей тарелке перепуганная парочка, очевидно опасаясь быть немедленно зарезанной острым кухонным ножом, приняла приглашение и, сопровождаемая неистовым греком, в смятении исчезла во тьме харчевни.

Мы вышли на бульвар Сен-Мишель и двинулись к Люксембургскому саду.

Этот год был объявлен во Франции Годом Китая, и ничего удивительного, что на решетках Люксембургского сада была устроена фотовыставка, посвященная китайскому житью-бытью. Рядом с воротами висела громадная фотография красной свиньи. Свинья была явно покрашена кармином. Под свиньей курилась сладким дымом жаровня, на которой пеклись каштаны. Неопрятный старичок в обрезанных перчатках предлагал за пять евро кулечек каштанов. На набережной Сены такой кулечек можно было купить за три. А на Монмартре – всего за одну евромонету. Однако почему свинья такая красная? Может быть, это намек? А может быть, хавронью снимали к ихнему году Свиньи? Навели, так сказать, макияж. А может быть, это и не краска вовсе, а какой-нибудь соус, которым мажут хрюшку перед тем, как ее изжарить? Загадочная фотография. Ее бы, наверно, качественно объяснили мудрецы-семиотики из Сорбонны.

Через парк, по улице Вавен мы вышли к «Ротонде», которая стоит на углу бульваров Распай и Монпарнас,

как малиновая детская каруселька с музыкой. Рядом примостился роскошный роденовский Бальзак.

Бон суар, приветствовал нас в дверях официант с бесшумным пылесосом. Бон суар, месье Кристоф, учтиво сказал я, и тот заулыбался, уволок куда-то пылесос, таща его за гофрированный хобот, как ручного зверька, и не успели мы выбрать место, как он объявился в полной готовности, сунул нам в руки меню в тяжелых бюварах и положил на столик два больших бумажных листа, испещренных фамилиями знаменитостей, заглядывавших когда-либо в «Ротонду». Кокто, Хемингуэй, Пикассо – и еще десятка три звучных имен. Я даже обнаружил имя Ленина, но, думаю, это какой-нибудь другой Ленин был.

Месье Кристоф с готовностью вытащил блокнот. Ты что будешь, Ксюша? Здесь отлично готовят филе. Нет, испуганно сказала Ксюша, мне ничего нельзя! А может, устерсы? А? Ксюша! Вполне диетический продукт. Или улиток? Ксюша скорчила рожицу и твердо сказала нет. Разве что сыру. Я вздохнул. Сыру – мадемуазель. Видя замешательство официанта, я сообщил ему, что Ксюша – моделька, и прошелся пальцами по столу, изображая прет-а-порте. Месье Кристоф понимающе кивнул. А мне – как обычно. Филе. С горчичным соусом. И с картошкой по-французски. И маленькую бутылку красного вина. Да, medoc. Месье Кристоф исчез.

В углу сидел молодой человек с песочными волосами, в приличном твидовом пиджаке, впрочем, несколько великоватом, и что-то строчил в тетрадь, поминутно припадая к большой кофейной чашке. За твоей спиной, Ксюша, сидит молодой бедный писатель. Сейчас он сочиняет рассказ о своем отрочестве, проведенном у Темной реки. Ксения осторожно полюбопытствовала. А может быть, это просто наняли какого-нибудь студента, выдали ему пиджак, и он иногда изображает из себя писателя. Поддержать, так сказать, имидж заведения. А может быть, через десять лет мир узнает его как большого писателя. Кто знает, кто знает…

За соседним столиком пожилая пара аккуратно ела черную икру и мелкими глотками пила шампанское.

Ксения продолжала любопытствовать. Слушай, она сделала круглые глаза, это же… Модильяни! Это копии, сказал я. Но очень похоже, сказала Ксения. Это, Ксюша, не та «Ротонда», в которую ходил Илья Эренбург, той «Ротонды» уже нету. Это тоже копия. Только весьма улучшенная. Это – как тот нищий, который раздражал своими лохмотьями Оскара Уайльда, и он заказал бедолаге костюм из самой лучшей ткани, лично указав портному, где сделать прорехи.

Запиликал мобильный телефон. Ксюша порылась в сумке, достала трубку. Да, сказала она. И лицо ее изменилось! Она что-то смущенно и невнятно говорила в трубку, и было видно, что у нее голова кружится от нежности.

Бесшумный, как ниндзя, появился месье Кристоф, поставил на стол маслины. Я стал выбирать их, накалывая на деревянную шпажку. Косточки я сплевывал в салфетку. Ксения закончила свой разговор и бросила трубку в сумку. Извини, сказала она, лицо ее порозовело. Я сделал вид, что ничего не замечаю. Хорошо тебе в Париже? Она рассеянно смотрела на меня. Не знаю. Домой хочется. Она стала внимательно изучать имена знаменитых посетителей. Это автографы? Вряд ли. Смотри, Хемингуэй – с сильным наклоном вправо. Это не его рука. Хотя похоже. А тебя здесь нет, сказала Ксюша. И засмеялась. Это упущение со стороны администрации кафе, строго сказал я и достал свое стальное перо «паркер». И мы сейчас немедленно ликвидируем некоторый пробел в истории «Ротонды». Я нашел свободное место и между великим художником и великим кинорежиссером расписался на французский манер – Kasimoff.

Тут как тут – официант с вином и сыром. О! Месье тоже знаменитость? Месье – писатель? Я важно надул щеки. Кто знает, кто знает… Официант засмеялся и ловко выхватил из-под моего локтя бумажный лист. Месье… Ka-si-moff? Я надул щеки еще больше и кивнул. Официант захохотал и умчался прочь, складывая вчетверо бумагу.

Вот, сказала Ксюша, теперь, когда ты будешь сюда приходить, он тебя будет встречать: бон суар, месье Kasimoff!

А через лет тридцать, сказал я, они обновят свою бумажку, впечатав мой автограф. И это будет единственно подлинный автограф среди жалких подделок.

РУССКИЕ ИДУТ!

Вежливый, как повидло, портье передал мне визитную карточку, при внимательном изучении которой я обнаружил, что мой друг Владимир Юрьевич Борев, главный редактор газеты «Советник ПРЕЗИДЕНТА», является еще и главным редактором журнала боевых действий «НАРКОМАТ», а также кандидатом философских наук. Также выяснилось, что он остановился в отеле «Монте Карло». И до завтрашнего обеда он совершенно свободен.

Было уже поздно, звонить Бореву я не стал, а завалился спать. И снились мне странные сны. Будто бы в Екатеринбурге весна, но какая-то душная, темная весна, и хотя цветет черемуха, но света во дворе не прибавляется от белых кистей, и какой-то лиловый сумрак залил городскую перспективу. Вдруг по радио объявляют: бургомистр пошел на цугундер – будто бы у него нашли в кабинете сто пять миллионов рублей, которые (вот нечаянная радость!) вернутся в бюджет города. Народ высыпал на улицу, толпится у подъездов, ликует – обсуждает благую весть. Но мрак не рассеивался, а наоборот – становился еще плотней и приобретал совсем уж грязные оттенки. Проснулся с тяжелой головой.

После сигареты и большой чашки кофе вялая кровь ожила, омыла мозг, напрочь разрушая темные и невнятные картины сна, а когда я повторил нехитрую процедуру реанимации, кровь уже напряглась, заискрила электричеством, и пустая занюханная кофейня показалась мне вполне приличным и надежным местом, а зевающий, нечесаный буфетчик – милым молодым человеком, просто немного потраченным за вчерашний вечер.

Я вышел на рю Бланш и пошел вниз, к центру. Накрапывал дождь, что настроило меня на меланхоличный неторопливый лад.

С Боревым меня познакомил уральский заводчик Анатолий Иванович Павлов – могучий русский мужик, возвышающийся Монбланом над унылым нашим ландшафтом. Таких людей я в своей жизни еще не встречал, думаю, что скороговоркой здесь не обойтись, поэтому расскажу о нем в другой раз, когда руки дойдут до горестной сербской повести. В Сербии мы были вместе с Боревым и Анатолием Ивановичем, вели сложные переговоры с архиепископом Черногорским и Приморским Амфилохием о возможном вывозе десницы Иоанна Крестителя, хранящейся в Цетинском монастыре, в Россию. На время, разумеется. Сам факт этих переговоров чрезвычайно возбудил мальтийских рыцарей, итальянских мафиози, а также немецкую и американскую разведки. Я уж не говорю о сербских и черногорских политиках. В общем, было дело на Балканах. Но об этом потом, потом…

А вот и рю дю Фобур Монмартр. Или Предместье Монмартра. Девятый аррондисман. А вот и отель «Монте-Карло». В маленьком холле замечательно пахло свежим кофе. Высокий молодой человек с бледным лицом Жюльена Сореля (в исполнении Николая Еременко-младшего) стоял за стойкой и внимательно изучал газету.

Мил человек, щедро улыбнулся ему русский путешественник, у вас остановился мой друг, месье Boreff. Нельзя ли его видеть? Жюльен Сорель мгновенно среагировал на фамилию Борев, произнесенную на французский манер. С достоинством, как минимум, виконта – он сообщил, очевидно, местопребывание месье Борева. Но беда в том, что русский путешественник не владел французским языком (как, впрочем, и другими, кроме родного, понятно, и с иностранцами изъяснялся исключительно по-русски) и поэтому артистически изобразил на своем лице недоумение. Тут Жюльен Сорель вдруг рявкнул: «Настя!», отчего сходство с Николаем Еременко-младшим еще больше усилилось. И тут раздвинулись толстые портьеры, и взору нового варвара явилось диво дивное: девушка с длинными русыми волосами, с простым лицом, в скромном ситцевом платьишке. Но глаза ее светились, как темные смарагды!

Месье Борев, улыбнулась барышня-крестьянка, у себя на четвертом этаже. Сразу направо. Колыхнулись портьеры – и виденье исчезло. Так я пошел? Ошарашенный посетитель показал пальцами перевоплощенному артисту, как он пойдет по лестнице. Николай Еременко бесстрастно кивнул. Месье Kasimoff! Евгений. Эжен. Русский человек, как простодушный индеец, стукнул себя кулаком в грудь. И протянул дружелюбно руку аристократическому портье. Шаин! – ответил тот церемонно, и рукопожатие совершилось. Имя это, что ли, у него такое?

На четвертом этаже я стукнул в указанную дверь, и дверь тотчас же отворилась.

Борев был все такой же – большой, энергичный, с взъерошенными громадными усами. Мы обнялись. Встреча в Монте-Карло, сказал я и ухмыльнулся. Вы знаете, Женя, это самый приличный отель в районе. Лет пятнадцать назад я изучил множество отелей в Париже и остановился на этом: недорого, относительно комфортно, недалеко от центра. Что? А с Генералом мы останавливались в Гранд-отеле, Женя, в Гранд-отеле. Другого Генерал себе и позволить не мог в таком вояже. Ну, разве что отель «Крийон». Кстати, я там устроил ему встречу с Шираком. О, это сложно было придумать, а исполнить-то как раз очень просто. А вот с нашей скромной гостиницей однажды произошел презабавнейший случай. Вы представьте себе, приземляется самолет из Москвы в аэропорту Шарль де Голль и из него выгружаются трое русских туристов, которые веселились всю дорогу и выпили все, что им предлагали, и все, что они взяли с собой. А денег у них, похоже, было много, и, похоже, все их путешествие было затеяно только для того, чтобы истратить эти деньги как можно более шумно. И вот они выгружаются из самолета, и стюардессы напряженно им улыбаются, а потом плюют вслед. А эти трое развязно ловят такси и, похлопывая по плечу шофера, который еще к тому же оказался негром, кричат бедолаге в самое его черное ухо, в Монте-Карло, бой! В натуре! И намерения, очевидно, у них были самые решительные, ну, не меньше как обчистить какое-нибудь роскошное казино.

Как говорится, чтобы остались у них только хваленые зеленые столы. Негр поморщил лоб, покумекал и повез их. И через полчаса подруливает к нашему отелю. Битте-дритте, синьоры, Монте-Карло. Как Монте-Карло? Это Монте-Карло? А они-то представляли, что их сейчас встретят шикарные швейцары в форме, и девушки в длинных платьях и с длинными мундштуками, в которых дымятся египетские сигареты, отведут их к таинственной рулетке, где они сходу начнут срывать свои миллионы, потому что дуракам всегда везет. А тут – скромный отель и неприступный портье. Обман, кричат эти три товарища и начинают шофера бить, причем очень неполиткорректно обзывая его на всю улицу, но тут уже и полиция подоспела, а с французской полицией, Женя, не шутят. В общем, как это вы говорите, спендикрючили их одномоментно. Не знаю, добрались ли они до своей мечты. Скорее всего, нет. Французская полиция – это вам не ППС. С ними договориться не получится.

Владимир Юрьевич, признайтесь, вы это все выдумали, закричал я. Прямо сейчас и выдумали! Это отличный скетч! Это, Женя, чистая правда, отвечал Владимир Юрьевич и таинственно улыбался.

Портье мы застали врасплох – с огромной кружкой, из которой он задумчиво прихлебывал кофе, Шаин стоял за конторкой и что-то читал. И, судя по выражению лица, не меньше чем Библию. Завидев нас, он ловко спрятал кружку и безукоризненно улыбнулся. И в этот момент опять шевельнулись портьеры, и на миг явилось нежное лицо, и зеленые глаза царапнули меня по остекленевшему сердцу. А что, Женя, вы уже познакомились с этой очаровательной девушкой? Борев с веселым любопытством смотрел на меня. Настя, прошептал я. Ее зовут Настя! Борев только крякнул и натянул на свою башку черный берет, украшенный мощной кокардой Госнаркоконтроля, представлявшую из себя щит с вертикальным мечом, пронзающим змея. И мы выкатились на улочку.

Парижский дождь, к которому невозможно привыкнуть, потому что он начинается и заканчивается совершенно не-

логично, встретил нас, но Борев ничуть не смутился, коротко скомандовал: «За мной!» – и увлек меня под какую-то каменную арку, над которой красовалась надпись «Пассаж Вердо». Мы шагали по гулкой пустынной галерее, в стеклянных витринах которой торчал всякий хлам, который разве что по пятидесятилетнему возрасту можно было назвать антиквариатом, и ни одной живой души не попадалось нам навстречу. Дождь бил в стеклянную крышу, и влажный длинный сумрак заполнил коридоры, где в укромных закутках таился призрак обольстительного месье Верду, скользил тенью неуловимый Арсен Люпен, бежал по темным переходам сыщик Видок, шумно шелестя мрачным дождевиком. Озноб охватил меня: казалось, сейчас за поворотом мы непременно столкнемся с тучной фигурой в серой сутане – нет, почему в сутане? В шелковом цилиндре, в сером распахнутом сюртуке, с шикарной голубой жилеткой напоказ, а поперек – золотая цепочка, пристегнутая к часам с репетиром, покоящимся в жилетном кармане, в тесноте которого вязнет тиканье диковинного механизма, придуманного трезвыми умами, чтобы лишний раз доказать людям, что время невозвратимо. Какая чепуха! А как же – «с Байроном курил и пил с Эдгаром По»?

Мы вышли на свет божий и тут же нырнули в другой пассаж – точную копию первого, но с названием «Панорама». Знаете, Женя, я исследовал весь этот район и обнаружил, что половину Парижа можно обойти в самый сильный дождь, даже не замочив ног. Борев рассматривал сквозь пыльную витрину лавку, в которой торговали холодным оружием – как новоделом для туристов, так и изъеденными временем клинками. Борев знал толк в оружии, но в отличие от Анатолия Ивановича Павлова, владеющего, может быть, лучшей коллекцией в России, более всего ценил простую надежность казацкой шашки, которую он крутил довольно виртуозно. И если у Павлова, как в парижском Военном музее, были собраны толедские шпаги с витиеватыми гардами, тяжелые шотландские палаши, изящные кавказские сабли гурда, хищные стилеты и свирепые ятаганы, бебуты, кылычи, хопеши, короткие и длинные мечи

всех времен и народов – немыслимое количество рубящего и колющего оружия, среди которого есть и принадлежавшая эмиру Бухарскому сабля дамасской стали в ножнах, украшенных рубинами и алмазами, и кортик Николая Второго, подаренный ему императором Вильгельмом, и в превосходнейшем состоянии скифский акинак, о котором вздыхает сам Пиотровский, мечтая выставить его в Эрмитаже, и еще много разных чудес, которые можно встретить разве что в каталогах международных аукционных домов (дрожь пробирает, когда только представишь, что где-то в тайной комнате могут храниться Жуайез или Фламберж Карла Великого, а может быть, Дюрандаль рыцаря Роланда или Бальмунг героя Зигфрида, или даже сам Эскалибур короля Артура! А на фиолетовом бархате – спокойно, господа! – покоится легендарный ослепительный меч с раздвоенным лезвием – Зу-ль-Факар, меч пророка Мухаммеда), то у Борева на стене висят только потертая драгунская сабля, безымянная златоустовская шашка да громадный крестьянский мачете из Никарагуа. Я обожаю суровую сталь боевого оружия, но сам не имею даже приличного набора кухонных ножей. Правда, недавно мой друг Маршан подарил мне настоящий спринг-найф, который, надеюсь, и станет началом моей скромной коллекции благородных смертоубийственных предметов.

А что, Владимир Юрьевич, спросил я, выглядывая себе старую ореховую трость с узким граненым жалом внутри, правда, что Генерал всерьез рассматривался французами как реальный кандидат? Это правда, сказал Борев, немного помедлив. Правда и то, что встреча, о которой я вам говорил, состоялась. Хотя об этом сейчас мало кто помнит, а многие так и просто ничего не знают о ней.

Вся загвоздка была в том, что официально такой встречи ну никак не могло произойти. Разные уровни. Президент Республики и наш кандидат в президенты. Москва бы возмутилась. И нужно было как-то эту проблему решить. Чтобы и к французской стороне претензий не было, и чтобы наш Генерал не выглядел бедным родственником. И вот я узнаю, что Ширака ждут в отеле «Крийон» какие-

то японские представители, что там непременно будет дан обед. А ведь президент вполне может поблагодарить шеф-повара за хороший обед и вполне может спуститься к нему вниз, на кухню. И вот я звоню своему другу Жерару Депардье, а надо сказать, Жерара обожает весь Париж, а еще все знают, какой он гурман, и для любого шеф-повара большая честь принять его у себя, вот так, в приватной обстановке, поговорить о достоинствах французской кухни, и принять Жерара для нашего шеф-повара не меньшая честь, чем принять президента Республики; так вот, Жерар договаривается о встрече с этим самым шеф-поваром, что он заглянет к нему на полчаса со своими друзьями, и тот, конечно, этому несказанно рад. И вот мы сидим у этого шеф-повара, который, говорят, соперничает с самим Мишелем Ротом, попиваем винцо и тот нам рассказывает о каком-то чудесном соусе, рецепт которого он недавно нашел чуть ли не у Франсуа Вателя или Огюста Эскоффье. И в это время появляется Жак Ширак поблагодарить хозяина кухни за отличный обед, а вот, говорит король соусов, мои друзья, господин Президент, заглянули, так сказать, на огонек, и Ширак нежно здоровается с Депардье, и ему представляют нашего Генерала. И рукопожатие совершилось! И президент, а что тут такого, присаживается за наш столик, и происходит пятнадцатиминутная беседа с Генералом – без протокола, разумеется, это же частная беседа! А с охраной мы, конечно, все согласовали.

Ну, вы интриган, Владимир Юрьевич, с восхищением развел я руками. И Борев немедленно распушил свои неслыханные усы.

Мы вышли на Большие Бульвары. Дождь перестал, и выглянуло холодное солнце. Может быть, позавтракаем, Владимир Юрьевич? Мне, честно говоря, очень хотелось просто посидеть в маленьком теплом кафе, где запах свежей выпечки мешается с запахом молотого кофе, где пыхает паром никелированная чудо-машина, где расторопный гарсон гремит посудой, весело перекликаясь с большим медленным хозяином, плавно скользящим за стойкой и невозмутимостью своей напоминающим автомат-андро-

ид из американского парка. Нет, Женя, весело отозвался Борев, мы еще ничего не сделали полезного для Родины. И пришлось мне уныло закурить на ходу.

Проехала мусороуборочная машина. Большие блестящие негры в синих комбинезонах ловко меняли пластиковые мешки, натягивая их на ярко-зеленые кольца. На мешках было что-то написано. «Бдительность и чистота» – перевел Борев. Раньше, пояснил он, везде стояли мощные чугунные урны. Но в них стали закладывать взрывчатку – очень серьезный осколочный снаряд получался, и все урны поменяли вот на такие конструкции. Но старые чугунные еще можно встретить в окраинных районах. Знаете, Женя, они вообще умеют решать свои проблемы. Французская полиция, наверно, лучшая в Европе. Они владеют информацией, у них отличные аналитики, они дотошны и настойчивы, как ЭВМ. Когда взорвали метро на бульваре Сен-Мишель, они не успокоились, пока не взяли всех – двадцать три человека было в этом деле. И взяли всех! Но при этом они снисходительны, например, к демонстрантам. Я однажды, когда еще учился в Сорбонне, нечаянно оказался свидетелем уличных беспорядков. Студенты бастовали. И как-то натурально против чего-то протестовали. Какой-то рецидив шестьдесят восьмого. Нет, баррикад не было, но суматоха на улицах была изрядная. И вот я попадаю в эту толпу и вижу: на меня набегает полицейский с дубинкой. Я в сторонку. Он проносится мимо, но вдруг делает взмах – и дубинкой меня! По плечу. И чувствую, как-то он несерьезно ударил. Вроде как ударил, но скорее всего просто обозначил удар. Засалил. И вроде как можешь выходить из игры. Извините, Женя, мне нужно позвонить. И Борев скрылся в телефонной будке.

Через пять минут он появился очень довольный и тут же повел меня в продуктовый магазинчик, где купил две бутылки жидкого йогурта. Очень энергетический продукт, объявил он. Заряжает на полдня. Йогурт был ледяным. Может, мы все-таки зайдем в кафе, а, Владимир Юрьевич? Предлагаю пообедать в Латинском квартале, сказал Борев и свернул голову своей бутылке. Часа в четыре. Я уго-

щаю. А пока не будем расслабляться. И он стал жадно впитывать живительную кисломолочную энергию.

А знаете, Женя, почему Генерал не получил явной поддержки во Франции? Они ведь к нему очень внимательно приглядывались. Самые влиятельные круги. Владельцы массмедиа, атомной промышленности… Люди, которые ставят президентов, назначают министров. Генерал в поездке держался молодцом, но напряжение было очень сильным. У него вот здесь, на запястье, открылась экзема – совсем небольшое пятнышко, но его это почему-то очень беспокоило. И он, как бы в задумчивости, все время потирал руку. И вот собрались магнаты за круглым столом, такие невзрачные с виду люди, хорошо одетые, хорошо воспитанные – Генерал над ними возвышается, как гора. Держится неплохо, по-солдатски фразы рубит, говорит ясно, точно, немного грубовато, – я, как могу, в переводе смягчаю, но простота его, чувствую, немного смущает этих господ. Нет, сначала как раз она очень понравилась! Они восприняли это как какую-то игру. Но потом стали понемногу смущаться. А тут зачесалось у Генерала. И он нет-нет да поскребет лапищу – да так яростно! Да ногтями! Господа интересуются, но незаметно так. А Генерал наяривает! Ну и расчесал до крови. И вдруг совсем по-мальчишески – приложился к ранке. Что-то ответил – и сосредоточенно так прильнул. Как вампир какой. Господа переглянулись, еще немного поговорили, вежливо поблагодарили за беседу – и было уже ясно: ставить на него не будут.

Борев допил йогурт, аккуратно завернул крышечку и бросил пустую бутылку в урну – вернее в блестящий мешок, исполняющий обязанности урны.

Он ведь, Женя, десантник был, а десант как действует? Высадились и решительно захватили плацдарм. Главное – продержаться до подхода основных войск. Ударная сила! Потом уже подходят бронетехника, пехота, интенданты и так далее. Действия десантной группы – это только часть большой операции. А президент должен быть человеком системным. Я с ним как-то на эту тему поговорил, но он только рыкнул: «Не любишь ты десантуру!»

Я вдруг подумал, а если бы Генерал стал Первым лицом? Ну, допустим? Какова была бы государственная политика? Открылся бы в нем талант стратега, способного организовать не армию, а фронт, например? Наполеон тоже был простым артиллеристом, однако стал не только полководцем, но государственным деятелем, которого французы до сих пор обожают. И живут, между прочим, по его Кодексу. Объединенная Европа его, конечно, не любит, но ведь являет же собой его воплощенную мечту! И Шарль де Голль был генералом. Может быть, все получилось бы. Но меня еще и другое занимало: а каково было бы его окружение? А как бы вела себя армия профессиональных аппаратчиков, чиновников всех мастей? Они что – надели бы голубые береты и тельняшки? И в День десантника традиционно бы купались в фонтанах и дрались бы почем зря с гомосеками и ментами? Чутко слышать верховную (не высшую!) власть, а не тех, на чьих плечах эта власть стоит, это какая-то удивительная особенность любого, объявившего себя государственником.

Когда наш Президент был явлен миру во всем своем кимоно и продемонстрировал рукоплещущей публике свое умение на горнолыжном спуске, тут же все крупные и мелкие чиновники кинулись в магазины приобретать спортинвентарь – причем самого лучшего качества, чем, несомненно, способствовали оживлению торговли. Прибыли в спортивных магазинах были несусветные! Ну, на татами чиновники выйти не рискнули, но удачно приспособили кимоно под домашние халаты, а вот лыжам было уделено самое пристальное внимание. Потом с гордостью позировали перед телекамерами, показывая синяки и шишки, полученные на горных склонах. Горные лыжи и дзюдо стали национальными видами спорта. Даже на эстрадных подмостках какой-то дуэт во фраках и цилиндрах под музыку «Кровь, пот и слезы», под дивное рычание Дэвида Клейтона Томаса стал весело отплясывать чечетку на лыжах. А если у нового Президента будет другое какое увлечение? Шахматы, например? Представляю, каким спросом будут пользоваться всякие учебники по древней индий-

ской игре, с каким прилежанием будут немедленно оплывшие люди изучать сицилианскую защиту, гамбит четырех коней и расширят свой лексикон диковинными словами: цугцванг, миттельшпиль, цейтнот… А уж что говорить про шахматные фигуры! Из каких только редких пород деревьев их не будут точить?! Сколько баобабов и сикамор изведут на это дело?! Сколько моржей и слонов погибнет, ибо зубы их пойдут в производство.

За площадью Этуаль Борев вдруг стал похож на Эркюля Пуаро – он сосредоточенно осматривал закоулочки, остро приглядывался к особнячкам и вдруг остановился в изумлении. Женя, что это? Борев был смущен и, я бы даже сказал, растерян, если бы не знал, что ему не свойственно теряться, даже когда на него направлен АКМС с глушителем (было дело на Балканах). Борев поднял руку и ткнул пальцем в груды плюща, которым была оплетена двухметровая стена. Я вперил подслеповатые глаза свои в гущу зелени. Ну и что? Как что?! Колючая проволока в центре Парижа! Женя, это самый фешенебельный район! И тут я заметил, что внутри роскошного зеленого покрова притаилась стальная спираль с хищными острыми колючками. Борев даже застонал: ну не могут французы такое сделать! Надо ж знать, как они относятся к таким вещам! Э-э! Видно, домик-то прикупил кто-нибудь из наших. Не иначе. И мы невесело побрели дальше.

В храме Александра Невского было не протолкнуться. Шла служба. Воздух был влажный и тяжелый. Волны курящегося ладана медленно ходили над головами молящихся. Мы постояли немного, помолчали, тихонько перекрестились и вышли наружу. Во дворике кучками стояли люди, говорили по-русски – совсем как где-нибудь на Михайловском кладбище в Екатеринбурге, под белыми стенами церковки, где обычно по воскресеньям встречались знакомые и малознакомые прихожане, чтобы коротко поговорить о медленнотекущей жизни, о снах и предчувствиях. Правда, здесь, как я понял, еще и устраивались бытовые дела, договаривались о встречах, запи-

сывались в какие-то списки. У ворот на доске были расклеены рукописные бумажки: «Есть няня по уходу за малолетними детьми», «Преподаю языки, музыку», «Ищу работу. Любую». Отдельно висело большое объявление: «В храм за помощью не обращаться».

На Елисейских полях народ гулял неторопливо и беззаботно, за исключением нескольких теток, деловито оглядывающих роскошные витрины. По прямым решительным взглядам было ясно: будут штурмовать. Будут надменно потрошить бутики, как в свое время разоряли Елисеевский гастроном. Борев потянул меня за рукав. Я только и успел прочитать название магазина «Sephora», как оказался в длинной пещере, наполненной немыслимыми ароматами. Разноцветные, как наполеоновские войска, стояли флаконы духов и одеколонов в нежной тишине. Борев деловито шел, словно император, осматривающий доблестных солдат своих перед парадом, а я поспешал за ним, как какой-нибудь граф де Сегюр – и вдруг остановился как вкопанный: мне почудился запах зеленого леса. И меня неодолимо потянуло к большому изумрудному флакону. Я нажал на кнопку, и тончайшее облако возникло в подсвеченном сумраке. И летний лес распахнул свои объятья – и я, ликуя, вошел в него – и вознесся, и, как невесомый даос, заскользил по вершинам деревьев. Борев в это время дружески беседовал со своими гвардейцами. Он снял берет и сосредоточенно пшикал на свою крутую башку сразу из нескольких флаконов. Я, освободившись из лесного плена, робко приблизился к нему. Не будет ли это избыточным, сир? Все дело в сочетании запахов, Женя. В утонченном купажировании. И он деловито окатил себя из серебряного куба холодным мужским одеколоном.

Благоуханные, как небесные жители, мы выкатились на улицу и пошли по Елисейским полям вниз, к Лувру. Возле каждого телефона-автомата Борев останавливался и куда-то звонил. Иногда подолгу разговаривал. Я, оставаясь в одиночестве, проявлял меланхолическую любознательность к прославленному проспекту, оглядывая издалека темные статуи в мундирах. Изумленный, обнаружил

памятник Фантомасу, притаившемуся в вечнозеленых кустах неподалеку от Президентского дворца. Исследовав истукана, я разочарованно выяснил, что это всего-навсего памятник Жоржу Помпиду. Но как похож! И ведь не поверит никто! Я сфотографировал бронзовое чудовище на этот случай и теперь могу предъявить кому угодно неоспоримое доказательство поразительного сходства бывшего президента с таинственным героем в зеленой маске.

Появился повеселевший Борев и объявил, что сейчас мы идем к его старинному знакомому.

Контора старинного знакомого находилась неподалеку от Лувра. Марк Туске – бывший политтехнолог Жака Ширака, а сейчас делает президентов в Африке, шепнул мне Борев, когда мы поднимались по истертой мраморной лестнице цвета старой слоновой кости.

Огромный стол был завален бумагами. В просторной светлой комнате было холодно, хотя несколько электрических радиаторов источали горьковатое масляное тепло. Хозяин кабинета извинился и предложил запросто расположиться в пышных кожаных креслах – не раздеваясь. Сам он был одет в добротную коричневую пару, галстук был свеж, платочек безукоризнен. На плечи было наброшено легкое пальто. Он заставлял вспомнить тридцатые годы, какими мы их представляем по голливудским фильмам в стиле ретро. Эдакий винтажных дел мастер.

Борев завел с месье Туске какой-то деликатный разговор, а я молчаливо изображал адъютанта, прислушиваясь к волшебной французской речи.

Задушенно зазвонил мобильный телефон, я стал рыться в кармане, но каково же было мое удивление, когда месье Туске извлек из кармана своего шикарного пиджака точно такой же телефон, как у меня, и мельком глянул на светящийся дисплей. Старый добрый «Сони Эриксон». О чем говорю я вам совершенно открыто, не боясь, что меня уличат в скрытой рекламе, потому что эта модель – без фотокамеры и других чудес – давно уже не продается. Старомодность месье Туске располагала. А вот Борев еще более консервативен, и у него вообще нет мобильно-

го телефона. Кроме того, он не работает на компьютере, предпочитая писать свои забойные редакторские колонки обычной ручкой. Ну, а информацию он черпает из более компетентных источников, нежели информагентства Интернета. Впрочем, как я давно заметил, информация его мало интересовала. Он искал знания.

Разговор закончился, и месье Туске достал из вороха бумаг на столе какой-то бланк, вышел в соседнюю комнату, где немедленно застучала пишущая машинка. Через пять минут документ был подписан стальным паркером и вручен Бореву. Мы по-деловому распрощались с хозяином конторы, и трехметровые двери из мореного дуба захлопнулись за нами.

Есть идея: провести семинар, пусть наш спецназ обменяется опытом с французским, сказал Борев, сворачивая документ в трубочку и пряча его в одном из десяти карманов своей куртки. Да, семинар. С публичной демонстрацией боевого искусства.

Владимир Юрьевич, а нужно ли раскрывать специальным подразделениям свои секреты? Не лучше ли сохранить свою тренированность, свое умение в тайне? Мы сидели в чудесном ресторанчике на площади Контрэскарп и ели улиток. Борев учил меня выковыривать специальными щипчиками нежную субстанцию из раковинок. Женя, смотрите на это дело проще. Как на театральное представление. В китайской опере тоже демонстрируют кун-фу – от этого кун-фу не становится доступней. Но ведь спецназ не играет в войнушку, возразил я. Спецназ реально воюет. Борев рассеянно посмотрел на меня. Э-э, мы ведь иногда запускаем ракеты, нацеливая их на учебные мишени. Мы, Женя, покажем им не документальное кино, а художественную фильму. Кстати, не хотите ли сыру? Давайте закажем камамбер. Тут я должен признаться, к стыду своему, что плохо разбираюсь в сырах и всему обилию их предпочитаю обыкновенные плавленые сырки. Нет по мне ничего вкуснее вечерней кружки горячего крепкого чая и длинного бутерброда с маслом и сыром «Орбита». Я вздохнул. Может быть, мясо?

А? Я в меню видел мясо по-татарски. Борев поморщился. Это просто кусок сырого фарша, Женя. Что, совсем сырое мясо? Совершенно сырое, печально сказал Борев. Нет, ну я хоть и потомок царевича Касима, сына Уллумухаммеда, но… Нет, даже и пробовать не буду! А они что, нас дикарями считают? Московия, Татария…

В это время сидящая за соседним столиком компания развернулась к нам, и худощавый француз с серебристым ежиком и в круглых очках интеллектуала что-то весело спросил у Борева. Усы у того немедленно встали дыбом. Он выхватил неведомо откуда свой берет с кокардой, натянул его на голову и замер, как перед фотоаппаратом, грозно поводя очами. Компания жидко засмеялась, но захлопала в ладоши. Спрашивает, не из КГБ ли мы, с усмешкой сказал Борев. Он заговорил с французом, и все вдруг уставились на меня. Женя, я сказал, что вы представитель древнего татарского рода и писатель. Но, что удивительно, он тоже писатель. Говорит, известный.

Я был смущен. Надо было немедленно подтвердить рекомендацию. Я вспомнил о своей новой книжице «Этнографические стихи» – уверяю вас, оказавшейся у меня в кармане в сей момент совершенно случайно! – и тут же вручил ее французу. Он открыл ее, как открывает милиционер паспорт у несчастного гастарбайтера, глянул на фотографию, остро посмотрел мне в лицо – и дружелюбно протянул руку. Товарисч, сказал я. Камрад! И ответил рукопожатием. За столиком бурно зааплодировали. Я испытывал чувство, как будто меня только что приняли в Пен-клуб.

Мы шли с Боревым по улице Сен-Дени в сторону Северного вокзала. Уже зажигали свет. Из уличных кофеен несло жаром газовых горелок. Пахло горячим шоколадом и крем-брюле.

Ноги у меня отнимались. Борев же был все так же бодр и энергичен. Он ворочал своей крупной головой из стороны в сторону, все видел, все слышал, все чуял. Он рассказывал о сырах, винах, соусах, о старой доброй французской кухне, которую можно найти только в небольших, мало кому

известных кабачках, где собираются настоящие знатоки и гурманы, а вовсе не в фешенебельных ресторанах. Он посвящал меня в парижские тайны, но город, образ которого удивительно совпал поначалу с моим сугубо литературным представлением о нем, все более становился чужим.

А что, Женя, вы действительно потомок? Я рассмеялся. Ну что вы, Владимир Юрьевич! Я пошутил. Признать себя потомком царевича Касима – значит записаться в родственники Симеона Бекбулатовича, который почти год был русским царем, официально провозглашенным при Иване Грозном. Это было бы большой дерзостью.

В подворотнях стояли раскрашенные шестидесятилетние проститутки в черных ажурных чулках, сквозь которые выпирали варикозные вены. На узких тротуарах кучковались смуглые, чернокожие и даже желтолицые французы, горланили, гомонили, перетирали базарные свои дела, но к нам никто не приставал, никто не задирал нас. Может быть, им и дела до нас никакого не было, а может быть, их магически останавливали щит и меч, сверкающие на боревском берете.

НОЧНОЙ ПОЛЕТ

Лететь в самолете ночью – это как перемещаться в большой темной трубе из пункта А в пункт В. Нет ощущения высоты, скорости, пространства. Как будто ты помещен в комфортный аттракцион, изображающий нуль-переход. Но в силу несовершенства техники – не мгновенный.

Когда летишь на запад, время как бы затормаживается, что вполне соответствует странному ощущению дневного полета: вроде бы самолет железный, а вот висит себе в небе – и не падает. Когда же путь твой лежит на восток – да еще ночью, – время бежит быстро: часовые пояса пролетают с шелестом, мысли же, наоборот, становятся медленными, тягучими, как жевательная резина. Усиливается чувство, что недавний Париж – иллюзия, кинематограф, какой-то длинный чудесный фильм, снятый Отаром Иоселиани. Дивные кадры и планы, случайные и совершенно невозможные совпадения, явно постановочные микросю-

жеты, которых множество и которые объединены прихотливой рукой монтажера в неторопливый и безыскусный шедевр, напоминающий о подлинности жизни.

Вот чистый автобус салатно-белого цвета едет неторопливо по бульвару Батиньоль в сторону Трокадеро. В салоне немноголюдно, все тихонько посиживают, дремлют. Стекла затемнены, отчего город кажется сумеречным. Киноглаз выхватывает вывеску «Гастрономъ № 8». Из припаркованного на тротуаре фургончика вполне интернациональные грузчики вынимают коробки с товаром. В дверях стоит грозный армянин в ослепительно белой курточке и ругается по-русски. Причем кричит он, чуть повернув голову, и явно не грузчикам, а кому-то таящемуся в глубине магазина, и левый глаз его, как у хамелеона, выворачивается из своей орбиты, нарушая всякую бинокулярность зрения, другой же продолжает свирепо наблюдать за грузчиками – и от этого лицо его становится похожим на портрет работы Пикассо.

Пышный сад за колоссальной чугунной оградой. Тротуар усеян палой листвой. Рыжая девчонка с рыжей собакой бегают по легким высохшим листьям. Собака таскает на поводке девчонку. Та бесшумно хохочет во все горло.

Конечная остановка «Трокадеро». На площади страшно дует. Открывается вид на Эйфелеву башню, на Марсово поле. Вдруг узнаешь эту панораму и понимаешь, что все русские тележурналисты начинают свои репортажи именно отсюда. Снимают пресловутый стенд-ап, что-то взахлеб говорят в микрофон, а за спиной, понятно, Эйфелева башня.

Так тому и быть, подумал я и попросил унылого африканского торговца сфотографировать меня. На фоне башни, разумеется. В благодарность за оказанную услугу я купил у него два десятка башенок-брелоков. По два евро за штуку. Каково же было мое изумление, когда, спустившись вниз и перейдя Сену по мосту, я обнаружил, что у подножья башни такие сувениры стоят уже по одному евро за штуку, а если брать связкой, то еще и скидку сделают! Все никак не

могу привыкнуть к рыночной экономике. Ничего, мужественно сказал я сам себе. Мы всегда помогали угнетенным народам. И африканским. И арабским.

Но, видно, разочарование свое все-таки не скрыл, потому что в утешение какая-то милая девушка вручила мне длинный билет, приговаривая «батон!», «батон!». В бейсболке, в белой футболке, натянутой на серую фланелевую рубаху, она напоминала воркующего городского голубя-сизаря, клюющего нежданно-негаданно свалившийся с небес свежий батон, и как бы радостно предлагала разделить с ней трапезу. Потом-то я сообразил, что этот билет предоставляет всего-навсего скидку в один евро, если вы покупаете настоящий билет на пароходик, курсирующий по реке. А пароходик по-французски «бато». И пароходики эти действительно похожи на большие батоны.

На верхней палубе было пусто. Дул ветер. Иногда сыпал дождь. Быстро смеркалось. В городе зажигались огни. Заиграла музыка, и нежный девичий голос под нехитрый аккомпанемент стал выводить песню. Бог знает, о чем пела эта девушка, но мне почему-то представилось, что эта песня о ночном Париже, в котором ей очень грустно, неприкаянно, но она изо всех сил держится и делает вид, что ей хорошо. Жанно сказал, что пойдет купить сигарет, вышел – и пропал, я жду, жду его, а его все нет и нет, ну и наплевать на тебя, дурак, я подожду еще полчаса, а потом уйду из своей крохотной квартирки, пройдусь по набережной, укрывшись под черным зонтом, глупый ты глупый, потом пойду в Латинский квартал, там есть отличное кафе, в котором сейчас сидят мои друзья, а Эжен мне всегда нравился, мы славно проведем вечер, а ты пропади пропадом, какой же ты все-таки глупый, мой милый, ведь нам было так хорошо…

И в довершение ко всему этому бреду выкатилась полная луна – это пароходик развернулся и потрюхал назад, вниз по реке, обратно к Эйфелевой башне, которая уже мигала в тысячу огней, и широкие лезвия прожекторов полосовали небо. И тут заиграл роскошно аккордеон, и возник во тьме сильный женский голос с хрипотцой. О, Париж! Париж!

Потрескивала невидимая патефонная пластинка, золотые лунные блики играли на черной речной зыби.

Пароходик тянулся мимо темного Лувра, где однажды выпало мне нелегкое испытание. Сначала, как водится, я бродил наугад, но потом примкнул к группе туристов, которых водила по дворцу черноволосая пылкая женщина, складно говорящая по-русски. Все обращались к ней запросто: Раймонда. О, как она была щедра и лукава, эта Раймонда! Она была похожа на ведьму, которая заводит вас в сокровищницу и объявляет, что вы, дескать, можете набивать свои карманы, сумки и даже сапоги всем этим добром. И пусть каждый берет столько, сколько унесет. Ну все и гребли, кто сколько может. И я, каюсь, жаден оказался до невозможности. А потом таскался по Лувру, тяжелея от зала к залу, меняя медь на серебро, серебро на золото, а золото на чистые бриллианты, и к вечеру совершенно упрел и отупел. И в галерее Ришелье, где висят любимые мои голландцы, уже ничего не воспринимал. Удивился только, что «Корабль дураков» – очень маленькая картина. Совсем как досочки художника Коровкина. Только у Коровкина эти досочки веселые, яркие – все в ромашках, а у Иеронима Босха картинка темная и грустная, как наша жизнь.

Берегите карманы, предупредила Раймонда, когда группа подошла в Венере Милосской. Здесь работают мастера. Они вытащат у вас кошелек, вынут все деньги, а кошелек запихнут вам обратно в карман – и вы ничего не заметите! Все посуровели и стали подозрительно оглядывать толпу. У Моны Лизы тоже будьте настороже, сказала Раймонда. Женщины инстинктивно прижали сумочки к животам, а мужики, порывшись внутри пиджаков, напрягли мышцы.

У меня тырить, собственно, было нечего – ибо ни кошелька, ни портмоне, ни даже гомонка никогда с собой не ношу, и располагал я к этому часу весьма скромными духовными богатствами, – поэтому спокойно толкался среди фаворитов луны, и пытливо разгадывал фокус Джоконды. Мне кажется, дело именно в фокусе, но в другом смысле. Если вы сфокусируете свой взгляд на улыбающихся губах – глаза на портрете затуманиваются, если смотрите

глаза в глаза – из фокуса исчезает рот. Отсюда – постоянно меняющееся выражение лица. А может быть, все гораздо сложнее. И тайна этой картины непостижима.

В небольшом зале со скульптурами довольно холодно осматривал полированный мрамор и вдруг – остановился как громом пораженный! Две напряженные человеческие фигуры, готовые развернуться неслыханной живой мощью. Подошел ближе. Ну да, понятно. Микеланджело. Похожие ощущения испытываешь в музее Родена.

Зазвенел будильником мобильный телефон. Звонила Женя Акулова. Она закончила вечерний радиоэфир на «RFI» и собиралась домой. Офис «RFI» находится недалеко от Эйфелевой башни, куда возвращался наш «бато», и я сказал, что мог бы встретить ее и мы могли бы где-нибудь поужинать. Женя сказала, что поедет на метро и будет ждать меня на площади Шатле возле фонтана.

Женя не только пишет картины, но еще работает на радио, которое вещает на Россию. Когда-то я работал в городской телерадиокомпании «Студия Город», где вел культурные программы и где нашими партнерами были эти самые французы. Обычно нам предлагали транслировать странную арабскую музыку. И мы охотно передавали эту пыльную, жаркую, выматывающую душу дребедень, потому что за это платили полновесными иностранными деньгами. Времена были трудными. Приходилось выживать. Утешало то, что мы загнали эту музыку на средние волны – малодоступные и совсем не популярные в эпоху FM. Но небольшие угрызения совести мы все-таки испытывали.

Ну, сегодня совсем другое дело! Эфир бодрит, как таинственный напиток *винт*, как чудодейственный препарат «Виагра». Будоражит и притягивает, как *малина* или *хаза*. И чисто одетые *гопники* объясняют смысл жизни. Теперь наше народонаселение точно знает, что нужно носить, на чем ездить, как питаться, где отдыхать, что читать, что смотреть, что слушать. И разумеется, кого выбирать во власть.

А начиналось-то невинно – с пряной восточной музыки, которую никто и не слушал, кроме двух-трех доморощенных ваххабитов из Первоуральска.

Впрочем, Женя Акулова работает над серьезными передачами, и миссия у нее просветительская. Я же не то чтобы потерял интерес к культуртрегерству, но воспитываю сейчас только своих детей да десятка два студентов.

Желтый круг луны катился в разрывах туч. Лет двадцать назад в такое полнолуние я непременно бы крепко выпил. Но на душе почему-то было покойно. И я чинно ступил на твердую землю. Повернувшись спиной к луне, на которой тысячелетний заяц все толок в ступке волшебное снадобье, приняв которое становишься невидимкой, я запахнулся поглубже в крылатку, надвинул мягкую широкополую шляпу на самые брови и, шевеля в осеннем сумраке тростью, внутри которой таился длинный острый клинок, заспешил на свидание с златокудрой Эуджением, которая вполне бы могла быть аллегорией Осени у Боттичелли. Или Лукаса Кранаха.

Мы сидели в «Курящей Собаке». Ярко горело электричество. По стенам висели картины, изображающие собачью жизнь. Какой-то барбос в ночной сорочке и колпаке заигрывал с подружкой на фоне окна, в котором чесночинкой торчал месяц. Сенбернар в красном жилете, полосатых штанах и сером шелковом цилиндре что-то записывал в блокнот на скачках, попыхивая сигарой. А всклокоченный спаниель грустно смотрел на косточку, которую ему подал важный гарсон.

Женя, спросил я, хорошо тебе в Париже? Не скучаешь по дому? Я деловито выжимал лимонный сок на устрицу. Женя весело посмотрела мне в глаза. В прошлом году, сказала она, я ездила с дочкой в Екатеринбург. И ты не позвонила, обиделся я. И проглотил устрицу. Женя усмехнулась. Не успела. На второй день, когда я возвращалась домой – часов в восемь вечера, у самого подъезда какие-то упыри вырвали у меня сумочку. А потом ударили в лицо и сломали нос. Когда я упала – еще несколько раз пнули. Сломали ребро. Так я и пролежала весь отпуск дома. Скучала, конечно.

Она улыбнулась. Как тебе устрицы? Я хотел что-то сказать, но получился у меня только какой-то тощий жалобный мык. Я потрогал смятый лимон и стал искать салфетку, чтобы вытереть руки. Салфетка свалилась под ноги, и я с трудом ее поднял, чуть не стянув со стола скатерть.

За влажными темными стеклами кафе смутно виднелись решетки, за которыми стояли чернильного цвета кусты. Громадный мрачный Сент-Эсташ занимал полнеба.

Когда-то рядом был знаменитый рынок, тот самый. Тридцать пять лет назад все павильоны разобрали и вывезли к черту на кулички. И дух его был истреблен. Теперь здесь Форум – торгово-развлекательный центр, ухоженный сад. «Чрево Парижа» кануло в литературу, как в Стикс. А сам рынок, его, скажем так, каркас, стоит сейчас где-то в Рэнжис, что ли. У нас тоже была Хитровка – и ее тоже снесли. Решительно и одномоментно ликвидировали. Но призрак Хитровки бродит по России, а в Екатеринбурге он, похоже, прописался.

Женя, а давай выпьем вина? А? Сотерна? Нет, больно сладкое, покачала головой Женя. И дорого. Да ну, пустяки, убеждал я ее, но Женя только смеялась. Я становлюсь экономной, как настоящая парижанка, сказала она. И я не люблю сладкое вино. Я настаивал, и в конце концов мы сторговались на бутылочке шабли. Проворный официант тут же нам ее и принес. Женя сказала, что завтра у нее свободный день и мы могли бы погулять по городу. Здесь недалеко – настоящий средневековый Париж. Сходим на площадь Вогезов. Я рассказал, как долго искал Гревскую площадь, на которой много лет назад рубили головы лиходеям. Пять раз по ней прошел. Сейчас она называется, кажется, Ратушной. Лиходеев давно извели, и на этой площади и посмотреть-то теперь не на что. Потолкался в толпе, когда какие-то благотворители раздавали велосипеды. Не покататься, а насовсем. И всем желающим. Я даже постоял недолго в большой очереди. Представлял, как подкачу к отелю на собственном транспорте. А куда его потом? Так и ушел пешком. Эх, болван, спохватился я, надо было все-таки взять велосипед! Тебе

бы оставил. Странные все-таки тут у вас дела. Даже не социализм, а коммунизм какой-то. Женя смеялась.

И я вдруг с нежностью и горечью подумал о тебе и грустно понял, чего мне не хватало в этом городе. В Париже просто невозможно находиться одному. Его обязательно нужно с кем-то делить. Он только тогда и будет праздником, когда он будет с *тобой*, когда в нем будешь *ты*. А без *тебя* он просто большой город – да, роскошный, величественный, грандиозный, но праздник почему-то истончается уже через неделю. И вступает в права обычная жизнь, и начинаются будни, скудные и постылые дни. И записки печального таксиста Гайто Газданова тому подтверждение. Его «Ночные дороги» – это книга мужественного человека о парижском одиночестве. Черно-белый Париж, как в старом кинематографе. Мглистое пространство, пронизанное светлыми царапинами и марашками.

Ах, чтоб я сдох! Я чуть не закричал, но сдержался и стал смотреть в иллюминатор, в котором над беспроглядной тьмой тревожно вспыхивал бортовой фонарь. Я закрыл глаза и увидел Париж с высоты ангельского полета. Бледно-серое небо куполом закрывало песочного цвета город. Он напоминал детскую игру-лабиринт, где катается по узким канавкам маленький стальной шарик.

Картина была ясной и четкой, потом слегка размылась по краям, потом тихо-тихо стала гаснуть, как бы сжимаемая диафрагмой. И я заснул под ровный гул моторов. И мне приснилось стихотворение, которое я запишу, когда проснусь. Обязательно запишу.

ПРИСНИВШЕЕСЯ СТИХОТВОРЕНИЕ
(вместо эпилога)

«В Париже скучно – едемте в Дербент!» О, как был прав поэт! На Патриарших он вел войну за собственный Верден – и пал в неравной схватке рукопашной. Париж не обжигает пальцы рук. Париж давно уже мифологема. На Сен-Дени – хурма, щербет, урюк. И на Монмартре кофе пьет богема. Когда-то был он пьяным кораблем. Сегодня

же Париж благопристоен. И только мы возвышенно плюем на эту чепуху у барных стоек. В Париже есть «Ротонда» и «Куполь». На Монпарнасе – памятник Бальзаку. Ах, парижане милые, давно ль вы поносили бедного писаку? Как генерал Чарнота в неглиже – лежит клошар. И я б лежал клошаром! Увы, не в силе. И давно уже! Гуляю буржуазно по бульварам Клиши и Батиньоль. Туда-сюда. По площади, где мельница вертится. Прошел Христос. От гнева и стыда Он напряженно вглядывался в лица. Босой. В хламиде. Чистый нелегал. Наверно, он здесь неофициально. Христос вернулся с площади Пигаль – освистанный худым официантом. А я пошел в кафе «Гиппопотам» – здесь антрекоты с кровью жаром пышут. Я славно вечер скоротаю с Пышкой. Уй, почему вы плачете, мадам? И алкогольный розовый туман, конечно, слаще нашего тумана. Ситэ плывет, что твой Левиафан. А Нотр-Дам – скелет Левиафана.

2004–2007

РАССКАЗЫ

НА ЗЛАТОМ ПЕСКЕ СИДЕЛИ...

ТРИ ЧЕРТОВКИ

СНЕГОПАД В ЦЕТИНЬЕ

ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ

ИДИОТЫ

НА ЗЛАТОМ ПЕСКЕ СИДЕЛИ...

По берегу бродили чайки – здоровенные, как деревенские гуси. Песок был серым, море – тусклым. Голый негр одиноко делал китайскую гимнастику, старательно поднимая светлые пятки.

Я глубоко вдохнул еще раз сырой йодистый воздух и пошел в таверну «Красный рак». На маленьких высоких террасках никого не было. Я сел за тяжелый деревянный стол и стал смотреть на море. На серо-зеленой равнине кое-где вспыхивали длинные белые барашки волн и тут же гасли. Слева небосвод постепенно наливался золотым и розовым светом.

Подошел хмурый, как утро, официант. Я, чрезвычайно стесняясь, попросил кофе. Официант монотонно стал перечислять способы приготовления: эспрессо, американа, туркеш, араби... Вот-вот, сказал я, по-арабски! Официант с трудом сдержал зевоту, зачем-то поправил пепельницу и немедленно сгинул.

Полчаса я разглядывал пустое море, плотоядно поглядывал на пачку «Честерфилда» и грустно думал, что, наверно, официанты всех стран похожи друг на друга. Как цыгане.

Мой официант возник, словно Фауст, со сложным прибором, из которого валил крепкий кофейный пар. Потертая чеканная турка с крышечкой была чересчур торжественно водружена на стол, официант сделал несколько танцевальных па вокруг стола, но как-то быстро обмяк и, уже откровенно зевая, поинтересовался, не желаю ли чего еще. Какую-нибудь русскую газету, сказал я и, достав груду истрепанных левов, отсчитал за кофе – и втрое больше за утреннее беспокойство. Официант скользящим шагом кинулся во тьму таверны.

Тягучий кофе буквально вывалился в чашку. Черенки гвоздики плавали, как разбитый такелаж на картине Айвазовского. Запахло медом, корицей, восточным базаром, тысяча и одной ночью – ибо черен был этот напиток, как тысяча и одна ночь. К такому кофе нужен бы кальян, а не тонкая сигарета.

Официант с напряженным лицом принес вчерашнюю «Комсомолку».

В газете писали, что террористы захватили Буденновск. Сопоставив маршрут полета, географию Ставрополья, время, я вдруг понял, что когда бандиты входили в город и началась пальба, наш самолет находился как раз над этим районом на высоте девять с половиной тысяч метров.

Кофе был приторно сладким. Свет с востока разлился во всю ширину, море засверкало, и полоска пляжа загорелась белым золотом. Оказалось, что таверна окружена странными цветущими деревьями.

В полдень жара стала неимоверной, и я спрятался под огромный полосатый зонт. В синем прохладном небе птеродактилями шныряли дельтапланы, таская на своих хвостах обморочных теток и боевитых коротконогих мужичков. Вдоль берега гоняли на гидроциклах бронзовые атлеты в пиратских повязках. Дети копошились в песочке, строя волшебную страну Авалон. Мимо надменно прошла белокожая дива, внеся легкое смятение в ряды страждущих легкой и быстрой любви курортников. Впрочем, пыл их быстро угас под грозными взглядами четырех амбалов, которые сопровождали диву – однако на изрядном расстоянии.

Какой-то папарацци, обмотавшись удавом, предлагал сделать моментальное фото. С удавом, понятно.

Вышла на пляж большая немецкая семья. Две белоголовые фроляйн быстро скинули лифчики и плюхнулись на лежаки, подставив солнцу грудки в куриных пупырышках. Мутер тоже намеревалась растелешиться, но, видно, прикинув, что будет очень сложно пристроить все свое разъезжающееся добро, оставила эту затею. Фатер же вертел головой по сторонам и чему-то таинственно и сладко ухмылялся. Над всеми возвышался зоркий гроссфатер, увалившийся в шезлонг в рубахе и штанах. Он мусолил черную сигару, надвинув соломенную шляпу на лоб, и мрачно наблюдал за белокурыми бестиями.

– Сыграем в шахматы? – Он был похож на врача. Такой же участливый, но цепкий взгляд. – А плечи-то надо маслом смазывать. И первое время больше в тени находиться.

Я узнал его. Мы летели одним самолетом. Он был в клетчатом дорожном костюме и большой клетчатой кеп-

ке. Я его окрестил «инспектором Варнике». Сейчас он был в клетчатых плавках, но сходство со знаменитым детективом исчезло.

Мы расставили фигуры. Мне выпало играть черными. Я сразу представил их дикими и необузданными османами, а белые фигуры противника – ромейскими когортами. Пешечная фаланга сминала мои ряды. Я предпринял глубокий конный рейд в тыл, но попал в засаду и был разбит.

Солнце сдвинулось, сдвинулась тень от зонта, и плечи мои горели.

Мы договорились о матче-реванше на завтра, и я пошел в гостиницу.

В прохладном номере я лежал на узкой кровати и чувствовал, что меня начинает знобить. Ноги немного опухли. Хотелось пить.

Я нечаянно попал в райский сад, подумал я. Придется привыкать к этой непривычной жизни.

Где-то в северных городах еще не сошел снег, а здесь – безмятежность и покой разлиты в пронизанном золотом и синевой воздухе. И диковинные цветущие деревья, которым нет названия, стоят за окном.

2002

ТРИ ЧЕРТОВКИ

Я высадился у Дворца Дожей, сошел на берег и огляделся. Действительно – Лев, Книга. Светило солнце.

На скоростном лифте я поднялся на Колокольню и обнаружил там телефон-автомат. Алло, сказал я, да, все хорошо, приехал. Венеция у меня под ногами.

Я пересек площадь Сан-Марко, нырнул в какую-то расщелину и уже через пять минут впал в обморочное состояние. Я шел с маниакальным упорством по бесконечным узким улочкам – все вперед, вперед, – разглядывал красное и золотое стекло и белое и желтое золото, буквально вываливавшееся из витрин, я шел наугад по средневековому городу – пока не вышел к мосту Риальто. Большой Канал источал йодистый гниловатый запах, у самого берега вода всхлипывала, хлопала, взбивая грязноватую пену. Я постоял у самой воды, потоптался, поплевал цинично, и

сумрачный лабиринт города опять принял меня. И пошел я туда, не зная куда. Через час блуждания в жидком сером свете тело мое стало истончаться и зеленеть. Волшебный клубок где-то потерялся, закатившись, видно, в сточную канаву. И я оттолкнулся от каменного дна и всплыл над красными кирпичными крышами, залитыми золотым светом. Вдохнув теплого воздуха, я огляделся, выбрал направление и обвалился обратно в мрачное ущелье. Закурив, я уверенно пошел к небольшому окраинному парку.

В парке обнаружилась славная картинка: на деревянной скамье – ну точь-в-точь наши бомжи – расположились двое обтрюханных венецианцев с литровой бутылью вина и какой-то нехитрой закуской на картонной тарелочке. Но, в отличие от наших, эти не сжимались под любопытными взглядами, глаза не опускали долу, и жесты их были широки и свободны, и речь – веселой и плавной. Третьим в компании был важный памятник.

– Чего уставился? – заворчал по-итальянски бомж в белом брезентовом плаще.

– Гуляю коло памятничка, – невозмутимо и по-русски отвечал я.

– Русский? – радостно крикнул брезентовый.

– Си! – я чопорно кивнул.

– Хрущев! – важно сказал бомж в лыжной шапочке и сделал приглашающий жест.

Эге, подумал я. Клинический случай. Летаргия. Проспал где-нибудь в котельной. И полет на Луну проспал, и Гуччи, и Версаче, и перестройку, черт! Брезентовый нахмурился. Бронзовый истукан был невозмутим. Я присел на краешек скамейки, и бомжи развернулись ко мне.

– Россия, – мечтательно сказал брезентовый. – Чайковский!

– Верди! – парировал я и заглянул в глаза памятнику.

– Бо-ро-дин! – подскочил брезентовый, и, видно, в душе его грянули половецкие пляски.

– Ви-валь-ди! – заважничал я и поднял указательный палец к небу. И зазвучала дивная музыка, и ангелы плавно сорвались со своих насестов, и я был готов немедленно вознестись.

– Толстой! Достоевский! ПУШКИН! – стал гвоздить

брезентовый. Бомж в лыжной шапочке, ошалело поглядывая на нас, откупоривал бутыль.

– Дант! Петрарка! Тассо! – с достоинством отвечал я. – Колоссаль! – Потом встал, сожалея о несостоявшемся полете, и раскланялся с господами бомжами.

Площадь Сан-Марко была еще влажная – после ушедшей утром воды.

Симфонический оркестр неведомо каким образом возник на площади – только что его не было, только что площадь была полна голубей, и вдруг сизари снялись и переместились ближе к собору, а на их месте появились в черных фраках музыканты, похожие на скворцов и грачей, расставили пюпитры, разложили ноты, дирижер поднял палочку – и оркестр рванул Бетховена! А я сел на диванчик, на котором когда-то за долгими разговорами посиживали лорд Байрон с Иосифом Бродским, и взял чашку кофе. Пятнадцать долларов, сказал официант. Я чуть не крякнул, но форс надо было держать, и я как миленький выложил пятнадцать долларов. Напротив сидела женщина с короткой стрижкой и светло-фиолетовыми глазами. Вон за теми столиками кофе стоит доллар, сказала она по-русски. Не расстраиваетесь, сэкономите на гондольерах – они сегодня бастуют. Ну вот, расстроился я, а как же баркарола?

Но окончательно расстроила меня тюрьма за Дворцом Дожей (за колокольней повернуть налево, если идти с площади), в которой когда-то сидел героический любовник всех времен и народов – Джакомо Казанова. Я живо представил себя томящимся узником, безнадежно влюбленным в жизнь, в карнавал (он всегда находился в его эпицентре, сдержанно кланяясь в одну сторону, яростно разя шпагой в другую и получая со спины тупой удар по затылку) – и обреченного на затхлое медленное существование. На что тратить энергию? Отжиматься, качаться, вести бой с тенью? Отсчитывать ежедневно десять тысяч шагов, как Ленин? Рыть подземный ход, как аббат Фариа? Писать книгу, как Сервантес? Наверное, я бы очень скоро повредился рассудком. Непременно бы сошел с ума. Я отколупнул кусочек окаменевшей замазки на память и через Мост Вздохов отправился бродить по пустым дворцовым залам.

В мрачной огненной пещере стеклодувов я смотрел, как веселый мастер играет радужным пузырем. Он как будто выдувал через трубку свою раскаленную душу, которая постепенно принимала очертания вздыбившегося коня. Он был прекрасен – этот застывавший в буйстве конь. Стеклодув посмотрел на меня и подмигнул. Конь остывал, меняя цвет от оранжевого – к малиновому, потом синеватому, серому… И вдруг с легким хрустом лопнул, распался на мелкие кусочки – может, не выдержав температурного перепада, а может быть, остекленевшая душа мастера просто не вынесла воплощенного дикого напряжения.

К вечеру и моя душа разрывалась от переполнявших ее чувств. После одинокого ужина в дешевом ресторанчике (салат, жареная рыба, безалкогольное голландское пиво) – я шел пустынной улицей, ведущей к отелю, напевал: «Казанова, Казанова – зови меня так…» – и в голове моей рисовались самые невероятные любовные приключения, за которые я был готов заплатить самую высокую цену. Вплоть до заключения в сырой каменный мешок.

Я прочитал название улицы на ярко освещенной табличке и ухмыльнулся – я шел по улице Данте. Хотите верьте – хотите нет! Эта дорога приведет меня в ад, подумал я. И почему-то развеселился еще больше. Идиот.

Внезапно меня пробил холодный пот – из угольной черноты переулка на меня смотрели три пары глаз. Три совершенно неподвижные пары глаз висели в абсолютной темноте и наблюдали за мной. Вдруг темень шевельнулась, материализовалась, и сгустки этой живой тьмы выплеснулись на желтую от электрического света улицу, и тьма объяла меня до души моей. Три негритянки, три демона в женском обличье, в черных кожаных одеждах – обступили меня. Были они черны, как хромовые сапоги щеголя-прапорщика, надраенные рьяным денщиком. И непонятно было, где кончается их развороченная выпирающей плотью дерзкая кожаная одежда и где начинается их слегка влажная, пропитанная похотью и желанием кожа. Два демона подхватили меня под руки, третий, жарко дыша, стал подступать, заглядывая мне в глаза.

Она была фантастически красива. Невероятно хоро-

ша. Как может быть хороша настоящая дьяволица. Пропал, мелькнуло в моей бедной голове. Камерун? Сенегал? Конго? Буркина-Фасо? И звучало это – как древние заклинания.

«Дамо?» – низким голосом поинтересовалась дьяволица, и я застыл, будто пораженный черной молнией. «Дамо?» – настаивала чертовка, наступая на меня, и я с ужасом чувствовал, как повышается во мне уровень тестостерона. «Руссо туристо», – жалко выдавил я из себя и попытался улыбнуться, приглашая оценить их качество юмора. «Облико морален. Цигель ноу. Ай-лю-лю – потом!» – блеял я, осознавая бесполезность своей находчивости – вряд ли они смотрели бессмертную комедию. И вдруг тьма опала, схлынула, и я оказался один под горящим фонарем. Черные ведьмы напали на худощавого и в общем-то траченного временем мужичка – типичного немца, надо сказать, типичного козлоногого немчуру – и, облепив его своими телами, как гудроном, поволокли бедолагу куда-то в ночь, в преисподнюю, вход в которую, очевидно, находился за первым углом. Немец был чрезвычайно доволен, блестел очками, хватал моих (моих!) смоляных чучелок за открытые места и, наконец, намертво приклеившись к ним, сгинул. И если у него была душа, то пропала она у него в сей же момент.

А я пошел в отель и, сидя в номере, долго с тоской вглядывался в цветную венецианскую ночь за окном, и понимал, что что-то в этой жизни упущено мною безвозвратно, что, может быть, душу я свою бессмертную спас, но что вряд ли у меня еще выдастся возможность сгореть в черном испепеляющем огне страсти, совершить героический поступок во имя африканской любви – да еще помноженный на три.

2002

СНЕГОПАД В ЦЕТИНЬЕ

Окно в келье мерцало белым компьютерным светом. За холодным стеклом, как в мониторе, текли бесшумные пряди снега. Впечатление было настолько сильным, что я проснулся окончательно.

Други мои спали, погребенные под ворохом одеял. В келье было холодно, и вчера ночью, когда мы располагались на ночлег, Афиноген стал жаловаться, что сам-то он не боится замерзнуть, но вот его бедная голова… Он растерянно похлопал себя по лысине маленькой ладошкой. На что Егоров только усмехнулся, растопырил свои усы, прочно укрепил на голове генеральскую папаху и энергично завалился в постель и, как истинно великий полководец, – тут же бесшумно заснул. Афиноген немножко поохал, потом нашел какую-то лыжную шапочку и тоже умиротворился.

Монастырский дворик был завален снегом. На высокое каменное крыльцо вышел молодой монах, задрав черную бороду, посмотрел в небеса и как-то печально ушел обратно. Мобильный телефон показывал, что сеть пропала. Наверное, экранировали толстые монастырские стены.

Снег был большой, медленный. Исчезли в белой мгле окрестные горы, исчез город, за снежной крупноячеистой пеленой еле угадывались черные сосны.

Я оделся и побрел в монастырский умывальник. Вода была ледяная и бежала тонюсенькой струйкой. Страшно захотелось кофию.

Выйдя на крыльцо, я понял, что пересечь дворик нет никакой возможности: снегу навалило уже около полуметра. В углу стояли широкие железные лопаты и большая метла. Я выбрал себе лопату и стал разгребать дорожку. Раза два на крыльцо выскакивал тот самый молодой монах и что-то весело мне кричал по-сербски. Я в ответ только гугукал и агакал. Хлопья щекотали лицо. Через полчаса я добрался до ворот и оглядел плоды трудов своих. Труды оказались напрасными: траншея, которую я, как бульдозер, пробил в сугробах, исчезала на глазах. Назад дороги не было. Я навалился на дверь, сдвинул сугроб и вышел из монастыря.

Вчерашние переговоры с митрополитом ни к чему не привели. За ужином владыка был осторожен в обещаниях, говорил, что дело непростое, что не надо торопиться, что все должно решиться само собой. Егоров говорил о государственном значении акции. Владыка кивал головой, трогал бороду, поддакивал. Он хорошо говорил по-

русски. Пили монастырскую ракию, закусывали копченой форелью и квашеной капустой. Владыка рассказывал о своем детстве. Он был из крестьян, родился в большой семье, и мать сама отвела его в горный монастырь Морача. Его недавно закончили восстанавливать. Нет, не после бомбежки. После коммунистов. Черногорию натовцы тоже бомбили, но не так сильно, как Сербию.

Я шел наугад, утопая по колено в снегу. Как большой пароход из тумана, из белой пелены выдвинулась бильярдная Негоша. Я свернул направо и пошел вдоль стены.

Ботинки промокли насквозь, но я терпеливо брел по пустым улочкам городка. Иногда из снегопада слышались голоса.

Выйдя на маленькую площадь, я огляделся и обнаружил огромное окно, за которым застыли белые лица, а над окном вывеску «Локанда». Нужно было совершить какое-то усилие, чтобы пересечь площадь, пробиваясь сквозь плотные строчки снега, текущие сверху, сквозь сгущенный воздух – под бесстрастным наблюдением из глубины окна. У самой двери я почувствовал, что напряжение воздуха исчезает, пространство поползло, как ветхий тюль, дверь на пружине поддалась, звякнул колокольчик – и улица с негромким хлопком легко отпустила меня.

Пласты снега медленно сползали с плеч. Я стоял как соляной столб, но никто даже не повернул головы в мою сторону. Только молодой смуглый буфетчик дружелюбно улыбнулся и махнул полотенцем. По телевизору без звука показывали теннисный турнир. По стенам висели афиши, на которых тузом надменно стоял Аристид Бриан и пиковой дамой подмигивала Жанна Авриль. За низкими столиками в плетеных креслах сидели одни мужчины. Все они разрозненно сидели, развернувшись к окну, не обращая внимания ни на теннис, ни друг на друга и вовсе не замечая меня. Все они пристально смотрели в окно.

Я прошел к стойке и стал взбираться на высокий крутящийся стульчик. Буфетчик улыбался. Кафу, сказал я, утвердившись, наконец, на стульчике. Буфетчик сложил брови домиком и что-то быстро спросил по-сербски. Потом по-английски. Я пожал плечами. Кафу. Црну кафу и киселу воду.

Я выложил на стойку сотовый телефон. Связи не было. Снег за окном валил и валил. В телевизоре беззвучно метались теннисисты. Люди в кафане смотрели в окно.

Еще вчера в Цетинье была осень. Мы приехали из Подгорицы ночью и тихо радовались ясной погоде после московской морозной слякоти. Митрополит оказался настоящим дипломатом. Он показал нам десницу Крестителя, за ужином рассказал чудесную историю, как апостол Лука привез ее из Самарии в Антиохию, как ее захватили турки, а потом подарили крестоносцам, а те вывезли святыню на Мальту. В тридцать втором году берлинский епископ Тихон передал ее королю Александру Карагеоргиевичу, а во время оккупации Югославии патриарх Гавриил Дожич увез десницу в Белый Острог, где ее в тайных убежищах хранили монахи, пока коммунисты не нашли ее и не сокрыли в Цетинском историческом музее. Не так давно мощи вернули церкви, и на их обретение в Цетинскую обитель приезжал сам Алексий II. Потом митрополит вспоминал о своем житье-бытье на Афоне, много шутил. Рассказывал, как восстанавливает древнюю Златицу. И если бы у него были сейчас деньги – немного, тысяч десять долларов – то дела пошли бы гораздо быстрее.

На площадь выехал большой черный автомобиль. Он медленно пересекал площадь, раздвигая бампером снег. По бокам широко расходились буруны снега. Автомобиль черным призраком проехал мимо окна. Через минуту звякнул колокольчик, в кафану вошел, громко топая, водитель, бросил на ближайший столик пачку газет. В его кудрях быстро таяли крупные снежинки. Общество неспешно приветствовало его, но в газетах никто рыться не стал, все, быстро угомонившись, опять стали смотреть в окно. Водитель протопал к стойке и тихо заговорил с буфетчиком.

Из аптеки вышел старик с метлой и стал разметать дорожку. Справа в экран окна вплыла высокая женщина в красном пальто. Она тяжело несла зонт с белым мохнатым куполом, как у Робинзона Крузо. Старик замер, поклонился. Женщина остановилась, рука ее дрогнула – и снег обвалился. Зонт оказался тоже красным.

Я посмотрел на дисплей телефона. Сети не было.

Вчерашний ужин закончился скандалом. Схимонах

Кирилл и генерал Лыжнев, непонятно каким образом попавшие в нашу миссию, сначала сурово гвоздили себя крестными знамениями перед мощами, потом в трапезной, хватанув сливовой ракии, стали ни с того ни с сего поносить церковных иерархов, дескать, истины не ищут, живут не по заповедям и больше животу своему служат. Намекали, что десница святого Иоанна по праву принадлежит России, что мальтийские рыцари добровольно ее передали императору Павлу, а исчезновение ее из России после октябрьской революции – есть заговор, а не божественный промысел, благодаря коему десница Предтечи вообще уцелела. Митрополит слушал внимательно, трогал бороду своими сильными крестьянскими руками, рассказывал о подвиге Василия Острожского, и скандала за столом не получилось. Афиноген в своем черном сюртуке от Версаче, остро поглядывая на Кирилла и Лыжнева, стоя произнес длинный тост, в котором были и дружба между народами, и сложная геополитическая обстановка, и приближающиеся выборы президента, и наше благородное дело, которое, он уверен, приведет всех к согласию. Он был строг, изящен в жестах и в своем черном сюртуке напоминал скорее представителя Ватикана, а не функционера крупнейшей российской партии. Спич был блестящим, но когда Афиноген произнес: «Монтенегро», сидящий рядом со мной монах тихонько поправил: «Черногория».

Егоров шепнул мне, что чувствует себя шахматистом, которому предложили сыграть партию, и он, разыгрывая ферзевый гамбит, вдруг обнаружил, что с ним играют в «Чапаева». А генерал, добавил он, похож на каптера-прапорщика, пересчитывающего портянки. После ужина Егоров показал себя настоящим бойцом: в монастырской галерее он крепкой рукой отодвинул суетящегося Кирилла и, растопырив усы, сказал, что если генерал будет продолжать в том же духе, то вылетит из миссии в два счета. И поглубже надвинул свою папаху. И видно, его ведомство было гораздо серьезней, потому что генерал Лыжнев стушевался, по-военному развернулся и быстро ушел, осеняя себя по дороге крестом. Причем делал это порывисто и твердо, вбивая пальцы, сложенные в щепоть, в свои вирту-

альные погоны с такой силой, как если бы это были эполеты, на которых вместо бахромы висели маленькие черти. Кирилл попытался возразить, но Егоров навис над ним и только и сказал тихо: «Не вякай!». И Кирилл, мотнув рясой, канул черной кляксой в темноте галереи.

Скандал гасил Зоран из белградского бюро «Балканрос». Сначала он долго разговаривал с митрополитом, потом с генералом в его келье на втором этаже, потом поднялся к нам. Он качал головой, цокал языком, сказал, что ему трудно контролировать ситуацию – митрополит не случайно осторожничает; сказал, чтобы Егоров был более сдержан, а то труды многих месяцев пойдут… Тут он защелкал пальцами, как бы это сказать… Псу под хвост, мрачно сказал Афиноген. Да, очень хорошо сказано, обрадовался Зоран. И еще он сказал, что когда встречал нас в белградском аэропорту, то видел там Грофа. Гроф работает на итальянцев. Зоран думает, что и на мальтийцев. Орден просто так это дело не оставит. Они давно ведут переговоры о возврате не только руки святого Йована, но и креста, и Филермской иконы. Они предлагают инвестиции Черногории. Дело миллионное. Может быть, миллиардное.

Буфетчик принес большую чашку кофе и стакан холодной воды. Он что-то стал мне рассказывать, вглядываясь в мое лицо. Водитель повернул голову и сказал, подбирая слова, что дорогу в горах завалило снегом. Из Бара и Подгорицы идет техника. Будут чистить. Он пожал плечами и ткнул большим пальцем в сторону окна. За окном падал снег.

Я перегрузил телефон, долго смотрел на зеленый дисплей, пока не появилась надпись НЕТ СЕТИ.

Вася, наверное, уже встала. Пошлепала босыми ножками по холодному полу на кухню. Нашла спящую Муську, потащила ее к себе, зарылась в теплую еще постель, уложив рядом кошку. Та, очумевшая спросонья, не сопротивляется. Лимонное дерево у окна иногда вздрагивает от сквозняка, и легко колеблется огонек лампадки на комоде. За лаковой поверхностью пианино, в черной глубине светится зимнее окно, ходят тени от листьев. Мерцает желтый огонь подсолнуха на картине. Вася всматривается в картину, прижи-

мается к кошке и скользит взглядом по тропинке, ведущей через огород к потемневшей от времени избе. Там живут ее дедушка и бабушка. Бабушка сильно болеет и уже год лежит в постели. В последний раз, когда они с мамой ездили в Каменку, бабушка даже не узнала ее. Все спрашивала, как ее зовут. Сейчас бабушка, наверное, спит. А дедушка уже встал и шурудит на кухне. Когда папа вернется, они все вместе поедут проведать бабушку.

Подошел буфетчик, вопросительно поднял брови. Сколько с меня, спросил я. Он убрал пустую чашку и что-то сказал. Я ничего не понял и потер воздух пальцами. Он опять что-то сказал. Я достал из кармана мелочь и протянул ему. Он осторожно стал выбирать на ладони монеты, оставляя без внимания крупные.

На столике лежали влажные газеты. На первой полосе в «PUBLIKE» были напечатаны фотография митрополита и жирный тревожный заголовок.

Старик из аптеки продолжал мести дорожку. Метла моталась как автомобильный дворник. Пробежали школьники с желтыми и синими ранцами. Было тихо. Изображение улицы было нечетким. По большому экрану окна сверху вниз текли белые матричные иероглифы, и афиши на стенах кафаны, начертанные твердой рукой Лотрека, были исполнены абсолютной реальности.

2004

ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ

Я тебе расскажу, как однажды чуть не подрался с Харрисоном Фордом, и ты можешь верить мне, можешь не верить, но только все равно это чистая правда. Ну да, с тем самым. Клянусь! Смотри сюда. Видишь, шляпа. Никого в ней не напоминаю? Балда! Ты что, не смотрел «Последний крестовый поход»? Ну, что? Не похож? Вот все думают, что настоящая, в которой он снимался, – сейчас в Смитсоновском институте хранится. Смитсонъянском, как говорит старый шанхаец профессор Зайцев. Так я тебе открою страшную тайну, только ты никому не говори. Настоящая – вот эта. И он мне сам ее подарил. Кто-кто… Харрисон Форд! А которая экспонат – стоит

сорок долларов, и такую же точно можно купить в любой лавке в парке «Эм-Джи-Эм». Не веришь? Крэкс-пэкс-фэкс! Вот здесь, посмотри. Что это? Читать умеешь? Хорошо – переведу. Харрисон Форд – настоящему уральскому парню. Мы бухали с ним три дня! Ты не поверишь, он даже не знает, где Урал!

Значица, сижу я в нижнем баре в отеле «Кларион Плаза», слушаю музыку, очумело пью безалкогольное пиво и никак не могу начать с девушкой разговор. Ей-богу, я был мгновенно поражен в самое сердце! Серые глаза в поллица, ресницы – во! И кожа такая бледная-бледная – аж прозрачная. Ну и все такое. «У ней такая маленькая грудь и губы алые, как маки...» Случись это где-нибудь в кафе на улице братьев Вайнеров, подскребся бы культурно, трали-вали, мне до боли знакомо ваше лицо, мы с вами не встречались на презентации журнала «Harpy»? Ну и все такое. А тут – сказочный город Орландо, и я посередь – как Иван-дурак, ввалившийся в гости к Микки-Маусу.

Чувствую, робость обуяла меня, что, в общем-то, мне свойственно, когда я в завязке. Нет, когда я чуть-чуть поддатый, то проблем никаких, а если изрядно – то становлюсь дерзким, как Бандерас. А тут пью жидкое пиво, слушаю первоклассную музыку в стиле рэгги – и робею, как восьмиклассник. И вспоминаю свой отрицательный опыт. Однажды уже напоролся. В семьдесят первом в Набережных Челнах. Слушай сюда.

Я тогда на барабанах стучал в биг-битовом составе. Что? Ну, чего только не случалось в моей большой жизни. Я и в армии, между прочим, служил. И еще мало ли кем был. Слава Курицын уверяет всех, что я даже таксидермистом работал. Это которые чучела делают. Врет, конечно. Одно слово – постмодернист. В общем, играли мы в тот вечер на танцах в рабочей общаге, где бит-группа «Фортуна» была, понятно, в центре внимания. А в центре «Фортуны» сидел за барабанами я. А барабанная установка «Трова» была по тем временам невиданным волшебным инструментом – вся в сверкающем пластике, в хроме, полный набор барабанов и еще четыре бонга, кованые тарелки

и для «шипу» – на одной из них цепочка. И вот я сижу за «Тровой» – в центре внимания – и даю дрозда. И мои космы, травленые перекисью водорода, стоят дыбом. И вижу я сквозь зеленые очки, что девушки мной чрезвычайно интересуются. И я натурально вхожу в раж и машу руками во все стороны, и палочки так и летают. За барабанами кураж поймать – первое дело. И многие девчонки уже бросили своих кавалеров и встали возле самой сцены, и уже влюблено смотрят на меня. Градус в зале растет, уже опера из комсомольского отряда в дверях замаячили, из публики кричат: «"Шизгару" давай!», и мы плавно заводим «Шизгару». И тут в зал вплывает барышня. Натурально вплывает, как лебедь серая! Ведут ее под руки, как королеву – и кто? Вечные наши конкуренты – ансамбль «Наяда»! Плавно так, наискось, через весь зальчик: по правую руку – Раиска Набиуллин, а по левую – ударник Вовчик Попрыгунчик. И тут я пропал! Совсем пропал! Мне как будто холодом грудь объяло. Сбиваться стал, палки ронять. Саня Ялунин перерыв объявил, но не подошел, а только сурово так посмотрел на меня, а у меня уже все конечности холодные. Пошел он с нашим басистом, с Валерой Башиным, в уголочке коньячком заправиться, стоят они, киряют, на меня сердятся, а тут Вовчик надменный подходит, барабанами интересуется. У нас было не принято с чужими играть – никакого сэйшена, – только со мной что-то уже происходит совсем странное, и я Сане говорю, пусть, дескать, Вовчик сыграет шейк, он какой-то новый ритм знает, с синкопированной колотушкой, но делиться не хочет, пусть он постучит, а я сниму. Саня хлопнул еще рюмку коньяку самтрестовского и рукой махнул, обнял Галку свою нежно, пусть, говорит, тогда Раиска «музиму» берет. У меня сердце ходуном, пробираюсь среди ласковых и нежных девушек к Раиске, что королеву сероглазую пасет, Раис, говорю, Саня предлагает тебе на соляге сыграть. Раиса уговаривать не пришлось, он хоть и на басухе в «Наяде» лабал, что он – дурак, что ли, новую музимовскую доску не попробовать? Короче, завели они шейк минут на пятнадцать, а я к сероглазой робко подхожу, и она вдруг сама ко мне обращается, закурить, говорит, есть? Есть, говорю, обалдел совсем, и достаю из кармана мятую пачку

«Северу». Вышли с ней на крылечко, она берет папироску, прикуривает и вдруг объявляет весело: «Кто покурит “Северок” – не подхватит трипперок!» Я медленно и глубоко затягиваюсь, а сероглазка в это время начинает интересоваться, что сегодня здесь, гля, за шалман, в натуре, приткнуться, гля, негде, приличной девушке. Меня как будто кувалдой по башке кудлатой тихонько тюк! Стою телком и сам не заметил, как отправились мы с ней в таинственное магическое путешествие по болотам российской словесности. И это было незабываемое путешествие! И никаких тебе жердочек! И никаких мостков! По колено, по пояс, по самое горло – по хлябям кисельным! О, как утробно чавкала и булькала трясина! О великий и могучий! Какие радужные метановые пузыри вздувались и с треском лопались, обдавая сладкой вонью мое воспаленное лицо! В общем, докурил я тихонько, пошел в зальчик – ей-богу, совсем мертвый! – и полбутылки коньяку намахнул разом в уголочке. И видно, такая рожа у меня была, что Саня с Валерой на меня даже не обиделись. А Вовчик, гад, мне тогда своей синкопой большой барабан порвал. Ну, я почему так долго рассказываю, потому что объяснить хочу, что робость перед девушками иногда имею. Когда трезвый. Боюсь напороться.

Как я попал в этот игрушечный Орландо, как-нибудь потом расскажу. Но скажу, что все там было в кайф. Все, как в кино, понял. «Студия “Юниверсал” представляет…»

Вот я сижу, пью свое пиво, никому не мешаю, и решимость во мне растет. И вот я уже подбираюсь весь, как лев перед решительным прыжком. И тут меня трогают нежно за плечо, и слышу я задушевное: «Олд феллоу!» Оглядываюсь и вижу огромадного мужика – натурального секьюрити. Олд феллоу, говорит мне очень деликатно мужик, мистер Форд очень недоволен, что вы клеитесь к этой девушке. Делает артистическую паузу и со значением повторяет: мистер Форд! А мне хоть мистер Олдсмобил, олд феллоу! – говорю я ему довольно резко. А сам похолодел весь. Как Пушкин перед дуэлью. Ладно, думаю, хоть Форд, а не какой-нибудь там Ниссан… Набегут ниндзи с мечами и сюрикэнами. И будет месилово, как у Таранти-

но. Секьюрити усмехается нагло, по-американски и туманно смотрит куда-то в темень бара. Знаем мы эти штучки, думаю я, но глаза скосил. И что вы думаете, господа мои хорошие? Вижу без всякой диоптрии: в самой глубине бара за низким столиком сидит, что вы думаете, Джек Райан собственной персоной! И кривит губы, и поднимает указательный палец вверх. А потом фирменно поводит им эдак. Типа, не смей даже думать об этом. Он, похоже, изрядно поддал и вообразил себя Индианой Джонсом. И пальцем, понимаешь, так поводит! Типа унижает. Ну, думаю, это уже слишком. Здесь тебе не Голливуд. Хотя можно и устроить. «Метро Голдвин Майер» представляет, говорю я себе гунявым голосом, соскальзываю с крутящегося стульчика и решительно двигаюсь к нему. И сэр Джек медленно встает, и я понимаю, что он на три дюйма выше меня. И за спиной еще этот мужик огромный напрягся. Я притормаживаю, и лапа секьюрити зависает над моим плечом. Я чопорно киваю, как английский джентльмен, и щелкаю каблуками, как венгерский гусар. Если сэру Джеку угодно – я к его услугам. Сэр Джек отреагировал неадекватно. Он вдруг сморщился и заржал. Я, честно говорю, растерялся. Что такое, думаю, может, у меня ширинка расстегнута? Одергиваюсь, тихонько оглядываюсь и вдруг что я вижу, господа мои хорошие? Барышня с серыми глазами обнимается с шикарным латиносом в костюме цвета сливочного мороженого. Что будешь пить? – спрашивает меня мистер Форд. Скотч? Только водку, мрачно отвечаю я. А ты парень не робкий, говорит мистер Форд и наливает по второй. А у нас на Урале все такие, небрежно говорю я и закуриваю «Винстон».

2005

ИДИОТЫ

Они были похожи на идиотов Ларса фон Триера, с той лишь разницей, что датские идиоты прикидывались таковыми, а эти были настоящими.

Идиоты приехали из Кельна понежиться на сентябрьском болгарском солнышке. Было их семь человек, все они были женского пола, сопровождал их сорокалетний

бородач, похожий уже на самого Ларса фон Триера. Это было что-то вроде каникул для идиотов и отпуска для фон Триера. Профессор Умляут вызвал его к себе и после тихой беседы, которая проходила без свидетелей, герр Ларс пошел паковать чемодан, а старшая сестра Герда приказала медперсоналу собирать идиотов.

Магда была самой младшей в группе и самой веселой. Если остальные идиоты могли себе позволить потанцевать в ресторане только вечером, когда черноусый человек-оркестр бесстрастно выпевал немецкие, русские, цыганские слова любви в железный сетчатый микрофон, касаясь его мягкими усами, – то Магда могла пуститься в пляс и за завтраком, скользя с чашкой кофе между столами и пугая порывистыми па грустных русских туристов и чопорных болгарских официантов. Русские почему-то всегда утром были грустными, ели вяло, больше молчали. Это к вечеру они странным образом веселели, заказывали себе за ужином коньяк, слушали, как человек-оркестр, шурша усами в микрофоне, страдает то в Таганке, то в Бутырке, то во Владимирском централе. Но хитом в этом сезоне была Мурка. Во всех ресторанах Албены пели Мурку, объявляя ее русской народной песней. Ближе к полночи русские шли к бассейну, где бар работал до трех ночи, и там, хыкая, пили текилу и пели на всю округу «Три танкиста», «Потому что мы пилоты», «Дальний поход», а потом уже, после трех, – «Кручину», «Разлуку» и «Черный ворон».

Иван в официантах «Бултрака» ходил первый сезон. Жил он в деревне Оброчиште – если спуститься из ресторана к бензоколонке, то по автостраде пешком минут пять. После школы он два года работал на огороде, ждал, что его заберут в армию, но в армию его не брали, хотя был он смышлен и крепок – пусть по-деревенски и несколько неуклюж. Работая официантом, он быстро потерял свою неуклюжесть, походка и жесты его стали плавными, улыбка не сходила с его румяного лица, хотя глаза оставались настороженными и цепкими. Вот эта деревенская цепкость и позволила ему остаться в официантах. Он был молчалив, исполнителен, старательно копировал старших своих товарищей, и старшие товарищи были им довольны. А главное – им был доволен Любо-

мир. Некоторые товарищи Ивана мечтали устроиться в казино «Албена» или в отель «Гергана», и уж верхом желаний было попасть в «Добруджу», где на пятнадцатом этаже в баре стоял белый рояль, где публика была богата и щедра на чаевые. Но тамошние управляющие все подгребали под себя. А здесь – вольница.

Управляющий Любомир каждый год устраивал что-то вроде конкурса, набирая в официанты парней из соседних деревень. И желающих было много. За сто шестьдесят левов – при кухне каждый захочет быть. Но Иван из Оброчиште тяготился такой работой.

Сначала было весело и сытно. Но как-то Иван не смог отказать одной фрау (почему-то Любомир называл ее Брунгильдой, хотя звали ее Ангеликой) – и за три дня (вернее, за три ночи) честно заработал сто евромонет и положил их в жестяную черную коробку из-под индийского чая, на которой был нарисован чайный клиппер, идущий на всех парусах. Иван тогда вдруг почувствовал себя вот таким же стройным парусником, стремительно скользящим по синему океану. Какие-то неслыханные дымчатые дали открылись его внутреннему взору, какие-то жемчужные острова и огромные города, омытые перламутровыми дождями.

Заниматься любовью с тучной фрау было необременительно – Иван был сильный, выносливый, – но особого удовольствия от этой гимнастики он не получил.

Потом была бледная, как грибок на тонкой ножке, фроляйн, но она, к удивлению Ивана, ничего не заплатила. Наоборот, Ивану пришлось как-то рассчитаться за нее в буфете, когда она ахнула, будучи уже совсем навеселе, полстакана болгарского бренди. Ну, после этого, собственно, и произошла у них любовь.

А потом появилась Ута. Ей можно было дать и тридцать лет, и сорок, и все пятьдесят. Худая, порывистая – она сразу положила глаз на Ивана, и в первый же вечер затащила его к себе в коттедж. За неделю Иван осунулся, но Ута платила хорошо, и он старался быть на высоте. И в коробочке из-под индийского чая уже скопилась пухлая пачка евробанкнот. И паруса клиппера раздувались белыми облаками, и белым облаком раздувалась душа Ивана.

Из всех Ивановых немок Ута была самая страстная, но страсть эта почему-то утомляла Ивана.

Ута сидела в ресторане до самой ночи, ковыряла во фруктовом салатике, пила белое немецкое вино и смотрела на него круглыми внимательными глазами. Она ждала, когда Иван унесет на кухню грязную посуду, переменит скатерти, смахнет со стульев невидимую пыль радужной метелкой, чтобы потом, мельком увидев его уже одевающегося во внезапно открывшемся дверном проеме, выйти в сырую холодную ночь и медленно пойти в свой коттедж, дожидаясь с замиранием сердца, когда он молча догонит ее и ласково обнимет за плечи.

Старшие товарищи потешались над Иваном, подмигивали ему, странно смолкали, когда он входил на кухню, иногда показывали на пальцах уж совсем что-то похабное. А ровесники завидовали. Сами они готовы были совершать подобные подвиги хоть ежедневно, но их никто не приглашал в коттеджи, никто не поедал их глазами и никто им не был готов за такие пустяки платить полновесной европейской валютой. Иван только усмехался и расправлял плечи, и приглаживал непокорные кудри.

Другие немки смотрели на Уту неприязненно. Ивану сочувствовали.

Русские же тетки смотрели на эту историю как на курортный роман и переживали от души, как будто смотрели по телевизору мексиканский сериал.

Лишь идиоты вовсе не замечали всего этого – они были увлечены новой жизнью. Им было хорошо здесь, несмотря на то, что погода испортилась, и часто моросил дождь, и солнце было холодным. Они рано утром спускались вниз на завтрак и завтракали часа полтора, набирая в большие белые тарелки всего понемногу: жареные сардельки, нежный омлет, мясистые помидоры, брынзу… Им очень нравилось печь тосты. Хлебец исчезал в глубине аппаратика и через минуту с легким щелчком выскакивал – уже румяный и горячий. А как хорош был этот хлебец со сливовым конфитюром! А кофе из хромированной машинки был такой вкусный, что они выпивали по две, а то и по три чашки, смешивая его обильно со сливками.

Потом они шли на пляж, где играли в большой цвет-

ной мяч. Сопровождающий идиотов герр Ларс, как и подобает режиссеру, умело вел группу. Безмятежные лица их отличались одно от другого только дряблостью кожи, но Магда выделялась своей молодостью и юмором. Она любила изображать то кролика, то кошку.

Иван иногда ездил на городской пляж, но не купался, а просто прогуливался вдоль моря, поглядывая на немецких туристов. Его фигура, свежая загорелая кожа, его легкие скользящие движения приковывали внимание пляжной публики, которая как будто вывалилась из порносайта категории oldersex.

Вечером в ресторане было шумно. Большая компания русских туристов праздновала день рожденья одного из своих. Идиоты сидели в уголке и, поедая мамалыгу с тонкими колбасками, наблюдали, как вносили и вносили подарки виновнику торжества, который сидел в белой капитанской форме за столом. Сначала ему поднесли морской руль с вделанным в него барометром. Потом принесли какой-то желтый блестящий цилиндрик. Капитан повертел его в руках – оп-па! – и цилиндрик раздвинулся в длинную трубу. Капитан поднес его к левому глазу и зажмурил правый. Навел в угол. Все замерли, как перед фотообъективом. Это было неприятно. Герр Ларс объяснил, что это подзорная труба и в нее наблюдают море с капитанского мостика. Потом принесли ножик в ножнах, который тут же был обнажен капитаном. Ножик был совсем не страшный – он был очень блестящий, очень красивый. Капитан повесил его на пояс и стал совсем молодцом. Потом поднесли портрет, где капитан был изображен уже и не капитаном вовсе, а каким-то разбойником в красном кафтане с кривой саблей в здоровенном кулаке. Сходство было поразительным – особенно похожи были глаза, но кисти рук у оригинала были тоньше.

Говорили тосты, много пили, ели того больше. Официанты сбились с ног. Иван вдруг разозлился на Уту, которая сидела в своем углу и вызывающе смотрела на него. Это опять дало повод для насмешек старших товарищей и завистливых взглядов младших. Ему вдруг захотелось выкинуть какую-нибудь штуку.

Длинный Цветан из Рогачева вынес из кухни дымя-

щийся глинтвейн. Он осторожно шел среди столиков с огромным расписным чаном, и от напряжения лицо его стало похожим на лицо палача, несущего в камеру смертников чашу с цикутой. Чтоб ты растянулся, подумал Иван. Чтоб ты брякнулся и раскокал чан. Вот уже будет тебе от Любомира! Иван усмехнулся. Длинный Цветан, однако, донес глинтвейн и совершенно измочаленный вернулся на кухню. Как если бы жертва, которую он пытался уморить цикутой, никак не хотела терять сознание. Отчего у палача разыгралась изжога.

Иван взял сахарницу и насыпал в нее соли. Соль была очень белая и совсем не отличалась от сахара. Потом он бросил в чашки пакетики с альпийской смесью и залил их кипятком. Поставил все на поднос и небрежно сказал Длинному Цветану, отнеси немцам, вон тем, идиотам. Длинный Цветан работал всего три дня, и им помыкали все кому не лень. Считалось, что так он быстрее научится работать. Мосластый и нескладный Цветан понес чай с величайшей осторожностью, отчего физиономия его стала совсем ломброзианской. Иван немного забеспокоился. Хоть бы ты треснулся о колонну, подумал он. Хоть бы ты треснулся и опрокинул поднос. И все было бы шито-крыто. Но потом махнул рукой и встал возле человека-оркестра, который завел новый русский хит. *Понимаешь*, бесстрастно пел человек-оркестр, *понимаешь*, а Иван смотрел в угол, где копошились идиоты. Глаза его смеялись, но лицо было безмятежным. Он видел, как Магда насыпала себе сахару из сахарницы в чашку, как она помешивала ложечкой альпийский чай, как она отпила глоток и сморщилась. Потом опять отхлебнула, опять сморщилась и вдруг заплакала.

Иван смеялся, но лицо его оставалось бесстрастным. Магда плакала, и все ее принялись утешать. Герр Ларс старался больше всех, но Магда была неутешна. Майн либер, шептала она, майн…

Появился Любомир. Подошел к столику, быстро переговорил с предводителем идиотов, которые были напуганы и тихо сидели, уткнув глаза в тарелки. Взял чашку с чаем, понюхал, отхлебнул и яростно сплюнул. Улыбнувшись Ларсу фон Триеру и потрепав по голове Магду,

он решительно пошел на кухню. Кто, коротко спросил он. Цветан, коротко ответили ему. Любомир подошел к Длинному Цветану и отвесил ему здоровенную оплеуху. За что, заверещал Длинный Цветан, это не я... И тут он встретился глазами с Иваном и замолчал.

К Магде подрулил какой-то русский, встал по стойке «смирно» и весьма учтиво склонил перед ней голову. Раз-зршите пргласить ва-ас на танец, сказал он и выполнил команду «вольно». Вас? Магда растерянно закрутила головой. Йес, мэм, лихо откозырял русский. Вас, мэм! Вас? Магда крутила головой, блестя глазами. Нихт ферштейн! Поручик грустно вздохнул и повесил голову на грудь. Тогда я пойду пописаю, сообщил он Ларсу фон Триеру. Можно? Гут, важно кивнул герр Ларс.

Иван нашел Длинного Цветана на хоздворе, где тот угрюмо сидел в дровах, приготовленных для барбекю. Не ной, сказал Иван. Ну пошутил, подумаешь. Видел бы ты ее рожу! Ладно, вот тебе, бери, бери, пострадал ведь! Он запихнул в сжатый кулак Цветана десять левов.

Потом они закурили. Надоело все, вдруг сказал Иван. Я в армию хочу. А не берут. Надо военкому взятку дать. Как думаешь, сколько? Длинный Цветан сказал, что за взятку-то возьмут. Как не возьмут? За деньги-то, пожалуй, возьмут. Только мало дашь, военком обидится. А где больших денег взять? Ну, усмехнулся Иван, деньги-то есть. А вот как их всучить? Чтоб наверняка.

Они сидели в дровах, курили и длинно сплевывали. Иван подумал о заветной коробочке с чайным клипером, летящим на всех парусах, о деньгах в жестяном трюме коробочки-клиппера, – деньги были свернуты в тугой маслянистый рулончик и остро пахли бергамотом. Звонким колоколом толкнулось в груди – Бом-бей. Иван однажды видел этот город по телевизору.

2005

ОДИН ДЕНЬ ДЕПУТАТА ДЕНИСОВА

Повесть

ОДИН ДЕНЬ ДЕПУТАТА ДЕНИСОВА

Мир шуршит, как газета. Пахнут кровью дешевые роли. Все страшнее в кассете непроявленный ролик… Настойчиво пульсировали строки, неожиданно поднявшиеся из темноты памяти. *Чей-то час на курантах пробьет? Наша дохлая вера, как рыба, вверх брюхом всплывет…* Стихи напирали с настойчивостью кухонного радиоприемника. *Брода не существует. Он выдуман, стерва. По курятникам, крошкам с пластинками стерео, по безвыходным рельсам бреду сквозь трясины болот. Я дороги не вижу. Здесь «назад» означает «вперед». Сквозь дерьмовую жижу прошепчу, сквозь заляпанный рот: «Что за поезд придет перевезти меня через этот огромный город?».*

Черное тяжелое утро разорвал треск будильника. Протарахтев с минуту, будильник тихонько издох. Денисов очумело открыл глаза и, замерев, полежал немного, привыкая к новой реальности. Белесый туман сна рассеялся без следа. Из непроглядной тьмы за окном в узкую комнату краем глаза заглядывал прожектор, который освещал строящийся в глубине двора дом. Блик сиял на громадном никелированном будильнике, отчего тьма за окном становилась еще более тяжелой и недружелюбной. А прокуренная маленькая комната – надежным убежищем.

От вчерашней перцовки Денисова немного мутило. Он совсем не переносил выпивку. Вернее, выпить-то он любил и чувствовал себя вполне умиротворенным после одной-двух рюмок водки, но вот утром все равно болел: мучился нудящей печенью, головной болью и страшной одышкой от бесчисленно выкуренных сигарет. Однако ежедневные походы в округ, трудные разговоры с избирателями так изматывали его, что, возвращаясь домой, он спускался в магазин-подвальчик, покупал *мерзавчик*, поднимался домой и, нарезав сала и черного хлеба, валился на диван перед телевизором, опустошенно смотрел новости, в два приема выпивал горькую, неспешно закусывал и скоро счастливо забывался до утра.

Эти выборы в городскую думу проходили тяжело. Не было того азарта, дерзости, энергии, что привели Петра Степановича Денисова во власть в прошлый раз. Не было с ним светлых рыцарей – веселой и умелой команды джедаев, сидевшей каждый день допоздна над картой избирательного округа, похожего сверху на имперский космический крейсер, на корме которого находилось Северное кладбище, что давало повод для многочисленных острот насчет мертвых душ. И еще в этот раз не было денег.

А тогда все было по-иному. Его спонсоры радовались какой-то новой для себя игре в политику, были решительны, а главное – дали денег для избирательной кампании: и фонд избирательный наполнили под завязочку, и лично Денисову без всяких расписок выдали два миллиона рублей четырьмя фиолетовыми кирпичами. Кампания удалась, и деньги даже остались, и Петр Степанович принес остатки сдавать. Этому очень удивились и посоветовали свежеиспеченному депутату купить себе приличный костюм и туфли. Чтобы было в чем в думу ходить.

И четыре года минули – как день прошел. И снова снарядился Денисов во власть. Но сегодня деньги считали. Вздыхали: кризис на дворе. Спонсоры смету рассматривали долго, денег выдали немного – для разгона, но пообещали дать еще. Потом. Поэтому Денисов сам себе был начальником штаба, спичрайтером, бухгалтером и даже политтехнологом. Но вся его технология была очень проста: ежедневно ходить по своему избирательному округу и разговаривать с народом или, как сообщали по телевизору, с *электоратом*. Безденежье угнетало Денисова: надо было печатать листовки, всякий-разный агитпроп, надо было оплачивать *сетку* – бригаду говорливых тетушек-татарок, живущих в его районе и знающих всех и вся, и съевших не одну собаку на выборах. Тетушки настойчиво его предупредили, что ни разу еще выборы не проигрывали, и с кем бы они ни работали – хоть с коммунистами, хоть с самовыдвиженцами, – всегда успешно. Вот с кем работают, тот и побеждает. Примета у них такая. А в приметы Денисов верил. Но без денег

можно было и обмануться. Денег требовалось много. И нужны были *тайные деньги*, потому что из крохотного избирательного фонда можно было оплачивать только легальные операции – в основном печать агитационных материалов. А ведь нужно было расплачиваться не только с помощниками, но и с солидными государственными людьми в длинных пальто – настоящими джентльменами, которые материализовались перед выборами с сухими деловыми предложениями. И отказаться от их услуг никакой возможности у Денисова не было. Потому что у этих джентльменов были чудесные наборы ключей и отмычек, отпирающих большие добрые сердца госслужащих рангом поменьше, ну, например, сердца почтальонов, перед которыми, понятно, открываются все двери, а без этих добрых людей незначительные шансы кандидата в депутаты просто сводились к нулю. И ключи эти были поистине золотыми.

Сделал за предыдущие четыре года Денисов немало, было чем похвалиться. Но ему было почему-то неловко рассказывать пытливым пенсионерам, как он работал в комиссии по местному самоуправлению и чем, собственно, эта комиссия управляла; как и за что он голосовал на заседаниях думы, но главное, как он благоустраивал свой округ, как помогал страждущим – кому путевку достал в детский сад, кому справку нужную добыл, кого в больничку устроил. Обычное дело. Работал он всегда старательно, ничьей просьбы не оставлял без внимания, но напоминать о добрых делах ему почему-то казалось неприличным. Он сразу вспоминал знаменитую гаршинскую лягушку, кричавшую: это я! Я!

А выступать было тяжело, слушали недобро, недоверчиво. Виной тому было решение областного правительства неожиданно начать *монетизацию льгот* на городском транспорте. Пенсионеры, привыкшие ездить вольно, никак не могли взять в толк, почему сейчас им нужно за проезд платить. Областные и федеральные льготники получили какие-то небольшие деньги к пенсиям, а городские остались ни с чем. А половина избирателей в округе

Денисова были пенсионерами. Вообще, вся эта государственная фантазия явно была несправедливой, и люди хотели спросить за нее. И спросить было удобнее всего с депутата, который к тому же еще и сам ходит по дворам.

Денисов прекрасно знал, что вся эта интрига с немедленной монетизацией, с которой можно было и подождать, была затеяна перед выборами в городскую думу специально: губернатор просто хотел *опустить* главную партию, региональным руководителем которой был его *дружбан* – того как раз накануне сняли с должности. Во всей этой истории было много личного и совсем чуть-чуть бизнеса. Ясен пень, после такого демарша главная партия на выборах провалится, а строго спросят за это с нового секретаря. Тут-то губернатор и намекнет, что не надо было ничего менять, тогда и результаты были бы другими. И получит вполне приличный политический навар.

А конкуренты возликовали! Они обвиняли власть в равнодушии к простому народу, обещая, в случае избрания разумеется, и денег в виде прибавки к пенсиям, и немедленный ремонт ветхих домов, и решительное отстаивание прав неимущих, а депутат Денисов только и мог обещать, что продолжит работать честно, чем явно расстраивал избирателей, готовых любые немыслимые обещания принять. Кроме вот таких нелепых и никудышных. Но Денисов решил: гори все оно синим пламенем, а врать он не станет и разговаривать с людьми будет открыто и предельно откровенно. Как в своей газете. Но серьезной фактуры придется в разговорах с людьми добавить, подумал он дерзко.

Денисов решительно откинул одеяло, поелозил босыми ногами по мягкому ковру и потихоньку побрел на кухню. За ним потянулись Муська с Муркой, как всегда виясь между ног и сильно волнуясь. Завтрак – святое дело! Петр Степанович щелкнул выключателем, и грязный свет из-под желтого покрытого пылью абажура заполнил кухоньку. Зажег газ и минутку понежился в тепле, волной потянувшем от конфорки, потом выудил из кухонного стола лиловую банку кошачьих консервов,

щелкнул крышкой и вывалил отвратительно пахнущее месиво в пластиковую плошку. Кошки взволновались еще пуще и дружно кинулись к корму. Наркоманки, проворчал Денисов и сменил им воду в блюдце. Достал банку с молотым кофе, изрядно сыпанул в турку, бросил три ложки сахара и залил все это дело водой из чайника. Размешав смесь, поставил турку на огонь.

Этот ритуал повторялся ежедневно уже много лет. Кофе тонкого помола одного и того же сорта из золоченой пачки, все та же габровская джезвейка, которую Петр Степанович упрямо называл туркой, та же керамическая кофейная чашка, единственная оставшаяся от сервиза (и оттого дорогая его сердцу), жадно подрагивающие кошки… Впрочем, кошки менялись: умирали от неведомых болезней, падали с балкона и разбивались насмерть об асфальт двора, но предусмотрительный Денисов всегда оставлял себе от очередной плодовитой кошки котеночка – непременно трехцветного, ибо свято верил, что трехцветная кошка к богатству. Вот и сейчас у него жили матерая Муська, словно сшитая из разных лоскутов – на манер чудовища Франкенштейна, и ее дочка – игривая полосатая Мурка. И тоже причудливо раскрашенная природой в три цвета. Однако богатства Денисову почему-то до сих пор не привалило. Жил он не бедно – на еду хватало. И даже оставались деньги на книги, которые уже некуда было ставить в маленькой однокомнатной квартире.

Книги Денисов покупал скорее по инерции, нежели по надобности. Редко он получал удовольствие от новых книг, больше перечитывал старые собрания сочинений, купленные еще отцом. Были среди них и недорогие издания русских классиков, в которых всегда Денисов находил утешение. Но все-таки привычно ходил в книжный магазин Петр Степанович, как и в продуктовый, и сначала ругался сквозь зубы, разглядывая глянцевые обложки, потом помаленьку привыкал к невиданному книжному изобилию и вдруг находил записки Антонио Пигафетты или дневники Христофора Колумба, совершенно роскошно изданные, и покупал их, даже не глядя на ценник.

Денисов через ситечко нацедил в чашку густой кофе, сел на табуреточку и закурил.

Победой на прошлых выборах, и в этом Петр Степанович был абсолютно убежден, он был обязан своей газете. Городская газета «Новые времена» – это вам не *жалкий горчичный листок*! Где, в каком издании позволяли себе ругать городскую власть? Удивительные наступили времена, неожиданные, роскошные. Пиши что хочешь. У Денисова работали первоклассные журналисты – настоящие *разгребатели грязи*, и сам он в каждый номер писал забойную колонку. Не чистят от снега улицы – ударим, как говорится, по разгильдяйству и бездорожью! Рубят вековые липы в парке, расчищая место под строительство пышного затейливого дома для богатеев – вилы в бок! Объявилась страшная лиходейка-коррупция – всех взяточников на веревочку! Невзирая на лица. Ну, конечно, не обо всем и не обо всех можно было писать, что уж тут говорить. Владелец газеты олигарх Савлов иногда вызывал к себе, душевно разговаривал и незаметно обозначал запретные зоны. Вот этого лучше не трогать – он товарищ мой, а вот с этим у нас бизнес общий, а этот... Этот нам пригодится, ты его пока оставь. Мэра можно. И пожестче. Вот так вот! И показывал жестами, как нужно мэра. С мэром Савлов тогда был в ссоре. Он тогда больше с губернатором дружил.

Денисову мэр тоже почему-то не нравился. Наверно, потому, что тот находился в другом лагере, так сказать принадлежал другому клану. Ведь если есть в городе какие-нибудь Капулетти, то непременно должны быть и свои Монтекки. И он мэра не жалел: писал о нем хлестко и смешно, что напрочь выводило из себя городского начальника. Чего стоило одно только предложение Денисова поставить на главной площади памятник мэру. Нет, не вот конкретно нынешнему мэру, а вообще *мэру*. А голову сделать съемную. Пришел новый градоначальник – навинтили новую голову. А старую торжественно подарили отбывшему честно свой срок – пусть, дескать, в своем саду поставит. На память о славных днях. Мэр тогда рассердился не на шутку и пообещал самому Дени-

сову оторвать башку, что, впрочем, ничуть главного редактора не испугало, но самомнения явно прибавило. Савлов веселился, обещал прибавить Денисову жалованья. И воодушевленный Петр Степанович продолжал писать в газету уж и вовсе что-то несусветное – то про войну гвельфов и гибеллинов в городе, а то очерк из жизни глистов, недвусмысленно грызя ноготь в сторону городских чиновников. Он вдруг понял, что всевластные начальники не боятся никого и ничего, кроме смеха и обвинения в отсутствии вкуса. И веселил всю округу, и веселился сам, сочиняя очередной скетч. Но, справедливости ради, надо признать, что некоторые незамысловатые историйки были написаны все-таки по делу и уж вовсе не напоминали о глуповатом Задорнове или елейно-ядовитом Шендеровиче, а отсылали скорее к прямолинейному и высокомерному Невзорову. И это еще больше раздражало мэра, который не только мог оценить уровень информированности писаки, но и цену сатире и юмору знал. Даже как-то признался на пресс-конференции, что его любимая книга – «Золотой теленок». Денисов немедленно зло пошутил, что непонятно только, кто любимый герой у мэра – прохиндей Бендер или жулик Корейко.

Потом Савлов с мэром задружился (ну, не задружился, конечно, а примирился, что ли, потому что выплыл у него из всей этой кутерьмы какой-то выгодный то ли строительный бизнес, то ли земельный, и Денисов еще тогда горько подумал: *пауки договорились*), и мэра тоже стало нельзя. Потом нельзя стало много кого и много чего, а потом и газету закрыли, ссылаясь на кризис. И подумал Денисов убито: *чума на оба ваших дома!* Но удалось-таки уговорить шефа раскошелиться еще на один номер, в котором Петр Степанович решил опубликовать программу, с которой он шел на новые выборы, и, естественно, отчет о проделанной работе, богато иллюстрированный фотографиями.

Денисов раздавил в пепельнице сигарету, шуганул наглых кошек и, допив одним глотком кофе, пошел одеваться. О, в этом деле нужно было быть тщательным и осторож-

ным. Петр Степанович еще в прошлые выборы поразился тому, как его основная соперница (действующий депутат, между прочим) совершенно беззаботно приехала на встречу с ветеранами в серебристом «вольво», вышла в распахнутой шубе из невиданного пушистого зверя и в окружении предупредительных *шестерок* стала рассказывать о том, что она сделала уже и что еще сделает для жителей района. Замороченные бедностью пенсионеры оловянными глазами смотрели на переливчатый мех, и этот взгляд не укрылся от проницательного Денисова, подъехавшего в редакционной разбитой «Волге» и решительно вошедшего в круг тяжело молчавших людей. Он ненавязчиво продемонстрировал свою простецкую одёжу, задал небрежно вопрос сопернице о недавно появившейся у нее пятикомнатной квартире на Синих Камнях и намекнул, что ему известно, сколько денег дала администрация города на выборы каждому лояльному депутату. Сумма была обозначена не в долларах, как принято на всех выборах, а в рублях – и потому выглядела совершенно фантастической. Соперница быстро слиняла, а Денисов, перехватив внимание пенсионеров, долго и обстоятельно рассказывал, как жируют нынешние депутаты. А что вы-то нам обещаете? Пенсионеры спрашивали с какой-то затаенной усмешкой. И тут Денисов совершенно серьезно сказал им: «Я обещаю вам…» Он сделал значительную паузу и вдруг бухнул: «Что вы будете жить еще хуже!» Все просто окаменели, а Петр Степанович закончил веско: «Если не поменяете городскую власть!» И все разошлись в задумчивости.

Он тогда тщательно перебрал свой гардероб и решительно отринул дубленку – хоть и старую, но все-таки выглядевшую вполне сносно, а в темноте – даже шикарно. Выбрал Денисов из небогатого своего гардероба зеленые вельветовые штаны, серый свитер-самовяз, серенькую лыжную шапочку и драповое старенькое полупальто, которое он весело называл *полупердончик*. Сильно поношенные ботинки на тонкой подошве выбирать не пришлось – они были у Денисова единственные. Полупальто когда-то принадлежало мужу его сестры, жившей

в Челябинске, а привезла его сердобольная мама, которая объяснила, что Вове оно уже маленькое, а ей самой оно большое, а вот Петеньке будет в самый раз. Так оно и висело в кладовке Денисова, ни разу им не надеванное. И вот пригодилось. Мерз Денисов отчаянно, но, как оказалось, страдания его не пропали зря, чему он получил в дальнейшем несомненное подтверждение.

Однажды в приемную пришла изможденная женщина, принесла заявление на оказание материальной помощи в силу невозможности дальнейшего существования. Пенсия у нее была три тысячи рублей. На руках сын-инвалид. Сын болел булимией, и эта страшная болезнь буквально съедала все деньги. А хватало-то их только на хлеб, молоко, постное масло да муку. Из муки они с сыном варили болтушку и заправляли ее подсолнечным маслом. Иногда баловали себя вареной картошкой с квашеной капустой. Вот и вся еда. Женщина плакала и жаловалась. Он уже килограммов триста весит! Уже встать с кровати не может! А пенсию по инвалидности оформить невозможно, потому что надо его для этого куда-то везти. А врачи такие сволочи! Раз пришли, пожали плечами и говорят, надо отправлять на обследование. А как его везти-то?! Он в дверь не проходит. А как он жрет! Как жрет! Женщина разрыдалась, Денисов стал ее успокаивать, и они разговорились. Женщина была простодушна и доверчива. Она рассказала, как встречала его, тогда еще кандидата в депутаты, на продувных заснеженных улицах и жалела сильно, потому что видела его худые ботинки, нелепое бедное полупальтишко и побелевшее от холода лицо. И почуяла в нем своего. Поэтому и проголосовала за него. И Денисов расчувствовался, достал из штанов несколько синих бумажек и тихонько сунул их несчастной женщине. Деньги эти были из его зарплаты. Он даже немножко погордился собой, но почему-то было мучительно стыдно.

Очень многие думали и продолжают думать, что депутатам выдают какие-то неслыханные деньги, которые образуют какой-то неведомый *депутатский фонд*, из которого эти деньги хорошие депутаты распределяют среди нуждающихся, а плохие депутаты, разумеется, эти денеж-

ки прикарманивают. Денисов много раз объяснял людям, что никакого депутатского фонда не существует, но видел только недоверчивые лица и обиду.

В общем, за отсутствием денег Денисов решил не только использовать старые *имиджевые* фотографии, которые остались от прошлого похода в депутаты, но и одеться как в прошлый раз, хотя у него уже были и бобровая шапка, и модный клетчатый шарф, и меховая итальянская куртка, пошитая в Турции. И даже дорогие теплые перчатки. Однако он выбрал простенькие варежки. И это уже была военная хитрость. А на войне как на войне. Было, конечно, от всей этой суеты немного гадко, но утешала мысль, что хитрость направлена против гнусных конкурентов, а не против народа.

Разложив одежду на диване, Денисов с минутку оценивал *прикид* и все-таки решил умыться. Он пошел в ванную, пустил горячую воду и недоверчиво и долго глядел на тугую желтую струю. Запахло сероводородом. Нет, это невозможно, угрюмо подумал Денисов, сейчас стошнит. Выключил горячую и пустил холодную. Вода была чистая, но сильно пахла хлоркой. Денисов зажмурился, поплескал ледяной водой в лицо, наскоро почистил зубы. Полощa рот, он сдерживал неудержимые позывы к тошноте. Наконец, перестав бороться с приступами, он склонился над раковиной. И его рвануло. Густые коричневые куски кофейной гущи ударились о фаянс и разлетелись брызгами. Г-гадание н-на кофейной гуще, через силу усмехнулся Денисов и, с отвращением смыв всю эту *мурцефаль,* уткнулся в несвежее ветхое полотенце. Из мутного зеркала на него смотрело измученное небритое лицо пожилого человека. Кажется, я его уже где-то видел, подумал Денисов. Но очень давно. Тучен и страдает одышкой, вздохнул Петр Степанович и потрюхал на кухню принять ежедневную таблетку диротона от давления – в пятьдесят пять это уже стало необходимостью, так же как и очки для чтения. Потом полистал блокнот с сегодняшним расписанием и стал одеваться.

Весь день депутата Денисова – а ныне еще и кандидата в депутаты городской думы пятого созыва – был расписан по минутам. Бригада агитаторов организовывала встречи во дворах, в подъездах, находила квартиры, где депутата ждали, чтобы поделиться с ним своими горестями и пожаловаться на жестокосердных чиновников. Вечером ему звонила бригадирша Венера – толстая пожилая татарочка с молодыми черными глазами – и диктовала адреса и время. Все было отлажено еще в прошлый раз. Да, вспомнил Денисов, надо еще заехать на почту, *перетереть* с начальницей. Есть договоренность с разносчиками пенсии, что они, ходя по квартирам, будут ненавязчиво говорить о нем как о единственно возможном кандидате и оставлять пенсионерам на память копеечный календарик, на котором был изображен решительный Денисов. Внизу красными буквами была исполнена надпись «Нет грабительской монетизации!». Конечно, разносчикам придется платить. И, похоже, платить придется из собственного кармана.

Газету хоть и закрыли, но зарплату Денисов еще получал. И редакционную машину за ним пока оставили. И это уже была не старенькая «Волга», покореженная в двух авариях, а длинный черный универсал «мицубиси-лансер», пожалованный Савловым редакции *со свово плеча* сразу же после тех еще, первых, выборов.

Да, было дело под Полтавой. Когда предвыборная горячка уже зашкаливала и приходилось мотаться из района в центр по три раза на дню, на объездной дороге «Волга» была атакована тяжелогруженым МАЗом, но мастерство редакционного шофера Михаила Васильевича, которого сотрудники звали просто Василичем, спасло их и худо-бедно уберегло машину. Ухитрился Василич затормозить, вырулить и ткнулся бампером в огромное грязное колесо МАЗа. Но все равно помялись изрядно. Конечно, авария была совершенно случайной, какие происходят в городе каждый день по причине непогоды или безголовости водителей, но из истории выжали все, что могли: напечатали в своей же газете фотографию разбитой «Волги» с пространным намеком. И резонанс был, как доносила разведка. А в совершенную негодность

машина пришла через неделю после этого случая, когда какой-то лихач, вылетевший на «жигулях» на красный свет, врубился им в бок. И в этот раз Василич успел както увести машину и смягчить удар, который пришелся по касательной в дверцу со стороны Денисова. Но тогда Петр Степанович даже не подумал о промелькнувшей смертельной опасности, которая, впрочем, подстерегает каждого на сегодняшних дорогах. Он, правда, слегка удивился, что обрюзгший мужик, сидевший за рулем *жиги*, сразу же узнал его и, назвав по имени-отчеству, стал извиняться, дескать, погнался за каким-то гадом, который шоркнул его, подрезая. Но пусть Петр Степанович не волнуется – он оплатит ремонт, только не надо никуда звонить, а то нагорит ему, а новую дверцу он достанет, и уж точно отдельный батальон связи, ну, тот, что сразу за улицей Первой Пятилетки, ну да, он там командиром хозвзвода, так они все дружно, уж будьте спокойны, поддержат его на выборах – там читают его газету. И действительно дверцу достал и ремонт без проволочек оплатил. А Денисов еще подивился: и там газету знают. Идиотом он тогда выглядел полным, конечно, но все равно ему было приятно.

Есть совсем не хотелось. Но тем не менее Петр Степанович насильно запихнул в себя кусочек плавленого сыра, нацедил из картонного пакета кефиру в стакан – вот и вся *порцайка*.

В детстве Денисов, сколько себя помнил, всегда испытывал чувство голода. Жили они как-то бедно – даже по тем небогатым временам. И котлеты были настоящим праздником. Потом отец построил дом, завели коровку, поросят, курей, возделали огород – и зажили по-божески. Но когда бабушка уехала к себе на родину, на Украину, наступили унылые времена. И уже не ждали дома школьника Петю ни густой огненный борщ с белой фасолью и щедрыми кусками мяса, ни макароны по-флотски, ни тушенная в молоке треска, ни здоровенные, чуть подугленные с углов, голубцы со сметаной; и когда приходил он из школы и не находил на плите даже жидкого

перлового супчику, и начинал шариться в поисках еды, и не обнаруживал вовсе ничего – даже хлеба в большой коричневой эмалированной кастрюле, где хлеб хранился и где только и оставался невыветрившийся кислый запах, – тогда в отчаянье заводил болтушку на воде из муки и потом жарил на чугунной сковороде оладьи на постном масле. Ну, это условно можно назвать их было оладьями – эти бесформенные полусырые лохмотья. Но вкус их Денисов языком своим обложенным чувствовал до сих пор. Как и многое другое из когда-то съеденного или выпитого – особенно если все тело нудило от голода. То, что брюхо – злодей и добра не помнит, понятно, а вот у языка память куда как длиннее.

Сейчас не то – сейчас консервное изобилие. Откроешь холодильник и долго стоишь, разглядывая цветные наклейки на банках, и пропадаешь в раздумьях, что бы такого съесть, хотя и есть-то особо не хотелось. Так, точил вечно махонький червячок в округлившемся животике. И, махнув рукой на высокий холестерин, делал себе Денисов бутерброд с понятной краковской колбасой и заваривал крепкий цейлонский чай. Так-то оно привычнее. Но сейчас от крепкого чая Денисова бы стошнило, и он пробавлялся кефиром.

На лифтовой площадке стояли соседи – высокий старик, полный надменного достоинства, и его маленькая жена с тоскливым и усталым лицом. Прибыл лифт, и старик гордо вошел первым. Втиснулся Петр Степанович, нажал оплавленную кнопку. Лифт заскрябал, задребезжал, пополз вниз.

– Мужчины должны заходить в лифт первыми, а выходить последними, – веско сказал старик своей жене.

Но Денисов сообразил, что слова адресуются ему, дабы он не заподозрил старика в невоспитанности. Петр Степанович рассматривал измызганную и расписанную похабными картинками кабинку лифта. Надписей прибавилось. Одна особенно поразила Денисова. Черным фломастером было жирно и размашисто написано: «QUOUSQUE TANDEM!». М-да, сокрушенно подумал

Денисов. Кто-то у нас тут охотно Цицерона читает… Вдруг старик строго обратился к жене:

– Ты написала Кофи Аннану?

– Да-да! – торопливо откликнулась его жена, и старик удовлетворенно и важно кивнул головой.

– Я и конвертик уже приготовила! – радостно сообщила старушка.

Денисов с изумлением смотрел на них и вдруг остро позавидовал такому несокрушимому союзу двух старых людей, которым достает силы не только гордо жить среди студеной зимы в полной гармонии, но и вот, поди ж ты, письмецо сочинить господину Аннану. А интересно, что в письме-то? Жалобы? А может, советы? Как бы нам обустроить жизнь на Земле? Только и осталось им писать Кофи Аннану. Хотя, кажется, сейчас какой-то другой? Пан Ги Мун, что ли?

Начинающийся февральский день был мерзок, хрусток от заскорузлого грязного льда на тротуарах. Машина пыхтела черным катафалком в рассветных сумерках. Василич спал, откинувшись назад и широко раскрыв рот. Денисов влез в темный салон автомобиля. Пахло слежавшимся табачным дымом, подкисшей одеждой и свежей типографской краской – сзади громоздились под потолок пачки с газетами. Василич очнулся, энергично потер лицо и, приветливо буркнув, вопросительно уставился на Денисова.

– Куда едем?

– Все кроссворды решаешь, – заворчал Петр Степанович, усаживаясь поудобней. – Скоро совсем умным станешь. Умней меня. Уж лучше бы книжки читал.

– Акунин закончился, – радостно сообщил Василич, пряча потрепанную брошюру с головоломками за светозащитный козырек. – Но, говорят, скоро новая книжка выйдет.

– Ну, Аку-унин! – скукожился Петр Степанович. – Ты Толстого почитай, что ли.

– Я читал, – уверенно сказал Василич. – «Петр Первый» – отличная вещь! И «Гиперболоид инженера Гарина». Но вообще – я акуни… акунианец!

Денисов усмехнулся. Он и сам не только решал кроссворды, но и читал о похождениях Эраста Петровича Фандорина, о злоключениях проницательной Пелагии, да и другие книжки Акунина читал не без удовольствия, но мало ли что человек с удовольствием делает. Правда, заметил Денисов, что совершенно не может упомнить, чем там дело каждый раз заканчивается и кто главный злодей. Самого Фандорина отлично представлял, и его камердинера Масу, а вот сюжеты увлекательных романов распадались и тонули в обширной денисовской памяти. А память у Денисова была отменной. Он хорошо знал и помнил еще с детства прозу Пушкина, Лермонтова, Гоголя и, конечно, страшные рассказы Чехова – они намертво въелись в его душу. Перечитывая классику, Денисов испытывал удивление и радость от узнавания текста – как если бы он, будучи пораженный неожиданной слепотой, трогал чуткими пальцами рельефы давно виданных и перевиданных офортов. Акунин же был зыбок, бесплотен. Обаяние главного героя оставалось, а вот чем дело кончилось… Однажды он начал перечитывать фандоринскую эпопею – и все ему показалось незнакомым. До самого конца. Вот такой вот кунштюк.

Денисов точно знал, что есть в жизни очень трудные книги, фильмы, музыка, постигая которые, продираясь сквозь их мощь и сложность, испытываешь неизъяснимое наслаждение от обретения какого-то обостренного зрения, странного высокого стояния духа. Впрочем, все это довольно быстро разрушалось от напора действительности, подстерегающей за первым же углом. Выходишь, к примеру, со смятенной душой из филармонии, где два часа пришлось карабкаться на горние вершины, и, захваченный невероятной силы звучанием симфонического оркестра, осторожно идешь по ночной зимней улице, и звук волшебного дудука рвет сердце, и мозг твой чист и прозрачен, как воздух над Севаном. И что-то открывается тебе, что-то очень важное для размеренного существования, как вдруг из остановочного киоска – кувалдой по морде: «Гоп-стоп! Чешуя! Не поймал я ничего!» Или какие-нибудь *воровайки*. И немедленно душа низверга-

ется в вонючую мглистую бездну, где даже черти эту *парашу* вряд ли слушают.

И как к этому относиться? Раздраженно ворчать, ругаться, вызывая насмешки *продвинутой* толпы? Или спрятаться под спасительную броню сарказма и насмешки? Типа: только сядешь к телевизору толком рекламу посмотреть, а тут фильм какой-нибудь мешает – ну, невыносимо!

– Я вижу, ты вчера, Петр Степаныч, опять… того?

– Подожди-ка, Василич, посидим. Включи свет!

Закурили.

–Дай-ка номер, посмотрю.

Под слабой лампочкой зашелестел газетой. Вот Денисов (торжественный) на детской площадке, построенной его стараниями, вот (по-доброму так улыбается) на спортивном корте, а вот он (внимательный) за столом в своей приемной принимает просителей. Еще в этом номере на первой полосе была опубликована программа депутата Денисова с громадным *патретом*. Хороший такой взгляд, живой, напряженный, проницательный. Пиджак твидовый. Депутатский значок на лацкане. И программа хорошая. Написанная простым, ясным слогом. С главным посылом: одни новые богачи в нашей думе сидят, а надо бы простых людей туда побольше – врачей, учителей, рабочих… Ну и, разумеется, журналистов. На последней полосе, над кроссвордом, был опубликован странный монолог депутата Денисова, который сотрудники газеты весело называли между собой «литературными мечтаниями». Но писал его Петр Степанович искренне и серьезно и сейчас стал напряженно перечитывать текст, переводя его мысленно в живую речь и прислушиваясь к звучанию – нет ли какой фальши.

Он представил себя на трибуне у микрофона. Обращенные к нему тысячи угрюмых лиц. И морозный гулкий воздух, заполняющийся словами.

Я мечтаю… Я мечтаю о том времени, когда, забыв распри, обнимутся белые и черные.

Нет, я не имею в виду цвет кожи. Я говорю о людях,

которые превратились в шахматные фигуры. Они ведут тайные и явные операции друг против друга, разыгрывая под горьким задымленным небом свои бесконечные дебюты. Они испытывают явно нездоровое чувство удовлетворения, разрабатывая хитроумные шахматные комбинации, думая, что город, страна – это шахматная доска.

И это происходит в дни, когда сотни тысяч, миллионы людей чувствуют свою обездоленность и угрюмо проходят мимо избирательных участков, махнув рукой на всю эту возню. Им надоело быть зрителями в этой бесконечной игре. Очень может быть, что скоро игра будет продолжаться в пустом зале и пешки, возомнившие себя ферзями, будут сражаться только под шелест измятых вчерашних афишек.

Я мечтаю о том времени, когда богатые, отягощенные своим богатством, будут вкладывать свои деньги не только в футбольные клубы, но и в дома престарелых, больницы и школы. Ибо можно, конечно, остаться в памяти народной удачливым и ловким бизнесменом, но достойнее, когда тебя вспоминают как сердобольного, сочувствующего человека. Можно быть болельщиком не только на стадионе. Можно болеть за сирых и убогих – они из нашего прошлого, от которого не отказываются, как нельзя отказаться от родителей, от детства, от самой жизни. Можно болеть за молодых и сильных – они наследуют страну.

Я мечтаю о том времени, когда в нашей богатейшей стране не будет ни бедных, ни бездомных, когда человека не будет снедать мысль о голоде и о лекарствах. И не будет ни одного обездоленного, потому что государственные мужи будут руководствоваться простым и ясным постулатом: не человек для государства, а государство для человека.

Я мечтаю о том времени, когда российский флаг, развеваясь на семи ветрах, будет вызывать чувство законной гордости за свою страну. Потому что сильная и великодушная страна примет и защитит даже пропащих своих детей. И если обидят даже самого никудыш-

ного, но нашего, российского, гражданина – 6-й Российский флот немедленно выйдет в поход, чтобы не дать свершиться несправедливости.

Я мечтаю, что когда-нибудь прекратится казнокрадство и чиновники всех мастей вдруг раскаются, выйдут к честному народу, и падут перед ним на колени, и заплачут. И попросят публично прощения за свои грехи: за лихоимство, за грубость и небрежение, за бессердечность и жадность – и будут служить народу честно и бескорыстно, а не жить, как новые баре, в высоких теремах, в заботах о собственном животе.

Трудно – просто невозможно – поверить, что это когда-нибудь случится.

Но все-таки – я мечтаю.

А, по-моему, хорошо получилось, довольно заурчал внутри себя Денисов. Манифест! Только надо было покрупнее набрать. Десяткой, что ли. И линейками отбить. И не хватает точки пули в конце. Нет, не выиграть, вдруг уныло подумалось Петру Степановичу. Ни за что не выиграть! Какие наши ресурсы? Денег нет. А то, что его выдвинула партия власти, так это как гири на ногах. Столько эта партия *накосорезила*, что сейчас только скажи, что от них идешь, враз сомнут. И конкуренты оживились, рассказывают басни, что они-то как раз люди не партийные, поэтому будут яростно протестовать против отмены льгот ветеранам, против низкого уровня пенсий, словом, против всего, что предлагают эти... Ну, вы сами знаете кто, со значением говорили остальные кандидаты в депутаты городской думы по 36-му избирательному округу. Однако Денисов знал (разведка донесла), что у всех у них были партийные билеты, все они были одной *масти*, хотя и тщательно это скрывали.

Сам Денисов в единую и неделимую вступил довольно странным образом. На какой-то тягомотной *презентации*, когда Савлов представлял свое новое приобретение, какую-то туристическую фирму с идиотским названием «Багамский элизиум», и абсолютно тогда непьющий Денисов томился со стаканом ананасового сока, пат-

рон, проходя мимо, бросил ему небрежно: «Завтра напишешь заявление о приеме в партию». И, не глядя на закоченевшего Петра Степановича, объяснил: «Меня каждый день терзают: почему твой помощник до сих пор не у нас. Надоело». А приглядевшись к безжизненному лицу Денисова, вдруг весело добавил: «*Не грейся!* Как записались – так и выпишемся!». И тут же жестко, со значением, как гвоздь вбил: «Так надо».

Савлов был не только олигарх, но и крупный партийный деятель. Правда, в основном его деятельность сводилась к финансированию партии. И куда там Савве Тимофеевичу Морозову с его тысчонками на нужды большевиков! Миллионы! Миллионы в твердой американской валюте передавались олигархом из рук в руки для проведения *партийных мероприятий*. Понятно, регионального масштаба. Прочие местные конференции, совещания, заседания, акции должны были обеспечивать депутаты городской думы, входившие во фракцию единой и неделимой. И значимость депутатов оценивалась сообразно их денежному вкладу в партийное дело. Члены исполкома районного отделения были из неуничтожаемой когорты партийной прислуги – все они раньше служили *высоким идеям коммунизма*, потом разом перешли в новую госпартию, почуяв в ней источник вечного наслаждения, и стали продолжать с успехом свой маленький бизнес. Денисова в местном политсовете не любили. Заместитель секретаря, перезревшая дама с вечно вытаращенными глазами и плаксивым голосом, всю жизнь проработавшая освобожденным *профоргом* на Тяжмаше, несколько раз подкатывала с предложениями *профинансировать* партийные дела, но, получив твердое «нет», просто возненавидела Петра Степановича, потому что видела в этом ущерб собственному благополучию. Но Денисов не собирался давать ей ни копейки, так как предполагал, что мадам просто хочет купить себе новый кухонный гарнитур. Ему рассказывали, что деньги, собранные на похороны старого секретаря исполкома (тому разбили голову монтировкой *кинутые* им партнеры по

торговому бизнесу), пошли на новую итальянскую мебель в гостиную пучеглазой жабы.

Опять мысли Петра Степановича вернулись к деньгам. И он вдруг со всей ясностью понял, что дело его швах и что победить на этих выборах ему может помочь только чудо. Да, именно так. Не деньги. Какой-нибудь волшебный случай. Он закручинился.

– Ладно, Василич, поехали. – Денисов решительно стал пристегиваться ремнем безопасности.

– Куда? – Василич был деловит, собран.

– В округ. Сначала газеты развезем. Потом встречи.

Машина двинулась, переваливаясь на колдобинах и тихонько похрустывая шинами на ледяных ажурных корочках льда.

Теплая дрема охватила Денисова. Он закрыл глаза. Попытался сосредоточиться на какой-нибудь думе, но мысли были вялые. Он попытался вспомнить сегодняшний сон.

Петр Степанович никогда не засыпал без книги или телевизора. Даже если сильно уставал. Он, конечно, пытался заснуть в полной тишине и темноте, но в голове или роились события дня, которые Денисов ожесточенно просматривал, как закольцованную длинную хронику, или он с параноидальной настойчивостью думал о событии предстоящем, и, уже совершенно обессилев, вставал, брал какую-нибудь книгу или включал телевизор, или ставил кассету с фильмом виденным-перевиденным. И тихонько под это дело засыпал.

Однажды он обнаружил за собой удивительную особенность: странные, диковинные сны стали приходить к нему – и не просто сны, а, как правило, продолжение книжных или киношных историй, которые поразили его воображение и взяли властно в плен. И если Денисов увлеченно читал, к примеру, «Бейкер-стрит и окрестности» Светозара Чернова или истории Э. Дж. Вагнера, то, заснув, непременно попадал в какой-то низкорослый закопченный город, плохо освещенный газовыми фонаря-

ми, и, вдыхая грязно-желтый воздух, он понимал, что город этот называется Лондоном, хотя, как подозревал проснувшийся Петр Степанович, на реальный Лондон он мало походил. И недавно Денисов это уяснил совершенно отчетливо. Три месяца как он вернулся из Соединенного Королевства, где друзья из Русской службы Би-би-си – великолепный, смешливый, похожий на разудалого беса Зинзинов и тончайший лиричный Хорезмов – открыли ему этот волшебный город, самые его потаенные уголки, и, что характерно, никакого тумана в подлинном Лондоне Петр Степанович так и не увидел. Красные телефонные будки и почтовые ящики видел, двухэтажные красные автобусы (даже последние Рутмастеры на пятнадцатой линии) видел, а тумана – ни разу. И даже плотного табачного дыма не нашел он в старинных пабах, где иногда посиживал за пинтой эля. Чисты и прозрачны были скверы и парки, по которым гулял под осенним дождиком Петр Степанович, воздев над головой зонтик *бёрберри*. Но ведь викторианский Лондон, наверно, и был таким, каким он мне снился, размышлял Денисов. Сейчас город стал другим. Все меняется.

Петр Степанович со всей силой стал пользоваться открывшимся даром. Какое это было наслаждение перечитывать Льва Толстого – и ночью нечаянно возглавить атаку черных кирасир и рубиться насмерть возле батареи Раевского, неподалеку от зыбкой березовой рощицы! Или же медленно и трудно погружаться в «Хроники Амбера» Роджера Желязны и потом полночи пробиваться через Отражения вместе с принцами крови! И уж совершенно неслыханные путешествия сулила огромная денисовская фильмотека!

Правда, в последнее время все чаще снился Денисову только его избирательный округ со стандартными серыми пятиэтажками, с разбитыми замусоренными дворами, в которых он встречал только суровых пожилых людей с изможденными лицами. И тянулись, тянулись бесконечные запутанные разговоры. Или он оказывался в темных больших квартирах, где царило нездоровое полу-

пьяное веселье, где приходилось драться с незнакомыми опасными людьми, отчаянно бить в каторжные рыла или, испытывая сладкое вожделение, завязывать нелепые романы с невнятными девицами, которые в самый острый момент неожиданно превращались в резиновых кукол и сдувались под всесокрушающим напором плоти, а то и просто бесследно исчезали в мглистых квартирных провалах, заставляя неудачливого визитера горевать и пить сладкую водку.

Не всегда удавалось Денисову оказаться в запрограммированном пространстве, но иногда случалось – пусть в искаженном, смутном, странном мире – все-таки побывать.

Вчера Петр Степанович, уже совсем поздно, поставил кассету со «Сталкером». Он понимал, что не досмотрит до конца – фильм длинный, а глаза уже резало, но ему нужен был фон, чтобы проскользнуть незаметно в Зону, которая тревожила его воображение уже несколько дней. И вот он осторожно заснул и через какое-то время оказался в вагоне поезда, тихо ползущего сквозь тусклую морось. В открытом окне уныло плыли пожухлые поля и холмы. Вдруг хриплым ржавым голосом заревел гудок. Денисов высунул голову наружу. Паровоз! Это был действительно паровоз! Угольная сажа летела в лицо. Негромко стучали колеса. Паровоз изредка пфукал, иногда лязгали буфера, поезд плавно выгибался зеленой гусеницей. Медленные куски сгустившегося тумана то подбирались к самой дороге, то начинали таять, исчезать, и тогда были видны мокрые блестящие рельсы параллельной ветки. Неожиданно открылась неправдоподобно яркая поляна, полная ромашек, но промелькнула, исчезла, и потянулись вдоль дороги уж совсем глухие места. Слева вставал гигантский сизый терриконик с курящимися склонами, у подножья заросший бледным осинником. Тумана прибавилось. Иногда проглядывали сквозь молочное марево руины двухэтажных шлакоблочных домов и покосившихся сереньких избушек. Медленно проехали мимо искалеченные железные ворота, над которыми дугой стояли грязные малиновые буквы: ГОРМОЛОКО-

ЗАВОД № 1. Чем дальше, тем чаще вставали из тумана ржавые обнаженные фермы разрушенных цехов, мертвые заводики и фабрики. ЭВРЗ, КИРЗАВОД, ЦЭММ…

Изношенные грузные люди спали в вагоне, но Денисов не узнавал их, сколько ни вглядывался в их тяжелые и обреченные лица – очень выразительные, как бы прописанные фламандской кистью. Куда они все ехали? Было как-то пусто и равнодушно. Ехали себе и ехали, колеса постукивали, и удивительно покойно было от этого движения, даже показалось, что само движение было гораздо важнее конечной цели, которая, понятно, была. Как, наверно, была у каждого лежащего на деревянных полированных скамьях своя маленькая история, и можно было угадать прошлую жизнь и судьбу этих людей по тяжелым усталым позам, по их напряженным рельефным лицам, не разгладившимся даже во сне. Запела золотая цикада: *они есть Моцарты трехлетние!*

Потом что-то случилось, что-то очень важное для Денисова, но оно, это самое важное, и распалось в первые же минуты пробуждения. И если бы не утренняя похмельная муть, охватившая тут же Петра Степановича, он бы сосредоточился и вспомнил, обязательно вспомнил бы тот самый момент, когда его во сне озарило: откуда, куда и зачем они, собственно, едут в этом старом, до боли знакомом поезде, который тянул нелепый, почти игрушечный, паровоз. Но осталось только ощущение езды. И еще тревожные стихи. *Снег сырой, как газета, шрифт, пропитанный смогом, этот город офсетный я б забыл, если смог бы. Опускаюсь в метрошку, ожидаю в туннеле саввея – потрясает до дрожи, как Евангелие от Матфея. Сеет сажа на рельсы, как плохой дымоход… Что за поезд придет?* Уильям Джей Смит. Мистер Смит. Смит. Скорее уж, Морфеус. Морфей. Шалфей-морфей. Морфий. Таинственное магическое путешествие.

Хорошая штука – многоканальный телевизор! Великая вещь – пульт и программное управление. Но оставлять цветную картинку без присмотра нельзя: она могла неожиданно исчезнуть и тогда был риск попасть в такие *те-*

нёты, что потом и вовсе не выберешься из сладкой пучины сна. Или задохнешься насмерть, или одуреешь надолго. Ладно, если живую природу покажут, а если – губернские криминальные кошмары?! Опасное это было дело – вот так просто заснуть при включенном телевизоре. Кто их там знает, что они в очередной раз придумают. Ну если что-нибудь развеселое, какую-никакую *клубничку*, это еще куда ни шло, хотя давно уже тошнит от нее отчаянно. А если мозги на асфальте? Или Божедомка? Или сортиры? Или упыри? А если какие *телепузики*? Что они себе думают, эти демиурги TV, эти небожители? Поэтому безопасней всего было засыпать, переключившись на канал «Культура». Продюсеры создают телепрограммы, но пульт уровнял их в правах. Денисов улыбнулся.

– Василич! А тебе сегодня что-нибудь снилось?

– А мне сегодня сон приснился! – радостно объявил Василич. – Такой странный сон! Будто умер я… – Василич сделал многозначительную паузу, – и попал на тот свет. И встречает меня… Ну, этот… который с ключами…

– Апостол Петр, – подсказал Денисов.

– Во-во! Сидит он перед воротами – важный, бородатый – за таким столом, ну, стол такой… серьезный, настоящий, с зеленым сукном! И этот! С бородой! Как у Карла Маркса. И говорит: «Даже и не знаю, что с тобой делать. У нас тебе не место. Может, вниз тебя?». И пальцем куда-то вниз тычет, а тут под ногами все прозрачно сделалось и какая-то красно-черная долина показалась – огонь горит, лава льется, вулканы бьют! В общем, такое кино! И мне так кисло стало. А этот продолжает: «Ты вот грозился негодяев казнить. Добровольно палачом стать. А это ж разве можно?». А я ему: «Так то по решению суда ведь!» А он мне: «А если суд неправедный?» А я что-то начал ему возражать, и тут ворота открываются – и свет такой яркий, и голос – как из динамиков! Ну, вроде, кто таков, почему дерзкий такой? Я, честно, заробел. Не вижу ничего. Только свет! Сильный. Боюсь, но стал возражать. Несправедливо же устроено все! Почему воры, хапуги, убийцы, нелюди разные безнаказанно ходят промеж нас, улыбаются? А

ты, Господи, только наблюдаешь. А тот как рявкнет: «Не твоего ума дело!» Рассердился.

– Не переживай, Василич. В рай тебя, конечно, не пустят – ты нехристь, в ад вроде не за что – грехи твои ерундовые. В отстойник тебя! В предбанник! Там будешь сидеть, чистить себя под Богом, ждать Страшного суда. Будешь кроссворды свои решать, Акунина читать, пиво пить. Но ждать придется долго. Очень долго. Ты даже представить не можешь – как долго. Ну, меня туда же, пожалуй, определят. Как-нибудь вместе скоротаем вечность. Соберем команду, замутим газетку. А? Володя будет у нас писать про райпотребсоюз, Ирка Нордман – все о райсобесе, Сеня будет главным разоблачителем администрации, Катюша откроет адвокатскую практику, Таня составит, право, славный календарь на несколько тысяч лет вперед… Всем дело найдется. Ты будешь газеты развозить.

Василич аж причмокнул от удовольствия. Разулыбался. Видно было по его затуманившемуся лицу, что он живо вообразил себе эдакую ладную потустороннюю жизнь, как они гонят по сумеречной петлистой дороге, мимо белых пустых берез, подъезжают лихо на своем «мицубиси-лансере» к Райским Вратам – больше похожим на фасад Дома культуры с толстыми, недавно побеленными колоннами, сбрасывают несколько пачек молчаливым мрачным ангелам, и те, подоткнув парчовые свои одежды, уносят газеты во глубину райских кущ. Потом они быстро-быстро мчатся дальше, через черный лес, по широкому каменному мосту, перекинутому через бездонное дымное ущелье, к Вратам Адским – точной копии роденовских. Говорливые бесы встречают их неприличными шутками. Василич матюкнется, кинет на чертовы вилы чертову дюжину пачек, демоны возликуют, начнут рожи корчить, кривляться, а старший, в чине ефрейтора, развернется, откинет полы засаленного кителя – и затрубит задом что-нибудь джазовое! Плюнет Василич – и за руль, и поспешат они обратно в свой теплый *чулан вечности*, а там уже стол накрыт, стоят посередь штоф с перцовкой да штоф с самогоном, а вокруг хороводом – сальцо копченое, огурцы соленые, чесночек маринованный,

селедочка нежная, постным маслом сбрызнутая, сыр сулугуни, а в духовом шкафу свиная рулька томится, ну и пиво, само собой, в кувшинах пенится.

Шутки шутками, а дело-то кончилось, газету закрыли. Савлов, выбравшийся на второй срок сенатором, неожиданно охладел к публичности, стал скидывать свои медиаактивы, отказался от информагентства, телеканала, журнала и, кряхтя, стал поговаривать, что и газета ему без надобы. Он даже как-то горестно поведал Денисову, что лучше бы эти деньги, что тратит на нее, раздавал бабушкам, и те, глядишь, булку хлеба лишнюю купили бы. Петр Степанович пытался возразить, что не хлебом единым, что эти самые бабушки с утра ждут Василича с газетами, но попробуй вот объясни какому-нибудь кимирсену, что он не прав.

Так что впереди полная и безнадежная неизвестность. Вот если бы Денисов писал стихи… Или, того лучше, – *романы тискал*… Да если бы за них платили деньги… Но Петр Степанович терпеть не мог журналистские стихи, а еще более того – журналистские романы. Не знал он ни одного случая, чтобы хороший журналист еще и писал хорошие стихи, а романы тем паче. Писатели иногда становились хорошими журналистами – это да, а вот чтобы наоборот…

Дело было даже не в том, что сегодня устроиться журналистом в какое-нибудь приличное издание практически невозможно, а в том, что в самой журналистике Петр Степанович давно разочаровался. И сейчас опустошенно хмурился. Во что превратилась профессия? В беспринципный *пиар*, в неумное словоблудие, в бесконечное самолюбование. Телегуру! Бумагомараки! Щелкоперы! Предатели! Первые ученики! Только и могут сладким голосом рассказывать о деяниях мэра или губернатора. Главное, чтобы щедро платили. Причем половину – *неучтенкой*. А пишут и говорят с ошибками. Даже на НТВ. *Чеченская компания! Вернулись с Косова! Скурпулезно!* Информацию не проверяют, пишут порой полный бред, но как заточены на сенсацию! Как каламбурят в заголовках!

Петр Степанович озлобился. Опять замутило. Он закрыл глаза и увидел беззвучное синее-синее море и большое бледное небо над ним. Попытался представить белую чайку, парящую над мелкими барашками волн, но жесткая сильная птица все время куда-то исчезала, и Денисов отпустил ее. В море возник крохотный косой парус. Стало легче.

Да, из старой гвардии – кто в советниках, кто в инвалидной команде, и его, по всем статьям, завтра – в расход. Может, оно всегда так и было, но как ворчливы старики, как удивительна старость, когда она поражается переменам. Tempora mutantur... Нет, не правы латиняне. Это не про нас. Вернее, сами-то мы меняемся, а вот времена...

Вроде бы время двигалось, события происходили, но Денисову иногда казалось, что на дворе все еще 1984 год. Ну, разве что модернизированный. Это было поразительно. Как и поразительна была никчемушная свобода. Но более всего его поражало то, как многие молодые журналисты с придыханием говорят об этой свободе, сами какой-либо несвободы не нюхавшие. Разве что в пеленках.

Денисова вопросы о свободе мало волновали. Детство его было свободным. Школьная несвобода стала ему в тягость, и он из школы ушел. В армии, попав в условия настоящей, подлинной несвободы, он раз и навсегда для себя решил, что нужно принять эту жизнь во всей ее полноте, в ее чудовищной несвободе, в ее заведомой обреченности. И выжил! Но внутренне он всегда оставался свободен. Это был своеобразный дзен, который Денисов открыл нечаянно и который стал опорой ему на всю жизнь.

«Белеет парус одинокий...» – замычал, запел тихонько Петр Степанович, и варламовский романс взбодрил его.

Среди разных особенностей Денисова была еще одна примечательная – неистребимая цитатность. В силу необъятности его памяти навалено в нее было всякой дряни – и преизрядно. Но, надо сказать, что он очень не любил, просто даже терпеть не мог, всяких там записных

остряков и эрудитов, выстреливающих на вечеринках как из *пэпэша*, по поводу и безо всякого повода, к месту и не совсем, афоризмы, расхожие фразы, переиначенные обрывки хрестоматийных стихов, клочки прозы, анекдоты, каламбуры, которые как будто специально были заучены из книги «В мире мудрых мыслей» издательства «Блаблабла». Денисов тихо зверел и гундел себе под нос, что эти импровизации гроша ломаного не стоят, что это все сплошные *понты*, как и весь русский постмодернизм, что эти щеголи просто *впаривают тухлятину*, и то, что выглядит задорной импровизацией, наверно, в другой компании будет повторено с теми же модуляциями. Хотя, надо признаться, сам он любил весело поумничать в разговорах, но со стороны разве себя увидишь. Только что в зеркале. И то сразу начнешь прихорашиваться и ужимки строить. И еще Денисов был немножко пафосным. Может быть, даже избыточно. Что по нынешним временам было не *комильфо*. Но уж какой был, такой был, ничего тут не поделаешь.

Светало. Белесый день вступал в свои права. Но фонари еще горели. Проехали привокзальную площадь, с памятником Рабочему и Танкисту. Мощные мускулистые мужики с суровыми лицами. Очень условные. В советское время любили метафоры. Сейчас в моде или худосочный гламур – тоже с весьма условными, но гладкими фигурами, или загробный гиперреализм. На Центральном и Северном кладбищах стоят в полный рост из черного мрамора пугающие своей понятностью памятники городской братве, погибшей в истребительной войне друг против друга. Очень *реальные и конкретные* памятники.

Свернули на Тяжмаш. И здесь встали в пробке. Караван стоящих машин растянулся не меньше чем на три километра. Опоздаю, подумал Денисов. Надо было самому на метро ехать, а Василич бы за это время полтиража растащил.

– Что, Василич, надолго? Что там? Авария?

– Похоже, дорогу перекрыли. Может, начальство куда поехало.

– Тили-ли, тили-ли! А дракона повезли! – тут же проворчал Денисов и вернулся к своим мыслям.

Он не переставал удивляться парадоксам, которые все больше и больше открывались ему. Денисов никак не мог понять, например, почему при самоусложнении цивилизации одновременно происходит невероятная элементаризация системы. А Гегеля, увы, он не читал. Ну, где про диалектику. Гегель-то ему бы дымоход прочистил! Поэтому, включив сложнейшие химические процессы в своем мозгу, размышлял Денисов как-то загадочно. Как-то так, примерно. Вот, с одной стороны, жизнь становится донельзя сверхсложной. Есть и чудесные технологии, лазеры-мазеры, и уже совершенно ясно, как и откуда возникла Вселенная, и уже расшифрован геном человека, и Земля, оказывается, вовсе не круглая, а имеет форму чемодана! А дивные телескопы, синхрофазотроны и прочие коллайдеры, что сулят нам небывалые открытия? Но с другой стороны – очень уж как-то все упрощенно. Деньги. Еда. Комфорт. Деньги – их или много или мало. Еда – или вкусная, или поганая. Комфорт – или изысканный, или невыносимый. Ну, и так далее. Все в какой-то бинарной системе. И вроде бы на земле стоим, а ощущение, что по шаткому мостику идем через пропасть. Нет, это не я – ты – он – она, это весь этот Чемодан куда-то валится, к чертям собачьим, в тартарары!

Напрасно нас уверяют, что «в Багдаде все спокойно!» – в реальном Багдаде людей рвут на части. Да что там Багдад?! У нас тут свой Багдад! Общество разобщено. Ориентиров нет. Компас крутится, как шальной. А где же дум высокое стремленье? Нет, Россия больна, и это не высокая болезнь. Это какая-то холера. Тиф. Дизентерия. И вся страна *дрищет*. Среди чиновников – поголовное воровство. Среди народонаселения – апатия. Смотрят озлобленно на власть, ругают ее по привычке на кухне, а на выборы не ходят. В прошлый раз пришли процентов двенадцать. По большей части – пенсионеры. Выбирали депутатов – как женихов выбирают: этот лицом не хорош, этот вот вполне симпатичен. А у этого денег много – значит, воровать не будет. Будет, господа

хорошие! И еще как будет! Где они, новые аристократы, люди чести? Те, которые своим поведением задают какие-то нормы жизни? Где Раевские, Лунины, Пестели, Рылеевы, Муравьевы-Апостолы? Болконские, наконец, Безуховы? Ну, ладно. Пусть другие – безымянные. Служащие своей стране, народу. Так нет же, одни какие-то братья Карамазовы, где Смердяков – на первых ролях. Увы. Новая элита…

Денисов поморщился. Это какое-то недоразумение. Ну да, энергичные. Но куда энергия направлена? Из миллиона сделать два. Из десяти – двадцать. Смотрят в глаза нагло: если ты такой умный, то почему такой бедный? И ведь не объяснишь, что богатство, как правило, добывается не умом, не сметкой, не трудом, а интригой, мощным нахрапом, когда с лютой энергией отнимается, сколачивается, умножается. А много ли ума надо при получении взяток? Ум нужен им потом – для безопасного вложения денег в какой-нибудь легальный бизнес. И для этого есть целая армия юристов, *консалтеров* и всякой другой сволочи. От большого ума, что ли, новые богатеи идут на цугундер? А кто себя считает сильно умным и не светит свое богатство, то на кой черт оно ему нужно? И живет он скромно и даже скудно, как Александр Иванович Корейко, и распирает его чувство собственной значимости, но однажды срывается, заказав в ресторане бутылку вина за три тысячи долларов, и пьет драгоценное вино, не понимая его вкуса, но голова кружится – вот я каков! А наутро официантка в Интернете, в своем блоге напишет, что был у нее вчера такой-то и пил, гад, «Шато роз», ел перепелов, а всего-то он муниципальный чиновник третьей руки. И тогда начинается лихорадочное упаковывание радужных купюр в баулы, а баулы-то, баулы куда? На приусадебном участке зарыть? И сидит он с большим своим умом на куче денег и остро ненавидит всех этих жадных и никчемных людишек. И желчно бубнит, как заведенный: завидуют! Завидуют!! Это они завидуют!!! И все для него просто.

– Куда? Куда прешь?! – заволновался Василич, стал открывать окно, хотел крикнуть что-то обидное, но вдруг успокоился. – А! Понятно. Баба.

К женщинам Василич был снисходителен.

Денисов расслабленно сидел, прикрыв глаза. Душа была замусорена и взбаламучена. Мысли зудели, как комары… Н-да-с! В политике чаще приходится врать, чем говорить правду – это факт. Мотивируется целесообразностью. А еще о многом приходится умалчивать. Паскудно это как-то все, господа, ей-богу, паскудно! Ложь растлевает. А молчание еще больше. Но вот в быту, в обыденной жизни можно разве все время говорить правду? Не нравится человек, а ты ему в лицо: «Вы мне не нравитесь, сударь! Позвольте выйти вон!» А он тебе в рыло. А ты ему в ответ. И заканчивается все грубой некрасивой возней на полу. А человек, в общем-то, был тебе глубоко безразличен. Или тебя все-таки что-то в нем задевало? И ты не смог скрыть своего неудовольствия? Чепуха какая-то получается. А сколько бы семей распалось от признаний в случайных романах? Но ведь интрижка на стороне – это предательство! Человек осознал это, переживает, пришел, рассказал жене… Развод. Вот, наверно, поэтому и придумали исповедь. Исповедался, покаялся, очистился. Живи дальше. Мучайся. А другого не мучай. Правда, конечно, нужна, как кислород. Но дышать чистым кислородом – рехнуться можно.

Денисов встрепенулся, словно жирный слепень укусил его в шею.

Люди хотят правды, но готовы ли они выслушать *всю* правду? Готов ли человек выслушать правду не только о другом, но и о самом себе? Готов ли о себе выслушать правду целый народ? А ведь это может быть горькая правда. И есть ли она, эта правда? А истина и правда – это одно и то же? А что есть истина?

Но тут Денисов совсем запутался и подумал, что без стопки водки – не разобраться.

– А что, Василич, как думаешь, выиграем?

Василич насупился. Молчал.

– Ну, а если все-таки выиграем?

Ухмыльнулся.

– Будем *второй срок мотать*. Это ведь только первый – страшно. Эх, вот если бы газету удалось сохранить…

Денисов хмыкнул.

– Газеты больше не будет.

Заскучал Василич, заскучал и Петр Степанович. Сник, сморщился, как будто его отключили от электрической сети. А подсевшего аккумулятора хватало только на то, чтобы ворчать да кряхтеть. Иногда хотелось встать в полный рост, возвысить голос – или просто дать кому-нибудь в морду, но сил оставалось только таскать свое постаревшее тело. И махать кулаками перед условной мордой. И думал он измученно, что оскудела жизнь на качественные поступки. А ведь талантливые, сильные, умные не перестали рождаться. И люди остаются людьми, хотя есть все условия для одичания. И кто-то сопротивляется изо всех сил, а кто-то с легкостью отказывается от всей этой гуманитарной чепухи. Денисов однажды в недорогом кафе с любопытством присматривался к двум парам за соседним столиком. Они были провинциально милы. Кавалеры – неуклюжи и высокопарны, дамы – скованны и чуточку манерны. Отчетливо было видно, что обед в кафешке – это в некотором роде событие для них. Денисов откровенно любовался ими, но поразили его тосты, которые настойчиво предлагались за соседним столом. Решительно и однообразно провозглашалось: «Ну, чтобы не напрягаться!» Петр Степанович возмутился до глубины души. Как же так?! Обязательно нужно напрягаться! Чтобы в конце концов остаться человеком, нужно непременно напрягаться! Каждый день, каждый час! Но что прикажете делать в такой ситуации? Выступить с проповедью? Тихо, про себя, констатировать упадок витальных сил? Или написать гневную филиппику в глянцевый журнал, который ее скорее всего не напечатает? Или просто наблюдать и делать выводы – исключительно для себя, исключительно для себя, милостивые государи и государыни!

Но уже не хватало холодной внешней выдержки. И сам заметил за собой Денисов, что очень многое стало его глухо раздражать, и не всегда он мог сдержать свое раздражение. Никакой дзен не помогал. Ну, писал он в запальчивости дерзкие статьи, но ведь за правду бился! А его же потом за эти статьи *опарафинили* в Интернете. Денисов угрюмо смежил вежды. У-у! Эта осевшая в Интернете банда бандерлогов! Каждый все больше самовыражается. Миллион поэтов. Полмиллиона прозаиков. Каждый драматург. Поголовно все политологи и футурологи. И конечно, все публицисты. А куда девались профессионалы – в журналистике, в политике? Я, говорит, получаю за свою работу деньги, значит я профессионал. Дурачок. Деньги можно получать за место. Или как взятку. Так что, теперь коррупцию за профессию считать? Политик – это кто? Который *рулит*? Который *реально рулит*? Болваны. Настоящий политик – это тот, кто своими делами решает вопросы настоящего и моделирует будущее. И если это будущее понравится потомкам, они поставят памятник этому политику. И тогда, наверно, никому в голову не придет разрушать его – даже если режим сменится. Как возбудился губернатор, когда Денисов сообщил ему эту нехитрую мысль в одну из традиционных встреч. Я, говорит, только о будущем и думаю. И начал сыпать цифрами: стока-то сделано, стока-то делается, стока-то будет сделано. Ну чисто доклад на XXVI съезде КПСС. Этот крупный, похожий на Сэтавра человек бубнил и бубнил, пока не осыпалась сухая цифирь, как листва с дуба-ясеня.

И тогда он отринул арифмометр, снял сатиновые нарукавники и взял в руки кисть и палитру, и превратился из деловитого бухгалтера в могучего живописца, и махом набросал панораму горно-заводского края, где среди кудрявых лесов и широких полей стояли построенные японцами современные заводы, на которых трудились счастливые рабочие, которые после работы возвращались на скоростных чешских трамваях в светлые города, построенные таджиками, болгарами, турками и молдаванами, и в просторных комнатах (залах) садились за большие круг-

лые столы всей семьей, пили сладкую госпищепромовскую водку, закусывали огурцами, выращенными трудолюбивыми китайцами, и потом смотрели корейский телевизор с жидкокристаллическим экраном – а там поет хор имени Пятницкого или Краснознаменный хор подпевает барду Розенбауму, показывают кино про Журбиных, читает стихи Герой Социалистического Труда Егор Исаев, и в победных новостях выступает сам губернатор с сообщением, что подписан-де контракт на семьдесят лет с одной важной компанией, и теперь бокситы к нам будут возить бесперебойно, и оживет наша алюминиевая промышленность. Закончив полотно, губернатор василиском глянул на Денисова, и тот разом окаменел и с необыкновенной ясностью ощутил мощь этого человека, его *харизму*, достойную не кисти какого-нибудь там Налбандяна, а как минимум страницы в «Истории ВКП(б)». А губернатор расслабился, отхлебнул чайку с лимоном из тонкого стакана в серебряном подстаканнике, пожевал задумчиво крекер и вдруг совершенно неожиданно сообщил, что недавно оне еще заложили поле для гольфа – на мировом уровне, заметьте!

Денисов вспомнил, как недавно этот матерый политик ездил к бастующим горнякам на север области и под телекамерами доверительно беседовал с ними, пытаясь выяснить настоящую, подлинную причину забастовки. Так зарплату не платят уже третий месяц, жаловались работяги, семьи кормить нечем. Махнул рукой – да что вы мне говорите? Вона тут у вас какие просторы, какие реки! Пошли, наловили рыбы! Грибов, ягод насобирали… А еще можно кроликов разводить! А? Не пробовали? И работяги тогда смутились.

И Денисов, приходя в себя после бешеного тяжелого взгляда, который просто смял его, подумал: о чьем это он будущем? Недаром Савлов как-то обронил, что если и есть у кого из нынешних *серьезные* деньги, то, пожалуй, только у *губера*.

Денисов стал потихоньку заводиться, по пути выстраивая маленькую, но крайне эмоциональную речь перед избирателями. А кто способствовал банкротству крупней-

ших заводов в крае? И думал, конечно, о будущем, но, похоже, о своем, личном. Спросят за такие дела когда-нибудь потомки? Промышленный край превратился в торговый. И товар прут со всего света. Но кто озолотится на этом? Брокеры-шмокеры? А рабочий человек стал как бы и не нужен. Особенно тот, который уже отработал на родное государство, отдал ему все свое здоровье. И оказался выброшенным из жизни с идиотским ярлыком – *лузер*. Кто смог приспособиться, стали приторговывать, торговать: кто делом, кто телом, кто словом. Денисов задохнулся. Сам слышал, как похвалялся один известный журналист информационного агентства, что зарабатывает *десятку баксов* в месяц – просто надо уметь писать, с тонкой усмешкой говорил он, и понятно было, что говорил прощелыга вовсе не о стиле. Самое поразительное, что молодняк так и понимал работу журналиста, которая по сути своей сводилась к откровенной дезинформации, вбросу *компромата* или откровенной *джинсе*. Профессионализм оценивали по количеству денег, а деньги считались исключительно в долларах. Жлобство напирало, как наводнение.

Очень невзлюбил журналистов Петр Степанович с недавних пор и однажды на журналистском шумном сборище, хватив стакан коньяку, так им и заявил, что терпеть их всех не может, что все они коллаборационисты, чем вызвал жгучую неподдельную ненависть большинства из них. А сам-то?! – крикнули ему, и он вдруг горько задумался. И хватанул еще стакан.

Машина медленно продвигалась. Слева и справа вставали гигантские безжизненные корпуса заводов. Высоченные кирпичные трубы в красно-белых кольцах не дымили, диковинные сооружения из железных узлов были источены ржавчиной и напоминали гигантские потроха. Как будто неслыханной силы ураган вспорол живот Заводу Заводов и вывернул наизнанку его внутренности. Нет, не мерзость запустения, а тихий ужас.

Мысли Денисова то лихорадочно пульсировали, то приобретали ледяную ясность и четкость, наполнялись нервным пафосом, и движение их было похожим на по-

рывистое движение автомобиля в транспортном потоке. И вырваться из этого потока было невозможно. Давил информационный грязноватый фон, висящий как смог в мозгу, брал властно в плен, разжижал творожную серую массу. И в какой-то момент голова превращалась в жестяной колокол репродуктора со сломанным жестяным же языком.

Везде, везде сплошная пруруха, кручинился Денисов. И наш цех не миновала сия напасть. Внешне вроде бы все пристойно, гладенько, но… Видно, как новости делают, видно, как швы торчат. Но делают с преувеличенным восторгом, с ненатуральной озабоченностью. Гламурненько. Или навыворот. Гламур навыворот – тоже беда. И в кино, и в литературе, и, само собой, в журналистике. Какие-то они все… неумные, что ли? Или наоборот – сильно умные? Ну, необразованные, это факт. Кто-то остается верен профессии, но таких становится все меньше. Вот уже и рубрику «Культура» заменили на «Развлечения». И с придыханием рассказывают о невероятной шубе Бори Моисеева, о том, сколько весу в титьках дежурной солистки ансамбля «Ля-ля-ля» или какого цвета трусы носит Примадонна. Фиолетового, господа, фи-о-ле-то-во-го! А суровые критики только и талдычат: «Фарс! Фарс!» Не подозревая даже, что это самая настоящая трагедия.

Не только в журналистике, но и в депутатстве своем Денисов разочаровался. Как-то Савлов ему попенял: ты, дескать, Петька, какой-то… неправильный депутат. Ну, говорит, понимаю, что-то делаешь, но это все ерунда. Надо бы там – поактивней, поактивней! Ввинчиваться тебе надо, вот! Ловчей быть! Вопросы решать с администрацией! Маленько прохиндействовать, что ли! Денисов тогда трезво ответил Савлову, ну, а как попривыкнет быть таким? А если понравится ему быть эдаким ловкачом и прохиндеем? Не боится Савлов, что и по отношению к нему он будет таким же? И кажется, тот понял. Только зыркнул остро – и отошел, качая тяжелой седой головой.

Поначалу Денисову казалось, что депутат – это власть,

сила, а на поверку выходила сплошная декорация. Раньше Советы понарошку заседали, сосредоточенно делали вид, что советуют. Сейчас дума понарошку думает. Сплошная имитация. Как, впрочем, и многое сейчас. Подозревал Денисов, что реальная власть принадлежит определенно людям никому не известным, на вид серым и невзрачным. Но они очень сильны и умны, эти люди. Они не танцуют прилюдно чарльстон и не рассыпают веером американские и европейские деньги на глазах изумленной публики. Имен их не знает никто. И они холодными глазами смотрят на все эти *массы*, как бесстрастный ученый смотрит в микроскоп на жизнь инфузорий и амеб, как уэллсовские марсиане наблюдали за человечеством, копошащимся на зеленой планете.

В лондонских недолгих беседах с Хорезмовым пожаловался Петр Степанович, что не видит будущего России, и точит его подлая мысль, что срок ее истекает и конец неизбежен, и что делать? Разве что малыми своими делами просто попытаться отдалить этот конец? От происходящего тошнит, но от водки тошнит еще сильнее. А пьют ужасно. И как избавиться от этой напасти? Не запишешь же полстраны в наркологический диспансер. Мудрый и печальный Хорезмов ответил, что спасти может только чудо и только на чудо и надо надеяться. И, видя, как Денисов непонимающе округлил глаза, коротко пояснил: в начале VII века в Аравии жили племена, и находились они в совершенном ничтожестве, были они язычниками, и скудной и бедной была их жизнь; так прозябали они, пили пальмовое вино и просто спивались, но вот пришел пророк Мухаммед, и все буквально за несколько лет перевернулось, и возникла колоссальная цивилизация и культура. И можно подводить под этот феномен какие угодно теории, но ясно же – случилось чудо!

Звучало вполне убедительно.

Господи! Что же, так сидеть и ждать? И пить? Тоска зеленая, сморщился Денисов. Да кто только не приходил за последнее время! Какие надежды были! И что? Двад-

цать лет назад смотрели по телевизору всю эту политическую *мутоту* – и как смотрели! Кино и немцы! Потом стало скучно. Приелось. Потом СМИ как сговорились и стали рассказывать про депутатов всякую *чухню*. Они, наверно, такими и были в большинстве своем – продажными и лживыми. Недавно встретил Денисов на улице поэта Вовчика Антиподова – Великого Страшилу андеграунда. Тот поинтересовался, депутат ли еще Денисов, и вдруг с восхищением стал рассказывать, что видел по телевизору, как *менты* гвоздили какого-то депутата Государственной думы. О, как они его метелили! Истинное наслаждение получил, кричал Антиподов, подлинное! И в глаза, подлец, заглядывал, жарко дыша перегоревшим алкоголем и блестя сливовыми глазами.

Да, депутаты сегодня что лагерные *придурки* – типа банщики, хлеборезы. Типа на кухне ошиваются. Или в Доме культуры. Обслуга. И нет у них никакой власти. И статус – одна видимость. И не любят их правильно. Есть и другие, но они или представители деловых кругов, или сами и есть центр этих кругов. И работают исключительно на себя. Есть, конечно, и независимые. Неподкупные. Как Робеспьер. Денисов даже знал нескольких таких робеспьеров. У них обычно и летели головы.

Тошно было от всего этого, но уходить из городской думы Денисову было в сущности некуда. Возраст уже поджимал. А на плечах – семья. На работу никуда не устроиться. С его-то репутацией. Хотя вроде бы репутация как раз была железной. И писал он всегда то, что думал. Правда, с думами его выходил иной раз сплошной *пердимонокль*, так что и сам диву давался, что ж это он такое надумал. Поговорит с ним задушевно Савлов, и он уже думает как-то иначе, как-то по-савловски. Тьфу, гнусь какая! И, как подозревал Денисов, использовали его в думе *втемную*. Но гнал от себя эти мысли прочь, тянул лямку главного редактора, вел колонку и не думал о куске хлеба.

Он был очарован Савловым с самой первой минуты знакомства. Они встретились в его офисе и сели за боль-

шой круглый стол обсуждать проект новой городской газеты. Под кофе и сигареты, под живое русское слово – они понравились друг другу. Савлов выказал полное уважение Денисову, тут же подписал смету на оборудование и согласился со штатным расписанием. Особенно ему понравились скромные зарплаты журналистов. Савлов пообещал, что вмешиваться в работу редакции не будет, что он полностью доверяет профессионалам. И Денисов тогда даже и не понял, что же произошло на самом деле, он даже подумать не мог, что попал в савловский заповедник, где ему было предложено вольно бегать и пастись сколько душе угодно. Но зимняя клетка уже была готова.

Надо сказать, что Савлов обставлял не только таких простодырых журналистов. На его удочку однажды попались даже матерые швейцарские банкиры, приехавшие посмотреть живьем на человека, которому давали многомиллионный кредит. О, они себя мнили большими физиогномистами! Олигарх потом сильно хохотал, рассказывая в своем кругу о доверчивых глупых европейцах, а ведь он просто потупил свой огненный взор, положил ручки на коленки и щедро улыбался, изображая простого как три рубля русского заводчика – демидовского наследника.

Савлов представлял собой изумительный народный тип, в котором была крепость алмаза, зародившегося и сформировавшегося под чудовищным природным земным давлением в самой глубине темной сырой глины. Трудовое детство на окраине Тяжмаша, сиротство, забота о пропитании большой семьи, тяжмашевские пацаны, первый срок (отлупил одного пижона, а тот оказался сыном директора Завода Заводов), работа на ударных стройках и больших заводах, второй срок (построил школу в деревне из «лишних стройматериалов»), подпольные цеха, первые кооперативы, первые большие деньги, знакомства с министрами-капиталистами, очень большие деньги, наконец, политика – размашисто поспешал по жизни Савлов.

Он кидался во все стороны, где чуял наживу, где были

риск и азарт. То устраивал на стадионах концерты Пугачевой, то торганет истребители в Китай, то завалит страну кожаными плащами, тушенкой и компьютерами. Покупал ваучеры грузовиками и становился владельцем захиревших заводов. И заводы начинали работать! Хватал недвижимость, которая каким-то чудесным образом вырастала в цене в сто, двести раз – и тут же продавал ее, а на вырученные деньги покупал пароходы, курорты, конезаводы, строил гоночные трассы, небоскребы – и везде ему была удача. Он даже в этот чертов кризис, когда стала потихоньку рушиться его империя, только качал своей крупной головой и бормотал измученно: «Ничегоничего, я *фартожопый*».

Бывший красный директор, нынешний миллионщик – был он открыт, хвастлив, жизнелюбив, щедр, но при этом подозрителен, скуп, боялся смерти и везде ему мерещились заговоры. Он играл и считал. Играл в боулинг, на бильярде, в покер – и был первым в своем кругу. Он даже с шахматистом Карповым однажды играл, правда в подкидного дурака. Но скромно умалчивал о результатах. Он был настоящий игрок. Он видел в игре какой-то мистический смысл. Иногда, ведя переговоры о многомиллионных контрактах, он объявлял перерыв, уходил в подсобку, где сидела охрана, и там хищно играл в нарды. Он загадывал на выигрыш. И когда побеждал, возвращался к переговорам и заканчивал их триумфально. Это было какой-то манией. Однажды в Сербии (Савлов собирался там прикупить очень технологичный заводик, ну и еще сделать кое-что на благо Отечества) Денисов застал его в гостиничном номере, где тот на широкой кровати играл с увлечением в какую-то мудреную игру в карты. Сам с собой.

Он был сделан из железа и мяса. И не было таких крепостей, которые он хотел бы взять и не взял (но при этом всегда обходил стороной замки нефтяных баронов, показывая всем своим видом, что это ему не интересно). И не было таких молодок, которые бы не сбегались к нему, как только он начинал неторопливо царапать когтями о паркет, поглядывать по сторонам искоса и гордо – и уж тут-то он распускал крылья и топтал то нежно, то жестко

глупых курочек. В него стреляли, в него бросали гранаты, но он всегда оставался невредим. Было время, он спал с автоматом, усиливал охрану до десяти человек, ездил только в бронированном джипе, а то – пропадал надолго неизвестно где. Я, Петька, нутром чую опасность, признавался он Денисову, а нутро у меня звериное. Он рвал конкурентов на части, но был при этом расчетлив и холоден. Но был сентиментален, любил оперу, а, слушая «Лучину», мог и всплакнуть. Была у него мечта: слетать в космос. Сколько? Двадцать лимонов? – с азартом кричал он и хмыкал пренебрежительно: будем оформлять! И еще была у него слабость – внуки. Денисов видел, как теплели его глаза, как он разнеживался, когда нянчился с крохами.

Знание жизни, живой цепкий ум, поразительная энергия, чудовищная интуиция – все это сделало его новым человеком в новой России. Уже были капиталы, уже была ясно понята государственная стратегия, уже прочно было просчитано поведение и оформился стиль, но, не получив должной огранки, Савлов так и не превратился в бриллиант. Невежество его было фантастично, а хитрость феноменальна. Он очаровывал многих, он умел это делать и делал это со вкусом. Но удержаться возле него могли только молчалины. Но и они рано или поздно становились отработанным материалом, потихоньку *вымораживались* и удалялись. Поздно это все понял Денисов.

Въехали в округ. Попетляли по дворам, встали в удобном месте. Натянули тонкие обрезанные перчатки – и понеслось! Хватают пачки газет – и к подъезду с железными дверьми. Если домофон – хорошо, ответит рассерженный голос, деловито сообщить: «Почта!» – и тут же Сезам открывается. Если нет переговорного устройства – не беда! Василич изготовил хитрый крючок, покопается секунду – и дверь нараспашку. Добро пожаловать! Сначала выгрести из раскуроченных в хлам почтовых ящиков листовки конкурентов, собрать с подоконников наглядную агитацию в большой пластиковый мешок для мусора. Потом распихать газету. Хорошо, если ящики с замочками, тогда газеты точно не пропадут.

Через десять минут уже вошли в ритм. Хватали пачки, быстро семенили на полусогнутых к подъезду, открывали бронированную дверь, забивали почтовые ящики.

Кончики пальцев почернели от типографской краски и сильно мерзли. Спины мокрые. Давай-давай! Надо торопиться: пойдет слух – тут же появятся вражеские бригады для зачистки. Денисовские расклейщики уже несколько раз закрывали район листовками с его портретами, и все они неведомо куда исчезали буквально на следующий день. Но с газетами – шалишь! Такой номер не пройдет!

За три часа – шестнадцать пачек как не бывало. Стоп, Василич, перекур. Дрожащими руками чиркали зажигалкой, забивали легкие холодным табачным дымом. Кашляли, отплевывались.

День уже разошелся. И был он серым, студеным и неприветливым. Лениво, расслабленно пошли к машине. На детской площадке крепкие парни в пуховичках, в черных шапочках расселись на качельках. Потихоньку потягивают пиво из двухлитровых бутылей. Покуривают. Гогочут. Поправляются. Здорово, ребята! Вы из этого дома? А тебе чего? Я ваш депутат. На выборы-то ходите? За кого, если не секрет, голосовать будете? Ржут. Кентавры. Здоровенные человеколошади. Вдруг с неохотой, с вежливой ленцой, с которой начинаются уличные разборки: «А как вы относитесь к спорту?» Уважаю. Вот на Восстания корт баскетбольный знаете? Я его помогал строить. Думаю, на следующий год физкультурно-оздоровительный комплекс поставим. Не, а сами-то – как? Сам бывший спортсмен, перворазрядник. А чем занимались? – уже заинтересованно. Лыжи. Бокс. О! Переглянулись. Спорт здесь понимали. А бокс и самбо были первые виды спорта на Тяжмаше. Умение бить здесь чрезвычайно ценилось.

Денисов был депутатом от района Тяжмаш – самого большого района в городе. По сути, это был целый город, прилепившийся к областному центру. Туда вели две автодороги, но они с недавних пор были всегда пе-

регружены, и спасала единственная в городе ветка метро. Но Денисов редко пользовался подземкой. За вокзалом, за железной дорогой тянулась несколько километров дорога, обочень стояли заводы. Потом открывался сам жилой район Тяжмаша – завода тяжелого машиностроения, флагмана советской промышленности, на котором работало когда-то пятьдесят тысяч человек. Район начал строиться в тридцатые годы, когда из башкирских и татарских деревень пришли разоренные коллективизацией крестьяне, когда эшелонами с Украины доставили кулацкий элемент, и вся эта людская масса, зарывшись сначала в землянки, поселившись в дощатых двухэтажных бараках, построила колоссальный завод, на котором сначала производили тяжелые машины для бурения, экскаваторы и прочие полезные в народном хозяйстве агрегаты, а потом, уже во время войны, наладили выпуск танков, и танки эти, собственно, и перемололи коварного врага. А для жилья поначалу построили несколько роскошных домов причудливой барской архитектуры, в которых поселили инженеров, руководителей партийных, военных и научных. Рабочие до поры жили в бараках. Землянки же потихоньку ликвидировали.

А когда перемогли войну, когда уже наступили какие-то неслыханные времена, которые люди интеллигентные называли почему-то *оттепелью*, а простые люди их никак не называли, потому что трудились в напряжении всех сил на заводе и как-то не до названий было, стали потихоньку обустраиваться. Появилось понятие «самстрой» – это когда сами же заводские, будучи фрезеровщиками, токарями, сварщиками, и строили первые панельные пятиэтажки. Для себя строили. Наняли, понятно, архитекторов, инженеров, мастеров. Материалы доставлялись за заводской счет. И построился в невиданно короткий срок городок, в котором счастливо зажили рабочие Завода Заводов. И если улицы старого Тяжмаша носили индустриальные названия типа улицы Первой Пятилетки, улицы Пятилетки-в-четыре-года и, разумеется, Ильича, то «самстроевские» дома располагались уже

на улицах Новаторов, Избирателей и даже на проспекте Космонавтов. Саженцы тополей споро взялись и вскоре буйно и беспорядочно поперли вверх. Это был самый зеленый район города – тихий, провинциальный, живший сам по себе. И люди жили в нем действительно обособленно от центра. «Варварское государство на краю Империи», – как-то грустно пошутил один историк, житель этого самого Тяжмаша.

Потом наступили еще более неслыханные, совсем странные времена: завод почему-то перестал быть государственным предприятием, и хозяин Завода Заводов сбросил с баланса всю социалку – все больницы, детские садики, рабочие общежития, систему водоснабжения, электросети, а потом и сам завод удачно сбросил и уехал в теплую страну лечить подагру и ожирение. И даже, говорят, вылечил и стал советником президента (разумеется, по экономическим вопросам) этой теплой страны.

А когда наступили дикие, отчаянные времена, тяжмашевская братва, прошедшая суровую школу самбо, объединилась и перво-наперво объявила войну *центровым*, которые к тому времени вовсю торговали тяжмашевским металлом. Война была шумной и кровопролитной, с применением автоматов, гранатометов, мин, и велась по всем правилам военной науки, которую к тому времени уже постигли в Афгане многие тяжмашевские пацаны. Но жителей Тяжмаша боевые действия не касались, потому что велись они на территории противника, то есть в центре города, к которому тяжмашевцы были если не враждебны, то равнодушны. И «варварское государство» победило! И многие пали на этой войне. И все они стали героями. И, как всяким героям, на Северном кладбище была воздвигнута целая аллея из памятников, исполненных в черном мраморе.

Сейчас район был запущен: пятиэтажки стояли ободранные, дворы искалеченные, канализацию рвало раз в неделю, но уже появились первые признаки новой жизни: то там, то сям стали возникать высокие дома с остекленными лоджиями, в просторных дворах рядами стояли «тойоты» и «хонды», а в некоторых даже «лексу-

сы» и «мерседесы». И заводы, и Дворцы культуры, и многие жилые дома стали чьей-то собственностью. А собственность требует порядка. И порядок наводился железной рукой. И все оказались при деле. Кроме работяг, отработавших по сорок-пятьдесят лет на заводе и так и не заметивших смены власти. Но их дети и внуки составляли десятитысячный корпус пехоты, при помощи которого велось управление новой жизнью. А истинными хозяевами района стали оставшиеся в живых после криминальной войны вожаки, которых уже никто – даже губернатор и мэр – не осмеливался называть бандитами, все они стали коммерсантами или бизнесменами. И тяжмашевцы их уважали, признавали за своих, а некоторых любили, как любят былинных героев. И когда нет-нет да убивали кого-то из них (иногда экономические вопросы решались по старинке), перевозбужденный народ долго судачил о деле, с надеждой спрашивая у знающих и авторитетных земляков, когда наши-то отомстят? А власть районную тяжмашевцы не любили и обращались к ней скорее по инерции, ибо власть была рахитична и ничего делать не могла уже давно, ну разве что немножко сама обогащалась, входя в долю к мелким предпринимателям.

Вот в таком непростом районе служил верой и правдой своему избирателю депутат Денисов Петр Степанович, бывший журналист и главный редактор газеты «Новые Времена».

Отпустив Василича на обед, Петр Степанович сверился с расписанием встреч и пошел по адресу. *Вот эта улица, вот этот дом…* Завернув за угол длинной девятиэтажки, Денисов обнаружил, что двор совершенно пустой. Он побрел через громадную плешь дворового пространства, окаймленную чахлыми ободранными кустами неизвестно какой породы, мимо ржавых гаражей, исписанных пакостными надписями, мимо детских качелей, искореженных настолько, что в голову приходили мысли о каком-то злобном великане, пробующем свою силу на цветных металлических конструкциях: «Ба-га-ра!».

Пройдя двор насквозь, Денисов свернул *в арку*, и там, в самом конце туннеля, увидел пеструю компанию молодаек. Своих нигде не было видно. Петр Степанович заспешил, заскользил и, подлетев на всех парусах, зычно поздоровался, привлекая внимание. Как-то вяло они отреагировали, отметил тут же Денисов. Можно сказать, вообще никак не отреагировали. Но Денисова уже было не остановить, он солидно вошел в круг. Молодые смешливые лица повернулись к нему. И Петр Степанович стал говорить, и голос его был гулок.

Долго и страстно он говорил о проблемах района, незаметно переезжая к проблемам города и страны. На него смотрели с интересом. Кто-то даже зычно гыгыкнул. Собственная речь Петру Степановичу понравилась. Живая такая получилась – с примерами из плохой жизни и сильными намеками на нехорошее городское и областное начальство. А в конце – даже и на российское руководство. Доходчивая получилась речь. И смелая. Обильно сдобренная жестикуляцией, как рекомендуют учебники по ораторскому искусству.

Вдруг одна из женщин, самая юная, подошла вплотную к Петру Степановичу. Заглянула ему в лицо и неожиданно глухим и бесцветным голосом сильно в нос, как если бы он у нее был заложен, сказала:

– А мы не слышим!

И пальцами стала вертеть как-то странно.

А! Глухонемые! – догадался Петр Степанович и, обескураженный, пошел прочь.

Холодный порывистый ветер пронизывал его. Он мгновенно замерз и попытался втянуться в пальтецо – так улитка сокращает свое беспомощное тельце, пряча его в хрупкой скорлупе.

Денисов был не просто удручен, он был отчаянно взволнован этой встречей. Какая нелепость! Абсурд! Решительно, такое может произойти только во сне! Но если сны, как твердо знал Денисов, были продолжением реальности, правда совершались они причудливо и неправдоподобно в искривленном каком-то пространстве и с совершенно непредсказуемым сюжетом, то сейчас он

вдруг подумал, что и сугубая реальность вполне может быть продолжением сновидения, причем сохраняя все его невероятные признаки.

Никогда в жизни Петр Степанович не видел столько горя и слез, как в своем депутатстве. К нему приходили с жалобами люди, совершенно отчаявшиеся ходить по городским и районным казенным учреждениям. Они искали правду. Они искали управу на деловитых застройщиков дворов, на рубщиков дворовых деревьев, посаженных еще отцами и матерями на субботнике в достославные времена, они жаловались на холод в квартирах, на вонючую воду из крана, на отсутствие всякой воды, на ничтожные пенсии, на дороговизну продуктов, на умопомрачительную квартплату, на грязь в подъездах, на разбитые дворы, на хамство самых мелких и ничтожных клерков районной администрации, на жизнь клятую, которая вплыла к ним незаметно и властно и которую они явно не заслужили. И жаловались они Денисову, и плакали горючими слезами, и Денисов, как мог, утешал их и обещал написать обращения по всем их вопросам (и действительно писал эти самые обращения, но почти ни на одно из его обращений не реагировали чиновники, показывая тем самым, кто есть истинная власть в городе), а про себя клял свою беспомощность, свое бессилие. И уходили люди с крохотной надеждой и с виноватыми лицами, говоря, что, собственно, только поговорить и зашли, потому что самый большой сегодня дефицит – это дефицит внимания к простому человеку. А так хоть выслушали их.

Денисову как-то подумалось, что общее количество счастья в стране сильно уменьшилось. Сорок лет назад простого человеческого счастья было куда как больше. И счастливы люди были не потому, что в молодые годы все счастливы и безмятежны, как в этом уверяли с телеэкранов ушлые журналисты, непременно добавляя при этом, что, ну да, дескать, и вода тогда была мокрее, и трава зеленее, – а потому, что после страшной войны, после тяжелейшего надрывного труда на заводах и фабриках, в поле и на лесосеках, после всех тяжких испытаний, которые

выпали им, строителям новой жизни, появилась надежда, что лишения кончились раз и навсегда. Поэтому много работали всю неделю, вечером в субботу шли в городскую баню, где парились до изнеможения, пили жигулевское бочковое пиво в буфете, а в воскресенье шли в парки и на стадионы, где соревновались друг с другом в ловкости и силе, поднимая двухпудовые гири и толкая ядра, потом пили водку «Московскую» по 2 рубля 87 копеек – и как-то весело ее пили. Рассказывали анекдоты – сначала про Хрущева, а потом про Брежнева – и не боялись. Ходили по темным улицам – и не боялись. Ничего не боялся его отец. А сам Денисов боялся тогда только двойку по математике получить.

Никто ничего не боялся. И ключ от квартиры прятали под половичок перед дверью. Даже бабушки уже перестали бояться или не показывали виду. Правда, *заначку* на черный день держали всегда. Немного денег, немного муки, соленое сало, варенье и всякие маринады. Телевизоров не было ни у кого. Поэтому вечерами играли во дворах в домино, в «шестьдесят шесть» или в шахматы. А пацанва гоняла мячик, играла в «клёк», рубилась на деревянных мечах. Все дворы были полны. И были там и старики, и дети. И не было в этом благостности, а была простая жизнь, объединившая людей с непростой судьбой. Но счастье это – негромкое, невидное – истончалось, хирело и сошло сегодня практически на нет. Скукожилось счастье народное, как шагреневая кожа. И сейчас люди в большинстве своем несчастливы, хоть и живут куда как богаче против прежнего. Понятию вполне абстрактного счастья противопоставлена конкретная физиологическая радость бытия, только и мог бессильно констатировать Петр Степанович. День прожили – и слава Богу! А будущее или вовсе не ощущалось, или было неясным, тревожным, давящим. И Денисов чувствовал, что происходит какой-то разлад, что жизнь теряет глубинный корневой смысл, и оставалось только, как в прежние времена, оборонять изо всех сил свою семью, сохраняя ее, не успокаиваясь ни на миг.

Начинали они с Любой, как и многие, скудно и неустроенно, но они были молоды, сильны и умели радоваться простому быту. И было им легко. Растили двух малышей-крепышей, любили друг друга – и это была высшая радость, настоящее счастье, которое не могли убить даже неизбежные ссоры и размолвки. И дело, наверно, было даже не в том, что они были молоды, а в том, что *было куда жить*. И надежда на правильную жизнь была неистребима, и мечты о другой судьбе детей – пусть трудной, но справедливой – помогали им перемочь горести и злосчастия. Ну, подумаешь, суп с перловкой и жареный минтай с вечной картошкой! Зато ночи были жаркими! И пусть вино было дрянное – хуже некуда, – но сидели вечерами за этим дрянным винцом с верными друзьями и спорили о переустройстве жизни, и ведь правильно понимали, как ее, сволочь, переустроить. И работы они никакой не боялись, хотя с работой было туго. Деньги-то небольшие всегда можно было подзаработать, ну, там, на кондитерской фабрике грузчиком, например, или подрядиться летом на *шабашку* – крыши крыть или заборы ставить; но вот чтобы работа была по душе – этого, конечно, не было. И это-то и угнетало больше всего.

Когда Денисов пришел в молодежную газету, его послали в отдел культуры. Это был такой своеобразный отстойник, где можно было вполне комфортно и безопасно писать о традиционных осенних и весенних выставках Союза художников, ни черта не разбираясь в живописи, освещать помпезные фестивали искусств, солидно писать о литобъединениях и народных театрах, глубоко презирая в душе всю эту самодеятельность. Но его иногда прорывало, и он писал желчные статьи, которые ответственный секретарь газеты читал, похохатывая, а потом объяснял Денисову, почему это невозможно напечатать. Хорошо написано, старик, хорошо! По делу! Но, ты понимаешь, старичок, уж больно ты как-то… по-кавалерийски! Наскоком! Шашкой наотмашь туда-сюда! Ну, так нельзя. Мне потом самому секир-башка сделают. Ты чего, не понимаешь?! Да все понимал Денисов. Но ведь он хотел, чтобы все по-честному. Чтобы лучше стало. Уны-

ло и зябко становилось от этих откровенных бесед. Так и пробавлялся случайными статьями, тщательно процеженными сквозь мелкоячеистое сито, но рано или поздно запивал с тоски. Читал лекции по литературе на подготовительных курсах в железнодорожном институте, но когда трое абитуриентов забрали документы и ушли в университет на филологию, то ему с недоумением показали на дверь.

И чувствовал он себя прескверно, как может себя чувствовать вполне нормальный человек, впавший в тяжкий запой, чтобы только не видеть эту вялотекущую жизнь. Только и держались на Любиной учительской зарплате. Но наступили новые времена. И открылись невиданные пути-дороги. Как ломанулись в бизнес-то! Все стали такими *делаварами*, что хоть святых выноси. Что-то покупали, что-то продавали, а серьезное дело мало кто заводил. Но уж кто завел и повел правильно, тот сейчас и на коне. Денисов же, недолго поколебавшись, отринул бизнес как жизнедеятельность и пошел работать на городское радио простым корреспондентом отдела культуры. И работал, как черт. И не было у него ни выходных, ни отпусков – весь пыл свой нерастраченный, весь жар он отдавал работе, и уже через два года стал главным редактором этого самого радио. И деньги появились, и дочку Лизаньку они родили, хотя было им уже далеко за сорок, но опять жили надеждой, что еще вот-вот, еще немного – и все образуется, и та самая мечта, которую лелеяли они в своей молодости, наконец станет реальностью. И даже пресловутый кризис девяносто восьмого не воспринимался ими как катастрофа. А потом треснула жизнь, как льдина.

Что там произошло – дело темное. Судачили, что Люба кем-то увлеклась, а некоторые уверяли, что это Денисов загулял и у него даже родился ребеночек на стороне, но так доподлинно и неизвестно, что же случилось на самом деле. Может, ничего такого и не было вовсе, но только Люба вдруг стала ходить в церковь и сделалась ревностной прихожанкой Михайловского прихода, сыновья уехали покорять Москву, а Петр Степанович занял денег, ку-

пил на соседней улице небольшую квартиру, отремонтировал ее своими руками, обставил ее с любовью новой мебелью и перевез туда жену с маленькой Лизой. И каждый вечер ходил к ним ужинать. Что-то, видно, все-таки произошло в их жизни, потому что долгое время ходил Денисов понурым, сумрачным и с оловянным блеском в глазах. А однажды даже написал стихотворение, хотя такого греха за ним сроду не водилось, и было в этом стихотворении все как-то очень сумрачно и нехорошо: звезды недружелюбны, ночь холодна, сердце, типа, раскололось, и все такое. Утром перечитал Денисов печальные строки со скверными рифмами, и стало ему стыдно. Сжег он над пепельницей бумажку, а пепел смыл в унитазе. И просветлела душа.

Сейчас они с Любой живут порознь, но считаются семьей. Люба настойчиво предлагала обменять обе квартиры на большую трехкомнатную, но Денисов отмалчивался или неубедительно говорил, что надо подождать более спокойных времен. Но, похоже, скоро они съедутся.

Лизанька! Доченька! Солнце мое! – с острой нежностью думал Денисов и вспоминал, как тетешкал малышку, нюхал за ушком, целовал в шейку, а Лизочек только глазками лоп-лоп. Глазки, глазыньки, глазенапы…

Он, конечно, любил и сыновей, но они уже были взрослыми, и с ними он дружил и за них переживал, но так же он переживал и болел за товарищей своих. А вот Лизу он любил без памяти, как, наверно, любят своих внуков, которые кажутся постаревшему человеку чистыми ангелами. И тем острее была его любовь, что тоскливо понимал состарившийся Петр Степанович: обречен Рим, и распад его неизбежен, а значит, и беды будут нешуточными, и беды эти встанут в полный рост перед потомством его. И пусть он был нацелен делать жизнь, хоть как-то своим участием в этом деле отдаляя окончательный бесповоротный конец – нет, не великой эпохи, а гигантского русского мира! – оставалось только лгать дочери, что все будет хорошо, и продолжать беспамятно любить ее. И было ему страшно за Лизу. И опять закра-

дывалась робкая беспомощная мысль о чуде, но мысль эта была слабая и быстро вытеснялась ежедневной рутиной.

Денисов ждал Василича на троллейбусной остановке, которые по нынешней моде назывались *остановочными комплексами* и представляли собой скамейку, рекламный щит и стеклянные павильоны, набитые пивом, сигаретами, просроченным печеньем, жвачкой и презервативами. Дневной мужской народ – все больше сумрачный и опухший – интересовался пивом в пластиковых *баклушах* или *сиськах*, тут же этим живительным пивом затаривался, затоваривался и тут же на остановочном комплексе его и потреблял, дожидаясь троллейбуса, везущего в холодное чрево района, где еще теплились отдельные цеха Завода Заводов, который напоминал гальванизированный труп. Денисов от нечего делать стал изучать пестрый ковер бумажных объявлений, густо налепленных на железный лист.

Красно-черная листовка с развратной бабищей, явно сканированной из какого-то порнографического журнала, призывала:

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ВСЕ!
SPA-САЛОН «БУДУАРЪ» предлагает:
– королевский массаж;
– массаж «РОЗОВОЕ ШОУ»;
– шведский массаж;
– кальян;
КРУГЛОСУТОЧНО!

Ужасно некрасивая коротконогая девица в красном хитоне и неестественной напряженной позе манила:

Женский клуб «ГЕЙША»!
Базовый курс: 10 занятий – 10 000 р.
– Алхимия экстаза;
– Даосские сексуальные техники;
– Древнейшие храмовые практики;

– Женские магические пассы Древних индейцев;
– Квадрат Пифагора;
– Генетический транс;
– Курс Веселого Волшебства;
– Вумбилдинг (развитие женских интимных мышц).

В общем, *курлы-мурлы*.

А вот белесый юноша с сильно накрашенными лживыми глазами представлялся как магистр магии Семион Семионов:

МАГИЯ ВУДУ!
– Вечный приворот!
– Энвольтирование!
– Отворот!
Индивидуальный прием – напротив библиотеки Белинского с пн до сб с 12 до 18.

ПСИХОТЕРАПЕВТ из Семейной клиники «Династия» сулил заботу и внимание и предлагал среди прочего:

– Консультации при ухудшении здоровья, связанном со стрессом (панические атаки, синдром раздраженного кишечника)
– Сеансы психотерапии «как любить себя и ни от кого не зависеть»

Некто ГУРГАНОВ (Борода) предлагал посетить семинар ФЕЙЕРВЕРК ВОЛШЕБСТВА:

– Уникальные энергетические практики, подключение к потоку силы и жонглирование картинами мира!
Стоимость всего 2900 рублей.

А вот двухдневный семинар-тренинг «КАК МАНИПУЛИРОВАТЬ ЛЮДЬМИ»:

– Хочешь научиться оказывать влияние на людей?
Соблазнять?
Достигать своих целей в переговорах?
Быть успешным?

ПРИХОДИ!

Программа предполагает изучение скрытых манипулятивных техник НЛП и гипноза, а также методов спецслужб.

Доцент кафедры физической и психической реабилитации ГуГУ, имеющий 25-летний стаж работы, автор 156 научных публикаций, руководитель тренинг-центра «VALYJ PSY-trainings» Иванов И. И.

Им бы политтехнологами работать, усмехнулся Денисов. И зарабатывали бы гораздо больше. Те тоже были горазды на подобную *мутотень*. Или политологи, которые перед выборами вдруг появлялись на телеэкране и с академическим видом начинали ворожить или составлять центурии на манер нострадамовских. Особенно веселили Симонов и Рукенглас. Политолог Симонов был, понятно, мужского пола, а политолог Рукенглас совсем наоборот – женского. Хотя они мало чем отличались друг от друга по важной манере речи и самое главное по ахинее, которую они несли с экрана. Что-то типа: «Раз, два… Меркурий во втором доме… луна ушла… шесть – несчастье… вечер – семь…» А потом радостно объявляли: «Вам отрежут голову!» Предсказания их никогда не сбывались, но почему-то они всегда были при деле: то всплывали научными сотрудниками какого-нибудь института или – бери выше – академии, которые сегодня можно учредить так же запросто, как индивидуально-частное предприятие по вязке шерстяных носков, то обнаруживались штатными консультантами при полномочном представителе президента России, то еще где-нибудь, где можно было говорить все, что угодно и, главное, ни за что не отвечать. Никто и никогда их прогнозы не

проверял. А умный победительный вид стоил многого. Денисов сплюнул тягучую желтую слюну.

На остановке появились две девицы, вполне симпатичные, но которые при ближайшем рассмотрении оказались настоящими *биксами*. Были они миловидными, с чистой кожей, которая была немножко испорчена косметикой, и очень похожими на хорошеньких пластиковых куколок. Похоже, чувствовали они себя замечательным товаром, который всем свои видом говорил: «Купи меня!». Говорили они старательно артикулируя и несколько растягивая слова на блатной манер – это была не шикарная вульгарность и глупость светских львиц. Они представляли собой какой-то странный образ, который вылепил умелый медийный дизайнер, превращая обычную *гопоту* в гопоту гламурную. И вот если бы они были вооружены бутылками с пивом – то и не вызвали бы у Петра Степановича недоумения, но в руках у них были кипы бумаг, ведерко с клеем и облезлая кисть. Девицы живо шлепнули кусок клея на стенд и махом приклеили гнусного розового цвета квадрат, на котором черными буквами было начертано: ТИМОФЕЙ ЦЫБУЛЯ. Сначала Денисов и не сообразил, кто таков этот Цыбуля, только подивился редкой фамилии, мельком подумалось, что вот еще один ловкач, заманивающий доверчивые души в мистические гламурные сети, но вдруг сообразил: конкурент! И тут же получил подтверждение, прочитав напечатанное более мелким шрифтом императивное сообщение, что сей Цыбуля является собственно депутатом 36-го избирательного округа в славном районе Тяжмаша. Чертов Чиполлино!

Мощный дед, опираясь на клюку, стоял на остановке и брезгливо смотрел на девиц. Всем свои видом он выказывал отвращение к ним, и видно было, что его раздражали их молодость, веселость, бесшабашность, глупость и глянцевая их красота.

– Чегой-то вы тут развешиваете? Лепят и лепят всяко дерьмо!

– Это наш бизнес, дед! – весело и рассудительно сообщили девицы.

– Бизнес, мля! Счас у вас все бизнес. Счас и проституция – бизнес! – заворчал дед и отвернулся.

– Реально, *мухомор*, – засмеялись про меж себя куколки.

Девицы Денисову тоже не шибко понравились, особенно их приблатненность в сочетании с красивенькими целлулоидными мордочками, но он раз и навсегда запретил себе ворчать по поводу моды и поведения молодых. Он хорошо помнил, как сам ходил в расклешенных брюках, с патлами до плеч, вызывая негодование стариков и пламенных комсомольцев, а чтобы позлить обывателя – мог напялить на себя футболку с отпечатанным на ней по трафарету Миком Джаггером, надеть деревянные бусы, а на танцплощадке танцевать, ломаясь, как игрушка на пружинках. И чрезвычайно гордился собой, будучи заметённым оперативно-комсомольским отрядом, и в штабе этого самого отряда насильно пострижен и даже бит лично комиссаром и депутатом местного совета Банниковым. Он чувствовал, что его ненавидели – и от этого вдохновлялся еще сильнее. Ругателей же он высокомерно презирал – не было ненависти места в его молодой жизнерадостной душе.

Потом как-то остепенился. Перестал слушать рок-н-ролл, стал ходить в филармонию, в одежде был консервативен – твидовый пиджак и вельветовые брюки. Но себя тогдашнего помнил и поэтому и к нынешнему *племени младому*, совершенно ему не знакомому, относился он не то чтобы равнодушно, но молча и снисходительно.

Денисов дождался, когда девицы уберутся во дворы, и брезгливо содрал влажный расползающийся розовый квадрат. Однако, какой ход! Какой расчет! – поразился неожиданной догадке Денисов. В районе живут в основном татары, башкиры и украинцы – потомки спецпереселенцев, что строили Тяжмаш. Не зная совершенно кандидатов, да и не интересуясь ими особо, человек у избирательной урны инстинктивно сделает выбор в пользу чего-то близкого ему. Или просто знакомого. Или приятного во всех отношениях. Украинец проголосует за своего.

Татарин за своего. И никакого, понимаешь, национализма. Ну почему я не татарин, загрустил Денисов. Но тут подъехал Василич, и озябший Петр Степанович окостенело завалился в машину.

У подъезда вылинявшей «хрущевки» стояли три старушки. Две из них были одеты в плюшевые кацавейки, а одна в новую серую *телагу*. Головы повязаны оренбургскими пуховыми платками. Старушки были суровы, смотрели исподлобья. Вот, я ваш депутат, сказал Денисов, есть какие жалобы? И вдруг остро почувствовал свою беспомощность. Что-то было дикое и нелепое в этой *встрече с народом*. Старушки переглянулись и вдруг наперебой заговорили. В горячем цеху – полный стаж выработали, а на *пензию* прожить нельзя! *Жировка* придет – хоть вешайся! А ремонт в доме с шийсят второго не делали! В подвале парит, подъезды сырые! Да че там говорить! Вот почему раньше… Раньше-то…

Милые вы мои! Вдруг с жаром заговорил Денисов. Ну не я ж этот чертов капитализм построил! А что – раньше? Раньше! Раньше социализм был. Потом его на помойку! А сейчас кто во власти? Знаете? Но вы ведь тоже власть, с сомнением покачали головами старушки. Да какая я власть, отчаянно махнул рукой Денисов. Дак зачем вы тогда нам нужны? А я и сам не знаю. Работаю как «скорая помощь». Если уж совсем *непроханже* – вот и идут ко мне. Я спасаю. Тому путевку в детский садик достать, тому сантехника вызвать. А не всегда удается, честно вам скажу. С этими крокодилами воевать – сил не хватает. И глаза старушек подобрели, и засветилось в них доверие. Эх, тяжело жить! Да мы выкручиваемся. В продмаге – что подешевле смотрим. В *секонд-хенд* ходим, выбираем обноски, что негритяне нам присылают. А правда, что у ваших-то часы за полмиллиона? И, говорят, они в ресторанах питаются? А мы вот одни макароны едим. И неподдельная усталость была в их словах. Поддержал Петр Степанович. Да! Жрут в три горла! Это правда! Сам видел! Приглашали. Пришел. От жратвы столы ломятся: тут тебе – икра, тут тебе – креветки жареные, буженина, салями, сыр швейцарский,

вино французское. Шоколад жидкий – фонтаном бьет! Стало противно. Ушел не поевши. Пусть подавятся своими салями.

Старушки твердо сказали, что подумают.

Денисову было стыдно. Слово «депутат» стало чуть ли не ругательным. И чиновника, и депутата люди видели как одну шайку-лейку, которая только и жирует на беде народной. И не без помощи телевидения, которое для многих единственная услада и которое, гадство, *формирует*. И, как подозревал Денисов, вовсе не случайно. Впрочем, депутаты сами давали повод для злословия. Кто при встрече хамит, а кто и вовсе недоступен. Но если чиновника назначают, то депутата-то выбирают сами люди! Вот ведь парадокс. Какое право получили – право выбора! Ввели местное самоуправление. И что? Жители двора требуют: поставьте скамейку, а то присесть негде! Напрягся, побегал, поставили-таки скамейку. Скоро пошли жалобы: сидят *колдыри*, пьют, мат стоит… Уберите скамейку! И так во всем неразбериха.

Он, конечно, работал честно, не задумываясь. Разбирал обращения и составлял на них письма в администрацию района. Если его приглашали на встречу, приезжал, внимательно выслушивал горячие речи и опять составлял письма в администрацию, в прокуратуру, в правительство, а иногда и самому президенту. Он даже внимательно выслушивал жалобщиков, на которых соседи наводили из своих квартир таинственные аппараты, испускающие лучи смерти (только кастрюля на голове и спасает, Петр Степаныч, но ведь так невозможно жить, примите меры!).

На заседаниях думы больше молчал, но если говорил о чем-нибудь, то, как ему казалось, по делу и с угрюмым нажимом. Он настаивал, что пора уже прекратить спрашивать с бедного обывателя, что он сделал для родины, и давно уже задаться вопросом, а что родина сделала для него – несчастного маленького человека. И чувствовал себя вполне порядочным человеком.

Но всерьез Денисов задумывался, когда его честность

начинала угрожать благополучию его семьи. Семью надо было содержать. И тогда он растерянно искал компромисса. И слушал, что ему нашептывал на ухо в коридоре его *партайгеноссе*, или как с нажимом требовал *поведения* его шеф, или звонил по мобильнику кто-то важный и сильный из администрации, связанный с шефом незримыми деловыми нитями, и бодро так советовал *координировать свои действия с лидером фракции*, намекая, что с Савловым все согласовано. И Денисов отступал, обрушивая принципы куда-то в бездну души своей, где, как ему казалось, они его не будут беспокоить. И, поступив так, он опять честно себе признавался, что поступил как сукин сын, и вздыхал – *инстинкт самосохранения*. И говорил себе, что надо бы как-то по-другому, надо бы как-то честнее – ведь что-то есть в этой жизни очень важное, может быть, даже важнее семьи, но пугался и бежал этой мысли. А вечером шел в подвальчик и покупал уже не мерзавчик, а чекушку. А то и поллитровку. И что Савлов хороший, что он работает на благо людей, Денисов сначала убеждал себя сам, потом стал убеждать других.

Денисов вышел из машины. Возле высокого крыльца первого подъезда девятиэтажного дома собралась изрядная толпа. Его тетушки уже вели агитацию, но люди стояли мрачные и насупленные. Тут же был и верный помощник Андрюша.

Денисов подошел, поздоровался. Рядом возник бодрый старичок и повел Петра Степановича в подъезд. Народ вскрикнул:

– Эй, Панфилов! Куда депутата поволок?

Тот только рукой махнул, сейчас, дескать.

Гаже этого подъезда Денисов не видал ничего. Когда-то синие стены были облуплены, подъездные стекла повыбиты, но, несмотря на холод, настойчивый запах помойки стоял на всех этажах.

– Вот. Заварили мусоропровод. Куды девать мусор? Баки поставили в ста метрах от дома. Так кто ж пойдет? Так мы у подъезда и бросаем. Надо бы как-то вывезти. Помогите!

– А зачем же у подъезда бросать? – удивился Денисов. – Ведь крысы разведутся.

– Уже развелось! И житья от них нет! – радостно подхватил бодрый старичок Панфилов.

– А чего в баки не носите? – недоумевал Денисов.

– Так далеко! Это ж метров сто будет. Ну, кто пойдет? Ну ладно я. Ходил на помойку исправно. А потом уж, когда навалили кучу – то и я стал бросать, где все. Надо бы помочь! А вот еще тема есть. В трамваях хорошо бы ящики с песком установить. На случай пожара. Ведь случись что, и сгорит трамвай-то. Или вот у нас во дворе машины ставят. Не пройти!

– Так ваши же соседи и ставят, – рассудительно сказал Денисов. – Вы с ними не пробовали договориться? Вы же сообщество. Сила.

Но старичок только плечами пожал.

– Да как с ними договоришься? Они вон все – крутые.

– Андрюша! Запиши все предложения, – кивнул Денисов помощнику. И тот быстро стал черкать в толстой амбарной книге.

– Мы обязательно рассмотрим все ваши вопросы, – сказал Денисов старичку. – Как только выборы закончатся – мы сразу все эти ваши наказы оформим как надо и главе района запросы пошлем.

– Э-э! – насмешливо протянул старичок. – Мы к главе района не раз уж обращались. Обещают оне, а так ничего и не делают.

И я вашу помойку разгребать не буду, вдруг отчаянно подумал Денисов. Ну что за свинство! Навалили выше крыши, а теперь – давай, депутат, разгребай! Он внутренне озлился, но виду не подал.

– Пойдемте вниз, там ждут.

И они сошли вниз по грязным бетонным ступеням и вышли на высокое крыльцо.

Общество было непростое. Это Денисов понял сразу. Людей сдерживала денисовская гвардия – тетушки-агитаторы во главе с Венерой-бригадиршей. Они уговаривали людей послушать, что скажет депутат, вот он вышел,

смотрите, он наш, наш и сейчас ответит на все ваши вопросы, но люди хотели говорить сами. И не успел Денисов открыть рот, как его засыпали вопросами, которые и вопросами-то не были, а были просто ором замордованных жизнью людей. Вот что эт придумали? А? Монетизация! Вот были льготы! А сейчас-то что? Опять нас ограбили! А на пенсию-то в четыре двести поезди-ка! А в больницу-то надо с двумя пересадками! Кто эт придумал? Толпа напирала, бурлила, люди злобно спрашивали с власти, которую на сей момент представлял Петр Степанович Денисов, депутат по 36-му избирательному округу, четыре года представлявший жителей этого округа в городской думе, и выплескивали на обескураженного депутата накопившуюся злобу и гнев. И были в их ярости и беспросветная кухонная нищета, и нечищенные дороги, разбитые дворы, и загаженные подъезды, и унижение в бесконечных кабинетах власти, и невозможность дальше так жить и терпеть эту жизнь, потому что жизнь уже кончается, а терпенье закончилось уже давно. И не верят они обещаньям, а верят только делам, а дела нашей власти говорят сами за себя: люди для нее, для этой власти, непонятно откуда взявшейся, просто мусор. Я пятьдесят лет на заводе отработал, хрипел в лицо Денисову дед, а пенсия у меня – пять тыщ! А за квартиру половину отдай! А теперь еще и бесплатный проезд отменили! Кто это придумал? Губернатор? А сколько губернатор получает? А? Вот пишут, что сто двадцать восемь тыщ! Это справедливо?

Пенсионеры первых рядов неожиданно подняли свои палки, как ружья, и пошли в штыковую атаку на бедного Денисова, которому не давали и слова сказать. Если бы моя воля, надрывался дед, я бы всех их – и мэра вашего, и губернатора, и всю эту сволочь – расстрелял бы! Поставил бы к стене – и расстрелял бы! Дед совсем взъярился и, дрожа от ненависти, стал тыкать своей палкой с острым шипом на конце прямо в лицо Денисову. Тот побелел, но ни шагу назад не сделал. Бригадирша-татарочка стала оттеснять деда, воркуя дружелюбно, ты что, ты что, Скобченко? Он-то здесь при чем? Ты что ж с палкой-то на

нашего? Петр Степанович оглядел толпу и вдруг заметил крепкого парня в хромовой куртке и синих джинсах, смотрящего на него с мутным вниманием. Он стоял за толпой, он явно просто проходил мимо, но крики стариков привлекли его внимание. Парень поматывал крупной башкой, пьяно морщил лоб, узил глаза – и вдруг стал решительно проталкиваться сквозь говорливую толпу, и была в нем такая злобная решительность, что вдруг Денисову стало ясно: что-то будет. Он тихонько шепнул Андрюше:

– Позови Василича.

Сам же собрался в пружину и, не теряя из поля зрения кожаную куртку, стал объяснять старикам, и в первую очередь яростному Скобченко, что монетизация – это решение российского правительства, что он сам против нее, потому что видит глупость этого решения и недальновидность. Он стал рассказывать про социальные льготы в других капиталистических странах и как там у них заботятся о стариках, но это еще больше разожгло людей. А хромовая куртка уже была рядом. На Денисова уставились бешеные светло-голубые глаза, бледное лицо парня было искажено истерикой, которая еще не вырвалась наружу, но уже подкатывала к кадыкастому горлу. *Монезация*, захрипел парень, *в натуре*! Мама бедная! Ты, падла, замутил? Мама моя… Он был пьян, но пьян не настолько, чтобы качаться и падать, был он ловок и налит какой-то потаенной силой, какая встречается у блатных, ведущих серьезный разговор. *Монезация! С-сука!* Парень сунул руку в карман.

У Денисова захолодело в животе, он посмотрел, не идут ли Андрюша с верным Василичем, и проглядел момент, когда белое перекошенное лицо уркана как-то уплыло в сторону, и когда развернулся к нему, скользнул по всей крепкой фигуре взглядом, чтобы контролировать, значится, но отчетливо увидел только серое грязное лезвие ножа, зажатое в белом крепком кулаке с невнятными *портачками*. И как-то ловко и незаметно нож этот рыбкой нырнул куда-то в бок Денисову. Парень тут же стал выбираться из толпы, низко наклонив голову.

Так никто и не понял ничего. И опомнились только, когда изумленный Петр Степанович нелепо присел и стал заваливаться на спину. Чтой-то с вами? Венера растерянно приблизила свое широкое лицо вплотную к лицу Денисова. Вдруг на бетонные ступеньки крыльца крупными каплями просыпалась кровь. И тогда все замолчали.

Денисов лежал на спине на крыльце, но не чувствовал ступенек. Почему-то поплыл перед ним давешний сон. Только он был уже не в вагоне поезда, а сидел на корточках на железнодорожной насыпи. Колея была непривычно узкая, какая ему встречалась в Черногории, в каком-то далеком, почти забытом путешествии. Он что-то искал, елозя ладонями по жирной черной земле. Земля была совсем близко и сильно пахла креозотом. Рядом стояла дрезина, приткнувшись в тупичке к толстой автомобильной шине, прикрученной к старым рыжим шпалам, сложенным штабелем поперек узкоколейки. И было безлюдно, сыро. Сквозь туман с одной стороны виднелись какие-то строения – то ли заброшенные фабричные цеха, то ли пакгаузы, а с другой – на параллельной дальней ветке – паровичок. Вагонные окна были мутны от грязи, некоторые разбиты, и паровозик с большими красными колесами и тусклым закопченным тендером выглядел давно остывшим. Вдруг возле дрезины кто-то закопошился, но Денисов видел только спину в выцветшей телогрейке и все не мог понять, кто это, а тот, копошащийся, натужно рванул механическую тележку, сдвинул ее с места и пустил в обратную сторону, ловко заскочив на ходу. И она пошла своим ходом, все более и более убыстряя ход, видно, дорога шла под незаметный уклон. Колесный стук стал угасать. *До-дэс-ка-дэн!* – усмехнулся Денисов, и глаза его застлало туманом.

Июнь 2011

СОДЕРЖАНИЕ

БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОЕЗД. *Повесть в рассказах*
«Назовем его Христофором!» 6
Ясное море 11
Планида 14
У бабушки 15
Дорога, вымощенная желтым кирпичом 19
Баразик 22
Неудержимый вихрь 28
Дом 31
Шляпа 34
Исходъ 42
У самого синего моря 46
Синдбад-мореход 55

РАССКАЗЫ
Серафим 64
Сашка и Мария 82
Короткие ножи 87
Парикмахер Яша 98
Гипноз 106

ФАНЗА. *Маленькая повесть*
Небольшое предисловие от издателя 124
Глава 1. Деревянный дом 125
Глава 2. Фанза 125
Глава 3. Бунт 128
Глава 4. Фанза (продолжение) 131
Глава 5. Голубцов 132
Глава 6. Инокентьев 134
Глава 7. «В рассуждении чего б покушать» 135
Глава 8. Письмо 138
Глава 9. Святое семейство 140
Глава 10. Хандра 141

РАССКАЗЫ
Старуха 144
Больничный сад 150
Никогда не возвращайся 153
Ветеран 156
Последние посетители 158
Конфетки-бараночки 161
Кактус по имени Коля 166
Время белого человека. *Святочный рассказ* 169
Казино доктора Брауна 174

ЗАПИСКИ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА. 2004
Дежа вю 202
«Бон суар, месье Kasimoff!» 208
Русские идут! 221
Ночной полет 236
Приснившееся стихотворение (вместо эпилога) 243

РАССКАЗЫ
На златом песке сидели... 246
Три чертовки 248
Снегопад в Цетинье 252
Однажды в Америке 258
Идиоты 262

ОДИН ДЕНЬ ДЕПУТАТА ДЕНИСОВА. *Повесть* 270

Литературно-художественное издание

Касимов Евгений Петрович

НАЗОВИТЕ МЕНЯ ХРИСТОФОРОМ

Редактор *Т. А. Федорова*
Дизайн *В. И. Реутов*
Компьютерная верстка *А. П. Никифоров*
Ответственная за выпуск *С. В. Вараксина*



Подписано в печать 11.03.2012. Формат 60 х 70/16.
Усл. печ. л. 16,3. Бумага офсетная. Гарнитура Peterburg.
Печать офсетная. Тираж 1000 экз.
Заказ 145.

Издательский дом «Автограф»
620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 75а.

Тел. 222-05-45. E-mail: idavtograf@e1.ru, izdat@e1.ru

Отпечатано в ОАО «ИПП "Уральский рабочий"»
620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
http://www.uralprint.ru, e-mail: book@uralprint.ru